



*Евгений Францевич Шмурло
(1853–1934)*

СЕРИЯ
БИБЛИОТЕКА РУССКОЙ ПЕДАГОГИКИ



КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ
СПОРНЫЕ И НЕВЫЯСНЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
РУССКОЙ ИСТОРИИ

Ответственный редактор: академик РАО

Корольков А. А.

Допущено учебно-методическим объединением ВУЗов Российской Федерации по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Издательство ~
«АЛЕТЕЙЯ» ;
Санкт-Петербур] >г
1999

ББК ТЗ(2)4,02
УДК 947

*Редакционный совет серии
«Библиотека русской педагогики»:
Г. А. Бордовский, В. А. Бордовский, В. П. Борисенков,
Л. А. Вербицкая, А. А. Корольков, Н. Д. Никандров,
О. Л. Абышко, И. А. Савкин*

«Курс русской истории» — главная, итоговая работа выдающегося русского историка Евгения Францевича Шмурло (1853-1934). Основу курса лекций составляет так называемое догматическое изложение твердо установленных наукой основных фактов русской истории с 862 по 1725 гг.

Четвертый том «Курса русской истории» называется «Спорные и невыясненные вопросы русской истории», в котором самым тщательным образом исследуются многочисленные проблемы, разнообразные научные точки зрения и исторические концепции средневековой Руси.

Издание снабжено современным научным аппаратом.

Для самого широкого круга читателей.

ISBN 5-89329-031-3



© Издательство «Алетейя» (г. СПб), составление, научная редакция текста, художественное оформление — 1999 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

*СПОРНЫЕ И НЕВЫЯСНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
РУССКОЙ ИСТОРИИ*

Предисловие

7 апреля 1934 г. скончался Евгений Францевич Шмурло.

Долгая жизнь его прошла в неустанном труде по разработке русской истории, главным образом эпохи Петра Великого и отношений России к романо-католическому Западу. Многие годы, состоя ученым корреспондентом Российской Академии наук в Риме, копил он ценнейший материал, детально обследуя архивы Италии, Испании и др. Результатом накопления материала и пристального взглядывания в русское прошлое явились важнейшие труды Евгения Францевича, в значительной мере уже осветившие один из важнейших вопросов русской истории.

Общая концепция русской истории также занимала Евгения Францевича всю жизнь. Он неоднократно возвращался к ее составлению. И издаваемый ныне «Курс русской истории», начатый им еще во время жизни его в Риме, мог найти свое завершение лишь в Праге. При этом Евгений Францевич все время не переставал его пересматривать, перерабатывать, дополнять. Он сам руководил изданием до последних минут своей жизни.

Смерть застигла Евгения Францевича на выходе девятого листа этого выпуска. Дальнейшее осуществление издания Славянский институт возложил, под общим наблюдением проф. д-ра Я. Бидло, на пишущего эти строки, ближайшего помощника Евгения Францевича по изданию его «Курса».

Настоящий выпуск был подготовлен к печати самим Евгением Францевичем. Приходилось лишь устранять мелкие погрешности. Точное соблюдение стиля и пунктуации автора явилось долгом издателя.

Издание настоящего выпуска, в количестве 100 экземпляров, принадлежит Славянскому институту.

Список важнейших опечаток помещен в конце книги.

Прага. 15 июня 1934 года.

Всев. Саханев

¹ Его архивный фонд, в известной части еще не разработанный, равно как и его личная библиотека, ныне находятся в Славянской библиотеке Министерства иностр. дел.

№ 1. РАЗГРОМ ГАНЗЕЙСКОЙ ТОРГОВЛИ В НОВГОРОДЕ В 1495 г.

В 1495 году вел. князь Иван III приказал схватить в Новгороде немецких и колыванских (ревельских) купцов, засадить их в тюрьму, а «товар их спровадити к Москве, и дворы их гостиные в Новгороде старый и божницу отнять». Это было сделано в отместку за то, что «на Колывани вел. князя гостем Новгородцем многие обиды чиниша и поругание самовольне, а иных людей вел. князя живых в котлах вариша, без обсылки вел. князя и без обыску; также и послом вел. князя от них руганы бысть, которые послы ходили в Рим, и в Фрязскую землю, и в Немецкую, да и старым гостем вел. князя Новгородцем от них много неисправление бысть и обида и разбои на море» [Полное собрание русских летописей (далее: ПСРЛ). Т. IV. С. 164].

По сведениям немецкого происхождения [см.: *Карамзин Н. М.*, История государства Российского (далее: ИГР). Т. VI. Прим. 417—420], в Ревеле сожгли «одного россиянина, уличенного в гнусном преступлении»; схваченных ганзейских купцов было 49 человек из 13 немецких городов (в том числе Любека, Гамбурга, Ревеля, Дерпта), а товаров у них отнято было на миллион гульденов (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. VI. С. 264).

Благодаря усиленным хлопотам Ливонского ордена, «Семидесяти городов заморских» и зятя Иванова, вел. князя Литовского, Александра, купцы были освобождены в апреле 1496 года (ПСРЛ).

1. Н. М. Карамзин. Этим поступком ганзейская торговля в Новгороде была подорвана вконец. Ганза понесла большие убытки, но не менее пострадал и сам Новгород: для него торговля с Ганзою служила источником обогащения и гражданского просвещения. «Немецкие купцы уже страшались верить судьбу свою такой земле, где единое мановение грозного самовластителя лишало их вольности, имения и жизни, не отличая виновных от невинных- Так великий князь в порыве досады разрушил благое дело веков к обоюдному вреду Ганзы и России» (ИГР. Т. VI. С. 264—266).

2. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен (далее: ИР). Кн. V. Гл. IV. С. 165. Ограничивается одним кратким сообщением факта, оставляя его без комментариев.

3. Н. И. Костомаров. РИ. Т. I. С. 294—295. Ограничивается простым замечанием: «Само собою разумеется, что подобные поступки не могли благоприятствовать ни развитию торговли, ни благосостоянию русской страны».

4. Д. И. Иловайский. История России (далее: ИР). Т. II. С. 491. «Этот жестокий поступок нанес удар торговле Великого Новгорода с Ганзою; ее контора там уже не была восстановлена в прежнем виде». Самую торговлю с немцами Иван не думал прекращать; «но он хотел уничтожить монополию Ганзы и завести сношения с Германией и Западной Европой на более широких основаниях».

5. Никитский. История экономического быта Великого Новгорода. М., 1893 (из «Чтений». С. 286—293). Неправильно считать закрытие ганзейской конторы в Новгороде равносильным прекращению самой торговли. «Катастрофа 1494 г. не представляет ничего особенного. Закрытие двора и арест купечества случались неоднократно и раньше, как с русской, так и с немецкой стороны. Как на обыкновенную, на эту катастрофу смотрели и сами немцы, и как только дело уладилось, тотчас же начали хлопотать о возобновлении торговых сношений. Первоначально хлопоты их не привели ни к каким результатам, так как война, начавшаяся у России с Ливонским орденом, отнимала надежду на успех. Но как только военный шум умолк, то и для торговли наступили благоприятные обстоятельства. В 1514 году заключен был с Ганзейским союзом договор на десять лет, в силу которого торговые сношения не только устанавливались вновь, но и на лучших основаниях». Правда, торговля «не получила прежнего процветания, и самая контора в Новгороде, кажется, формально не была открыта»; но тут действовали причины более общего характера:

а) эгоистическая политика ганзейских городов: она отталкивала от союза самих немцев и парализовала действия Ганзы;

б) еще более: XVI век — век открытия Нового Света, продолжения нового морского пути. Возникают новые рынки; итальянская торговая республика, «обладающая большими капиталами к собственным факториями на Востоке, имела возможность подвозить восточные сокровища в Европу более удобным и дешевым путем». Балтийское море утратило свое значение, уступив его берегам Атлантического океана; у Ганзы появились

могущественные соперники: голландцы и англичане (Ченслер; торговля через Белое море).

Н. М. Карамзин в принятой мере Ивана III видит одно непосредственное зло, ничего более: причинили-де вред Ганзе — нанесли его и самим себе. Помимо того, в суждениях Карамзина слышится и голос моралиста.

Д. И. Иловайский подчеркивает не результаты, а мотивы, руководившие Иваном: желание придать торговле заграничной большой размах, вывести ее из тесных рамок сношений исключительно с одною Ганзой.

Никитский отнимает у принятой меры самое ее значение: не будучи чем-нибудь исключительным, мера эта носила характер временный. Ближайшие же последствия ее он оценивает в широких рамках тех мировых явлений, что так сильно сказались на торговых сношениях европейских держав, всех вообще.

№ 2. КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОЧИН СВАТОВСТВА СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ?

Русский источник, летопись (ПСРЛ. Т. VI. С. 196; Никон. VI, 8 или ПСРЛ. Т. XI. С. 120), говорит о приходе из Рима 11 февраля 1469 г. грека Юрия в послах от кардинала Виссариона с предложением руки греческой царевны: «прииде из Рима посол» (первая жена Ивана III умерла 22 апреля 1467 года. См.: *Карамзин Н. М.* ИГР. Т. VI. Прим. 12). Руководствуясь этим показанием, русские историки первоначальную мысль о браке приписывают Римской курии: Виссарион, говорят они, рассчитывая при содействии Софьи убедить московского князя принять Флорентийскую унию и побудить его к изгнанию турок Из Константинополя, расположил в пользу своего проекта папу Павла II и сделал первый шаг: отправил с вышеназванным греком Юрием письмо Ивану III. Предложение было принято, Доверенное лицо великого князя, Иван Фрязин, съездил в Рим (1469), привез оттуда портрет Софьи и затем снова отправился туда уже с тем, чтобы привезти невесту (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. VI. С. 59; *Соловьев С. М.*, ИР. Кн. V. Гл. И; *Бестужев-Рюмин К. Н.* Т. П. С. 156; *Иловайский Д. И.* ИР. Т. П. С. 447; *Голубинский Ф. А.* П/1. С. 542).

Совершенно иначе объясняет сватовство о. Пирлинг (*La Russie et la Saint-Siege*, I, 132 след.) основываясь на новых открытых им документах: инициатива его принадлежала великому князю. Летом 1468 года в Рим приехали Николай Джисларди и грек Юрий, посланцы находившегося на службе у Ивана III итальянца Делла Вольпе («Иван Фрязин» русских летописей); 9 июня они получили от папы деньги на дорожные издержки в обратный путь. О цели их приезда источники молчат, но, по мнению Пирлинга, если Делла Вольпе свободно сносился с границей и даже отправлял туда своих доверенных, то делать это мог лишь по соглашению с великим князем и ради какого-нибудь важного дела. Это важное дело было — сватовство царевны Софьи.

Д. И. Иловайский. *Русская старина*. 1896. Т. 88, декабрь. С. 651. Возражает на это Пирлингу: «именно кардинал Виссарион, выходец из Византии, разыскивавший достойную партию для опекаемой им византийской царевны, не мог упустить из виду великого князя Московского; в особенности он, конечно, руководился опытом и указаниями другого грека и своего друга — кардинала Исидора, бывшего московского митрополита... Что не удалось Римской курии сделать посредством Исидора, т. е. введение унии в Россию — того задумала она достигнуть посредством брака Ивана с царевною, воспитанною в идеях этой унии» (перепеч. Историч. сочинения Д. И. Иловайского. Ч. 2-я. М., 1897. С. 102).

Так обстоит вопрос о сватовстве в нашей историографии. На чьей стороне правда? Желание русской стороны, современников события, приписать почин дела Римской курии понятно и вполне допустимо: «не мы искали, а нам предложили!». Джисларди и грек Юрий попали в Рим, конечно, не в качестве любознательных путешественников, разъезжающих ради собственного удовольствия — то и другое говорит в пользу домысла о. Пирлинга. Однако не одно сватовство могло привести их в Вечный город: монетный мастер московского князя, Делла Вольпе, мог отправить их набирать техников и других мастеров. Если они приехали в 1468 году в роли сватов, почему тогда же не отправили с ними портрета невесты и заставили великого князя дожидаться его целых два года?

Вообще, при наличии известных нам данных, едва ли возможно категорически решить спор в пользу того или иного мнения. Несомненно, однако, одно: выражение летописи: «11 февраля 1469 г. приехал в Москву из Рима посол от кардинала Виссариона» — неверно, грек Юрий возвращался

обратно в Москву, что, в свою очередь, не мешало Виссариону использовать его возвращение, вручив ему письмо с предложением невесты.

В Псковской 1-й (ПСРЛ. Т. IV. С. 244) читаем: Софья приехала в Псков, «и быша у нея люди черны, а иные сини, а боярин ея был великого князя Юрья Малой Грек». То же самое и в Софийской 1-й (ПСРЛ. Т. VI. С. 16): «а боярин у ней великого князя Юрья Малой Грек».

Был ли этот боярин боярином великого князя или царевны Софьи? — спрашивает Голубинский Ф. А. П/1. С. 542, и замечает: в первом случае мнение о Пирлинга найдет себе некоторое подтверждение. Но текст, кажется, ясно говорит: Юрий был боярином вел. князя; князь отправил его для того, чтобы он в пути обслуживал царевну, был ее «боярином».

№ 3. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОФЬИ ПАЛЕОЛОГ

По вопросу о влиянии Софьи Палеолог на события, имевшие место после женитьбы на ней Ивана III, историки очутились в довольно затруднительном положении: предстояло выяснить, находились ли, и если да, то в какой степени, эти события в причинной связи с появлением Софьи в Московском Кремле, или связь эта была лишь хронологической, простым совпадением по времени? Между тем реальными данными для решения вопроса историческая наука не располагает: до нас не дошло никакого акта, письма или грамоты со стороны Софьи (если не считать церковной пелены, на которой она именует себя «царевной царегородской»), никакого прямого указания на то или иное деяние ее, так что исследователю остаются одни домыслы, сопоставления, догадки — одно субъективное понимание отмеченного источником факта. Отсюда неизбежная разногласия в мнениях; и ни одно из них не смеет претендовать на право стать «последним словом» по данному вопросу. Эти домыслы можно свести в несколько групп:

1. М. М. Щербатов: для него еще не существует и самого вопроса; его внимание обращено не на Софью, а на Ивана III. Что последний думал извлечь из своего брака с византийской Царевною?

2. Н. М. Карамзин, Вешняков, С. М. Соловьев, В. С. Иконников, И. Е. Забелин, Терновский, Д. И. Иловайский, Малинин, Пирлинг: влияние признается, притом большое — отличие лишь в оттенках. Для од-

них оно выражается ярче всего в свержении татарского ига; для других — в росте идеи самодержавия и т. д.; но в общем, влияние признается безоговорочно.

3. Н. И. Костомаров, К. Н. Бестужев-Рюмин, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов: влияние Софьи признает, но с оговорками — влияние могло проявиться, потому что нашло себе подготовленную почву; о свержении ига думали и раньше, идея самодержавия выростала и без того самостоятельно и т. д.

4. В. И. Сергеевич: самый вопрос ставится им в узкие рамки новых придворных чинов. Отрицать влияния Софьи в этой сфере отношений Сергеевич не решает, но и твердых оснований для утвердительного ответа не находит.

5. У Ф. И. Успенского личность Софьи отступает на второй план; на первый выдвинуто значение прав на византийский престол, якобы проданных Ивану III Андреем, братом Софьи.

6. Савва вообще отрицает влияние Софьи или сводит его к очень скромным размерам, не усматривая крупных перемен, какие обыкновенно отмечают историки за это время.

Наши источники:

1. Зигмунд Герберштейн: под влиянием Софьи Иван перестал встречать ханских послов. *Aiunt Sophiam hanc fuisse austutissiasse cuius impulsu dux multa fecit.*

2. Берсень-Беклемишев: из-за нее пошла перемена старых обычаев; под ее влиянием Василий III, сын ее, стал «несоветен и високоумен».

3. Князь А. М. Курбский приписывал «чародейце греческой» отраву пасынка, Иоанна Молодого, заключение в темницу его сына Дмитрия, опалу, постигшую братьев Ивана III.

1. М. М. Щербатов. История Российская с древнейших времен (далее: ИР). Т. IV, ч. II. С. 23: брак вызвал в Иване мысль о завоевании Царьграда; в браке он видел также средство завязать сношения с Зап. Европой.

2. Н. М. Карамзин. ИР. Т. VI. Гл. П. С. 70, 91; Гл. VII. С. 326. Иван прислушивался к советам жены. «Хитрая, честолюбивая», Софья упорно настаивала на свержении татарского ига: «долго ли мне быть рабынею ханскою?» Брак привлек в Москву много греков, которые «способствовали великолепию нашего двора сообщением ему пышных обрядов византийского».

3. Вешняков. О причинах возвышения Московского княжества. СПб., 1851: Софья принесла с собою идею о царском величии, о пышности византийского двора и значительно повлияла как на свержение татарского ига (она — «виновница свободы России и свержения постыдного ига»), так и на покорение Новгорода и прекращение уделов.

4. С. М. Соловьев. ИР. Т. V. С. 72—73: Софья принесла в Москву предания Византийской империи; они-то помогли превратить великого князя, «только старшего в роде княжеском», еще недавно кланявшегося в Орде не только хану, но и его вельможам, окруженного князьями-родичами, требовавшими равного с ними обращения, и членами дружины, еще сохранявшими право отъезда, в грозного монарха, требующего беспрекословного себе повиновения, достигшего такой высоты, что по первому слову его падали головы крамольных князей и бояр на плахе. Приведя мнения Курбского, Берсени и Герберштейна, Соловьев замечает: «Современники и ближайшие потомки приписали эту перемену внушениям Софьи, и мы не имеем никакого права отвергать их свидетельство».

5. В. С. Иконников. Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869. С. 362: Софья принесла в Москву предания Византийской империи, возвысила положение московского князя.

6. И. Е. Забелин. Взгляд на развитие московского единогодержавия. Ист. вестн. 1881, апрель. С. 772—776: брак имел большое влияние на сношение с Европой, отразился на церемониальной части московского двора (прием послов, этикет). Он дал осознать отчетливее то новое состояние, в каком Московское государство уже находилось к половине XI ст., Иван осознал свое царственное значение (беру у Саввы, он ссылается на «Царей» в 3-м издании. Я ничего не нашел ни в «Царях», ни в «Царицах»). С Софьей проникли итальянские влияния. Греки завезли из Рима идеи Макиавелли о неограниченном единогодержавии.

7. Д. И. Иловайский. Т. И. М., 1884. С. 467, 468, 504: •Если верить некоторым известиям, то на решимость Ивана III уничтожить самую тень татарской зависимости, т. е. платеж **Дани**, более всего повлияла его супруга Софья. Гордую византийскую царевну оскорбляли эти даннические отношения к варварам-магометанам, и она постоянно внушала мужу намерение с ними покончить... Кроме внушений Софьи на решимость Иоанна по всем признакам повлияло и общественное **мнение Московского населения**. Софья «несомненно принесла с собою в Москву **многие** предания и понятия византийского двора; **ее**

влияние еще более подняло и без того высокие представления Ивана Васильевича о своей власти и своей державе. Очень возможно, что, благодаря ее внушениям, он пришел к намерению покончить с самой тенью постыдного татарского ига и что под ее влиянием старался окружить свой двор возможной пышностью и блеском и усилить сторону обрядовую и церемониальную. Но такое влияние не следует преувеличивать... Гордый, повелительный тон, принятый Иваном III по отношению к своим боярам, и казни, которыми он иногда карал их наравне с другими своими подданными, прямо вытекали из предыдущей истории, нравов той эпохи и личного его характера».

8. Терновский. Изучение визант. истории и ее тенденциозное приложение в Древней Руси. Вып. II. С. 53: свержение татарского ига, перемена в отношениях Ивана к окружающим совершились под влиянием Софьи.

9. Малинин. Старец Филофей. Киев, 1901. С. 510—515:

- 1) Отрицать влияние брака на ход событий было бы несправедливо. «Женитьба эта важна не тем, что через нее вел. князь московский породнился с византийским императорским домом, а личностью Софьи и особенно теми обстоятельствами, при которых она совершилась».
- 2) Хотя и воспитанная в зависимости от чужих людей, Софья не могла забыть, «что она византийская принцесса, последняя отрасль гордой царственной фамилии некогда мировой империи».
- 3) Софья, по выражению Соловьева, принесла с собою в Москву предания империи, и это сказалось на придворном церемониале (целование монаршей руки; грозное, сдержанное отношение к боярам; превращение старых родов в подданных).
- 4) Под влиянием ли Софьи произошел окончательный разрыв с Ордою, вопрос спорный; но «для нас в данном случае важен голос современников, усвоивших гордой племяннице византийских императоров влияние на политические судьбы России того времени».
- 5) Формулировка монархических идей в духе византийских теорий началась в России еще до Софьи, со времен Флорентийской унии, до идеи царства, до преемственности Второго Рима Третьим, Москвою, Русь дошла бы, рано или поздно, и без нее; но Софья «содействовала перенесению на Русь византийских монархических преданий» (сама убежденная носительница их).

10. P. Pierling. La Russie et l'Orient. Paris, 1891; La Russie et le Saint-Siege. Paris, 1896. С. (по 2-му изд. 1906 г.) 191, 194, 225—227, 229, 234, 237:

1) Под прямым влиянием Софьи свергнуто иго, завязались сношения с Западом. 2) Брак создал обстановку, в которой зародилась идея Третьего Рима. 3) Ивану он дал основание притязать на наследство Византии, тем более что сама Софья считала себя наследницей византийского престола. 4) Софья имела большое влияние на мужа: пышный этикет при дворе, новые должности, недоступность поведения Ивана в отношении бояр — на всем этом чувствуется рука Софьи. 5) Продавал ли Андрей Палеолог свои права Ивану? Пирлинг предпочитает поставить вопрос, чем дать определенный ответ.

11. Н. И. Костомаров. Начало единодержавия в Древней Руси. Вест. Европы. 1870, декабрь, 527, 528 и РИ, вып. 2-й. СПб., 1874. С. 264—265: «Нет сомнения, что хитрая и ловкая гречанка, умевшая выстоять всякие семейные и боярские противности, оказывала влияние на понятие и характер мужа, но мы думаем, что она могла только укреплять его в помыслах самодержавия, а не зарождала их в нем. Обстоятельства, к которым привела Русь вся ее предшествовавшая судьба, были достаточны для возбуждения решительных стремлений к самодержавию без посторонних чуждых влияний»... «Влияние Софьи и вообще иностранцев отразилось на тех царственных приемах и придворном величии, которые стали с тех пор сопровождать жизнь московского государя. Обрядность умершей в дряхлости Византии стала заменять простоту юной Руси, и она-то, эта обрядность, впоследствии так сросшаяся с обиходом московского двора, так разветвившаяся во множестве своеобразных приемов, — она вначале соблазняла непривычных к ней русских, изливавших, при случае, негодование против Софьи и греков: Важнейшим признаком влияния византийской царевны было то, что московский вел. князь, сочетавшийся с нею браком, стал воображать себя преемником славы и величия православных византийских царей» («Начало»). — «Брак Софии с русским великим князем имел значение передачи наследственных прав потомства Палеологов русскому великокняжескому дому» (РИ). Видимые знаки этой преемственности: двуглавый орел в государственном гербе; титул царя; целование монаршей руки; **Придворные** чины ясельничего, конюшего, постельничего. «Но всего важнее и существеннее внутренняя перемена в **достоинстве** великого князя: он сделался государем самодержавным» (РИ).

12. К. Н. Бестужев-Рюмин. РИ. Т. П. С. 157, 161: «Брак этот имел большое значение» (приводятся отзывы Герберштейна, Берсени, Курбского); Иван ввел внешние знаки своего величия (двуглавый орел; венчание внука царским венцом; придворные чины; украшение столицы). «Гордой Софье тяжела была зависимость мужа от татарского хана, и потому нельзя отрицать некоторой справедливости в передаваемых по этому случаю рассказах; но во всяком случае это обстоятельство было только побочным»: к свержению ига готовились уже давно, еще до Софьи; «известно, что уже давно в завещаниях московских князей встречалось выражение: „переменит Бог орду“; то же выражение встречается и в завещании Василия Темного».

13. В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций (далее: Курс). Т. П. С. 148—150: «В боярских рассказах и суждениях (нововведения при дворе; свержение ига) о царевне нелегко отделить наблюдение от подозрения или преувеличения, руководимого недоброжелательством. Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама и что понимали и ценили в Москве. Она могла привезти сюда предания и обычаи византийского двора, гордость своим происхождением, досаду, что идет замуж за татарского данника. В Москве и без нее не у одного Ивана III было желание изменить старые порядки, столь не соответствовавшие новому положению московского государя (простоту обстановки, бесцеремонность отношений), а Софья могла дать ценные указания, как и по каким образцам ввести желательные перемены». Зато «на политические дела она могла действовать только внушениями, вторившими тайным или смутным помыслам самого Ивана. Особенно понятно могла быть воспринята мысль, что она, царевна, своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного Востока, какие держались за этих императоров».

14. S. Platonov. Histoire de la Russie des origine a 1918. Paris, 1929. С. 179—180 (последняя по времени формулировка мнения автора): Современники обвиняли Софью в зловредном влиянии на мужа (замена старых обычаев новыми; деспотизм и безжалостность, привитые ею мужу и сыну). Однако не следует чересчур преувеличивать ее влияние: и без нее Иван III превратился бы в самодержавного монарха и вступил бы в сношения с Зап. Европой.

15. В. И. Сергеевич. Русские юридические древности. Т. I. С. 460: «Давно уже и не один раз было указано на то, что развитие пышности двора вел. князя Ивана Васильевича

стоит в связи с его браком на греческой царевне. Но насколько новые придворные чины отразили на себе влияние византийских образцов, это и по сие время далеко еще не выяснено».

16. Ф. И. Успенский. Как возник и развивался в России Восточный вопрос. СПб., 1889. С. 26, 28, 29, 32: Теория Константинопольского наследства, основанная на праве московских царей на Византийскую империю как на свою вотчину, имела фактическую подкладку в родственных отношениях между Иваном III и императорской семьей Палеологов. «Я имею здесь в виду не то, что в силу брака (с царевной Софьей) Иван III мог себя считать наследником престола византийских царей, а нечто более реальное, именно акт передачи титула и прав на Византию со стороны действительного наследника престола Андрея Палеолога». Успенский допускает возможность, что Андрей права эти продал Ивану III и что «идея о Константинопольском наследстве впервые высказана не в русских памятниках, а, так сказать, подсказана нам из Рима в начале XVI (?) в.».

По народным былинам и по летописям можно убедиться, что русские люди «поняли и были в состоянии хорошо оценить великий исторический переворот, произведенный завоеванием турками Константинополя». Затем «государственно-правовая фикция о Москве — Третьем Риме, подкрепленная символическими легендами о мономаховских регалиях и о белом клобуке, перенесла уже идею Восточного вопроса снизу вверх и сообщила ей форму и содержание государственной системы. Литературные, философские и правовые построения завершаются, наконец, теорией, по которой Византийская империя рассматривается как принадлежащая русскому царю по праву наследства, как его вотчина, которую следует добывать. Русские (люди) не спешили, однако, осуществлять свое право, ибо в XV и XVI веках им далеко еще было до Константинополя, так как настояла необходимость защищать Москву от татар. Но царь Грозный имел полное право сказать, завоевав Казань и Астрахань, что он уже начал освобождать христиан от мусульманства».

17. В. Савва. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901. С. 20, 24, 27, 33—35, 49, 57.

- 1) Не следует преувеличивать значение брака и думать, что все то, что делалось Иваном, делалось под влиянием Софьи и было результатом этого влияния, иначе фигура Ивана III, такого выдающегося политика, окажется несправедливо заслоненною.
- 2) Теория Филофея о МТР выросла не из брака на Софье,

- и на православии Москвы, не находившейся под мусульманским игом».
- 3) Иван III отнюдь не считал себя, в силу брака, наследником прав на византийский титул; ни он, ни сын, ни внук его в доказательство прав своих на царский титул на этот брак не ссылались, иначе Иван III титуловал бы себя царем, да и внука Дмитрия венчал бы на царство, а не на великокняжение.
 - 4) Новые должности при дворе не могли свидетельствовать о его «пышности»: их было немного, всего четыре: казначей, постельничий, ясельничий и конюшенный, и родственного с должностями византийскими у них было мало.
 - 5) Известную долю участия Софьи в решении свергнуть татарское иго признать следует; но все же в мысли этой укрепляла мужа не одна она, а и другие: мысль о прекращении ига была не новая; она существовала на Руси уже целый век.

18. Несколько особняком, но все же ближе к последней группе стоит мнение проф. М. К. Любавского. Древняя русская история до конца XVI в. (1918). С. 228.

По поводу построек и украшения города Москвы при Иване III он говорит: «В исторической литературе эти факты ставятся иногда в связь со вторым браком великого князя Ивана: по инициативе греческой царевны Софьи великий князь Московский стал строить новые церкви и палаты, окружать себя великолепием и пышностью; Софья была недовольна убогой обстановкой великого князя Московского и т. д. Нам думается, что сама Софья в данном случае была не причиной вышеуказанных явлений, а наряду с ними последствием известной основной причины. Великий князь Московский потому и вступил в брак с бедной, но знатной царевной, что это соответствовало его повышенному самочувствию и самосознанию. Он поступил так же, как иной разбогатевший мужик, который старается жениться сам или сына женить на дворянке. Для такой жены, конечно, заводится и новая обстановка. Но это сплошь и рядом делается и независимо, просто потому, что данное лицо начинает чувствовать себя большим человеком. Московский великий князь отстроил свою резиденцию, несомненно, потому, что он почувствовал себя и сознал большим государем ».

В близкой связи с вопросом об «Исторической роли Софьи Палеолог» стоит и другой вопрос, который мы отметим тут же как непосредственное дополнение к тому: «Под каким влиянием сложился в Московском государстве посольский обряд?». По мнению одних, воздействие оказала Византия, по мнению других — азиатский Восток.

Влияние византийское признает Лешков. О древней русской дипломатии. «Речи и отчет... Москов. ун-та 17 июня 1847 г.»: посольский обряд в Древней Руси сложился под влиянием Византии, а во времена монголов изменений он не претерпел. То же утверждает о. Пирлинг. Un pope du Pape en Moscovie. Paris, 1884; Papes et Tsares. Paris, 1890; La Russie et le Saint-Siege. T. I—II. Paris, 1896—1897, и Рамбо: Recueil des instructions donnees aux ambassadeurs et ministres de France. VIII. Russie. T. I. Paris, 1890.

Наоборот, влияние Востока отстаивает А. Рихтер. Исследование о влиянии монголо-татар на Россию. Отеч. Записки. 1825, ч. XXII, № 62: требование московских царей (говорит он), чтобы послы речь свою говорили перед троном на коленях и повергались на землю (отсюда наше «бью челом») — обычай азиатский. Таково же мнение и М. Веневитинова. Русские в Голландии. Великое посольство 1697—1698 гг. СПб., 1890. Особенно обстоятельно развил эту мысль Н. И. Веселовский. Татарское влияние на посольский церемониал в московский период русской истории. СПб., 1911 (Отчет СПб. Ун-та за 1910 г. Первоначально, в виде сжатого резюме, в «Трудах IX археолог, съезда». См. Курс. Т. I. С. 118).

Савва В. Указ. соч. Харьков, 1901 (у него сведены положения всех вышеперечисленных мнений и дана им оценка): полагает, что Москва держалась двух обрядов: 1) в сношениях с Крымом — на принципе подчиненности и неравенства между государями (становились на колени, вел. князь не дает руки для целования, а кладет ее на голову посла); 2) в отношениях с западноевропейскими государями и с султаном турецким — на принципе обоюдного равенства. И этот последний обряд заимствован был с Запада.

№ 4. КАКОВ БЫЛ ЧИН ВЕНЧАНИЯ ДМИТРИЯ, ВНУКА ИВАНА III, В 1498 ГОДУ?

Описание обряда дошло до нас в списках трех библиотек: Новгородской, Имп. Публичной и Синодальной. Первые два

изданы в «Летописях засед. Археогр. комиссии» вып. III (1864), а третий, Е. Барсовым, в Чтениях 1883 года, кн. I. Все три — как «Чин поставления на великое княжество Владимирское и Новгородское». В начале церемонии Иван III в речи, обращенной к митрополиту, так мотивирует свой поступок: мой отец еще при жизни своей благословил меня великим княжеством; я сам также благословил своего сына первого, Иоанна; теперь, за его смертью, благословляю внука Дмитрия «при себе и опосле себя вел. княжеством Володимирским и Новгородским» (Барсов, 33—34). Диакон на ектеньи поминал сперва вел. князя Ивана, а потом вел. князя Дмитрия (35). Многолетие пелось в том же порядке: сперва «вел. кн. Иоанну Васильевичу Володимирскому и Новгородскому», а потом «благочерному и христолюбивому и Богом избранному вел. князю Дмитрию Ивановичу Володимирскому и Новгородскому» (36): Обращаясь к Дмитрию, митрополит говорил ему: «Дед твой князь великий пожаловал тебя благословил вел. княжеством» (36). Итак, говорит в заключение «Описания», вел. кн. Иван Васильевич благословил внука Дмитрия вел. княжеством Володимирским и Новгородским, а его повелением также и митрополит Симон поставил его «на вел. княжество Володимирское и Московское, и Новгородское» (38). «Московское» внесено в «Описание» в одном только этом случае.

Барсов, озаглавливая изданный им чин поставления «чином поставления на вел. княжество» (32), говорит, что священнодействие состояло в венчании «на царство»; по его словам, оно вполне отвечало древнейшему греческому чиноположению с тем лишь различием, что вместо царских облачений были возложены бармы или великокняжеские оплечья (предисловие, XXVII). То же и С. М. Соловьев. ИР. Т. V. С. 75: он говорит о царском венчании и приводит по тексту С. Г. Гр. Д. II, № 25 несколько выражений, в которых Дмитрий называется «вел. князем». Н. И. Костомаров. Начало единой державы... Вест. Европы. 1870, декабрь, 528. Говорит тоже об «обряде царского венчания». Карамзин Н. М. (*Н. М. Карамзин*. ИГР. Т. VI. С. 276), придерживаясь летописного рассказа («вел. княжество»), говорит о «царском венчании»; равно и К. Н. Бестужев-Рюмин. ИР. Т. II. С. 172: «Иоанн венчал внука на царство». С. Ф. Платонов. Лекции по русской истории, изд. 10-е (1917), 162: Иван III внука «венчал на царство (именно на царство, а не на великое княжение)»; то же настойчиво повторяет он и в позднейшем французском издании своего труда: «Histoire de la Russie des origines a 1918

(Paris, 1929), p. 179: «il accorda a Dmitri le titre de „tzar" (de „tzar", et non de grand-prince)». Не расходится с ним Любавский М. К. Др. русск. история... (1918), 228: «венчание на царство».

Савва. Московские цари... С. 110—120, собравший сведения по данному вопросу, указывает еще на более ранних сторонников этого мнения: И. И. Катаев. О священ, венчании и помазании царей на царство (1847). С. 75 говорит о «царстве»; Горский. О священнодействии венчания и помазания царей на царство (1882), 15, хотя и не говорит прямо о «царстве», но, по-видимому, имеет в виду его: Иван III, по его словам, короновал внука «с царскою торжественностью венцом и бармами, наследованными от греческих императоров».

Между тем еще М. М. Щербатов. История России с древнейших времен (далее: ИР). Т. IV, ч. II. С. 300 говорил о поставлении на великое княжение; Н. В. Покровский. Чин коронования государей в его истории (Церковный Вестник. 1896, № 18, с. 572): чин венчания Дмитрия «не есть полный чин царского коронования самодержца, постановления на царство, но лишь чин поставления на великое княжение». Савва тоже стоит на признании великокняжения, не венчания. В. О. Ключевский. Курс. Т. II. С. 160: Иван III «хотел освятить торжественным церковным венчанием избранника на великое княжение».

Такую резкую разноголосицу, при ясном указании источника на великое княжение, не на царство, можно объяснить лишь тем, что сторонники «царства» понимают это выражение не в смысле титула, а понятия государства, верховной суверенной власти, тем более что показания летописные отнюдь не расходятся с показаниями «Чина поставления».

ПСРЛ. Т. VI. С. 279: «благословил и пожаловал великим княжением Володимерским и Московским всея Руси внука своего Дмитрея Ивановича». То же самое в иной редакции («посадил») в Никон. Т. VI. С. 151, и в СГГДог., И, № 25, стр. 27.

№ 5. ИВАН III. СУД ИСТОРИИ

Выше (вып. 1-й, с. 41) было замечено, что, уходя из прошлого, Иван III «еще не затворил за собою окончательно дверей, но он первый приотворил дверь туда, куда потом пришлось идти всей России». Образ Ивана выходил поэтому Двуликим, что неизбежно сказалось на позднейшей его оценке.

Для одних он выступает преимущественно как выражение старого времени, с приемами отжившими или уже отживающими, смотрит назад, там видит свой государственный идеал, там ищет точки опоры в своей деятельности; другие, наоборот, подчеркивают в нем черты нового времени: завершая одно, утверждают они, он кладет фундамент новому. Спор сводится главным образом к тому, в какой мере обязана Россия Ивану в создании государства, которое до него чувствовалось еще мало, но которое вскоре, при ближайших преемниках, обозначилось уже несомненно. Отсюда: или права Ивана на титул Великого, или отказ ему в нем.

Ниже приводятся мнения следующих историков:

Карамзин	Иловайский
Полевой	Виппер
Соловьев	Платонов
Костомаров	Саломон
Бестужев-Рюмин	

1. Н. М. Карамзин (1818). «Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых Провидением решить надолго судьбу народов: он есть герой не только Российской, но и Всемирной истории» (339). «Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней, где еще не имела ни твердого образа, ни полного бытия государственного» (342), и это как раз «в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей возникала в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной» (339). Не обладая привлекательными свойствами Мономаха или Дмитрия Донского, Иван «стоит, как государь, на высшей степени величия». Его осторожность не может пленить нас; иногда она кажется даже боязливостью и нерешительностью; но она подсказана благоразумием; благодаря ей, «творение» Ивана приобрело надлежащую прочность, устойчивость и пережило его самого. Александр Македонский оставил после себя одну славу, государство его распалось; Россия времен Олега, Владимира Св., Ярослава Мудрого тоже погибла в нашествии монголов; Иван же оставил после себя «государство, удивительное пространством, сильное народами, еще сильнее духом правления». Нынешняя Россия создана Иваном III (348—349).

Не высказываясь прямо, Карамзин готов поставить Ивана выше даже Петра Великого. «Немецкие, шведские историки шестаго—надесять века согласно приписали ему имя Великого, а новейшие замечают в нем разительное сходство с Петром

Первым. Оба, без сомнения, велики; но Иоанн, включив Россию в общую государственную систему Европы и ревностью заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных; не видим также, чтобы пекся о просвещении умов науками: призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства, хотел единственно великолепия, силы; и другим иноземцам не заграждал пути в Россию, но единственно таким, которые могли служить ему орудием в делах посольских или торговых; любил изъявлять им только милость, как пристойно великому монарху, к чести, не к унижению собственного народа. Не здесь, но в истории Петра должно исследовать, кто из сих двух венценосцев поступил благоразумнее или согласнее с истинною пользою отечества» (349—350). «Государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории; по крайней мере не знаю монарха, достойнейшего жить и сиять в ея святилище» (ИГР. Т. VI. Гл. VII).

Весь 12-томный труд Карамзина не без основания носит название «Истории государства Российского»: внимание автора сосредоточено главным образом на развитии Русского государства и русской государственности, и Иван III, при котором Русская земля действительно выросла в государство, приобрел в его главах особенно важное значение.

2. Н. А. Полевой (1833) идет по стопам Карамзина. «Никто не управлял им. Он первый понял необходимость соединения скрытной политики с высоким мужеством воинским, внутреннего устройства с внешними связями, готовности на мир среди войны и приготовлений к войне среди мира... Сорокалетнее княжение его было постоянным, верным следствием одной глубокой мысли. Он имел счастливую участь: исполнить все, что задумал. Если постоянное счастье не есть следствие глубокого расчета ума, то надобно сказать, что непостижимая удача сопровождала все дела Иоанна: он обладал тайною успеха во всех своих предположениях и делах... Иоанн не опередил ни своего века, ни своего народа; Но зато он соединил в великой душе своей все, что составляло Жизнь его народа и его века: он был великим, могучим их представителем. После Петра Иоанн III занимает первую степень Между владыками русскими; перед ним уничтожились все его предшественники; с ним не сравнился ни один из его преемников. Не говорим о Петре, для которого нет сравнений». История русского народа (далее: ИРН). Т. V. С. 448—450.

3. С. М. Соловьев (1856). Сравнительно с Карамзиным, Соловьев уделяет Ивану III значительно более скромное место.

В своей «Истории России с древнейших времен» он также следит главным образом за развитием государства, но от него не ускользнула историческая преемственность событий, связь и прямая зависимость одной эпохи от другой. Вот почему, отдавая должное Ивану, он не забывает и тех, кому тот обязан был своим успехом и выдающимся положением. Соловьев прибегает к такому сравнению. В продолжении многих и многих лет целые поколения тяжелыми трудами накапливали большие богатства; сын прибавлял к тому, что было накоплено отцом, внук увеличивал собранное дедом и отцом; тихо, медленно, незаметно действовали они, подвергаясь лишениям, жили бедно; и вот, наконец, в руки счастливого наследника досталось это богатство — плод трудолюбия и бережливости его предков. Наследник не расточает его, напротив, продолжает увеличивать, но самый способ его действий теперь уже иной: обширные средства позволяют ему действовать в более крупном масштабе; его действия становятся громкими, обращают на себя всеобщее внимание, так как оказывают влияние на судьбу, на благосостояние многих. «Честь и слава человеку, который так благо-разумно умел воспользоваться доставшимися ему средствами; но при этом должны ли быть забыты скромные предки, которые своими трудами, бережливостью, лишениями доставили ему эти средства?» Этими словами Соловьев хочет исправить односторонность в суждении Карамзина: присоединение обширных областей к родовому уделу, почти полное прекращение уделов, освобождение от татарского ига, первый шаг на пути воссоединения литовско-русских земель с Московским государством, возобновление сношений с Западной Европой — факты, действительно, крупные, но они ослепили Карамзина, он упустил из виду предшествующую подготовительную работу.

«Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков, Иоанн III вступил на Московский престол, когда дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться уже оконченным; старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтоб дорунуть его. Пользуясь полученными от предков средствами, счастливым положением своим относительно соседних государств, он доканчивает старое и вместе с тем начинает новое. Это вовсе не есть следствие его одной деятельности; но Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей Русской земли, среди образователей Московского государства; Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых

находился во все продолжение жизни. При пользовании своими средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и Калиты, истым князем Северной Руси: расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие — вот отличительные черты деятельности Иоанна III». История России с древнейших времен (далее: ИР). Т. V. Гл. I.

4. Н. И. Костомаров (1874). Еще дальше, чем Соловьев, отошел от Карамзина в своей оценке Ивана III Костомаров. Подчеркивая преимущественно отрицательные стороны Ивана, он указывает не столько на то, что Иван дал, сколько на то, чего не дал, но что должен был и мог дать. Костомаров не закрывает глаза на его положительные качества как человека, но не видит плодотворного им применения в жизни.

• Печальные события с его отцом внушили ему с детства непримиримую ненависть ко всем остаткам старой удельно-вечевой свободы и сделали его поборником единодержавия. Это был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с черствым сердцем, властолюбивый, неуклонный в преследовании избранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный; во всех его действиях видна постепенность, даже медлительность; он не отличался ни отвагою, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами; он никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и возможно прочное присоединение их к Московскому государству было заветною целью его политической деятельности; следуя в этом деле за своими прародителями, он превзошел всех их и оставил пример подражания потомкам на долгие времена».

• Русские историки называют Ивана Великим. Действительно, нельзя не удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какою он умел преследовать избранные цели, его умению кстати пользоваться благоприятными обстоятельствами и выбирать надлежащие средства для достижения своих целей; но не следует, однако, упускать из виду при суждении о заслугах Ивана Васильевича того, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу возможно большее благосостояние и способствовать его духовному развитию: с этой стороны государственование Ивана Васильевича представляет мало данных. Он умел рас-

ширить пределы своего государства и скреплять его части под своею единою властью, жертвуя даже своими отеческими чувствами, умел наполнить свою великокняжескую сокровищницу всеми правдами и неправдами, но эпоха его мало оказала хорошего влияния на благоустройство подвластной ему страны. Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращавший всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов. Такой строй политической жизни завещал он сыну и дальнейшим потомкам. Его варварские казни развили в народе жестокость и грубость. Его безмерная алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края. Покоренный им Новгород был ограблен точно так, как будто его завоевала разбойничья орда, вместо того, чтобы с приобретением спокойствия под властью могучего государя ему получить новые средства к увеличению своих экономических богатств. Ни малейшего шага не было сделано Иваном к введению просвещения в каком бы то ни было виде, и если в последних годах XV и в первой четверти XVI века замечается некоторого рода оживленная умственная и литературная деятельность в религиозной сфере, то это вызвано было не им. На народную нравственность Иван своим примером мог оказывать скорее зловредное, чем благотворное влияние».

«Истинно великие люди познаются тем, что опережают свое общество и ведут его за собою; созданное ими имеет прочные задатки не только внешней крепости, но духовного саморазвития. Иван в области умственных потребностей ничем не стал выше своей среды; он создал государство, завел дипломатические сношения; но это государство, без задатков самоулучшения, без способов и твердого стремления к прочному народному благосостоянию, не могло двигаться вперед на поприще культуры, простояло два века, верное образцу, созданному Иваном, хотя и дополненное новыми формами в том же духе, но застылое и закаменелое в своих главных основаниях, представляющих смесь азиатского деспотизма с византийскими, выжившими свое время преданиями. И ничего не могло произвести оно, пока могучий ум истинно великого человека — Петра, не начал пересоздавать его в новое государство уже на иных культурных началах. (РИ. Гл. XIII. С. 250, 307, 309).

5. К. Н. Бестужев-Рюмин (1885). Через голову Костомарова и Соловьева он подает руку Карамзину, хотя и не подходит к нему вплотную. Костомаровская оценка Ивана III, говорит он, — «это прекрасная обвинительная речь, но не суждение историка». Отрицать в Иване всякую заслугу, не найти в его

деятельности ничего, кроме своекорыстных побуждений, — значит нарушить основное правило исторической критики, которая требует судить историческую личность в связи с той обстановкой, в какой он жил и воспитался, с теми взглядами и понятиями, которые господствовали в его время и оказывали могущественное влияние на ее собственные воззрения и поступки.

Что касается Соловьева, то он, по мнению Бестужева, несправедливо принизил Ивана. Соловьев «сравнивает его с счастливым наследником длинного ряда бережливых и искусных купцов, которые, скопив значительный капитал, дали тем возможность своему наследнику вести обширные предприятия». В этом сравнении Бестужев видит желание создать противовес Карамзину, «который, увлекаясь нелюбовию к насильственному — как ему казалось — характеру преобразований Петра, поставил Иоанна выше Петра». Бестужев готов согласиться, «что многое было приготовлено его предшественниками»; тем не менее, настаивает он, «Иоанн далеко выделяется из ряда своих предшественников завершением старых задач: он объединил Русь, свергнул иго, поставил новый вопрос «о том, кому быть: Литве или Москве», наметил будущую политику России по отношению к Польше. «Сношения с Западом с него начинаются. Умение же пользоваться обстоятельствами ставит Иоанна в ряд великих людей. Если не признать величия Иоанна, то пришлось бы такое же суждение частью применить и к Петру, который в значительной степени был только более решительным преемником своего брата, отца и деда» (РИ. Т. И. С. 142—144).

6. Д. И. Иловайский (1884). Перед Иловайским фигура Ивана III также выступает во всем величии его государственной деятельности. Иван представляется ему «основателем того истинно государственного строя, которому отныне подчинилась вся Русская земля и которому она обязана своим последующим величием. Суровый, деспотичный, крайне осторожный и вообще малопривлекательный характер этого первого московского царя, сложившийся еще под тяжелыми впечатлениями потерявших смысл княжеских междоусобий и постыдного варварского ига, не может умалить его необычайный государственный ум и великие заслуги в глазах историка. И если, от Владимира до Петра I, кто из русских государей достоин наименования Великого, то это именно Иван III». История России (далее: ИР). Т. П. С. 528.

7. Б. Р. Виппер (1922). Его оценка в том же духе, пожалуй, даже в еще более повышенных тонах. «Если на протяжении русской истории кто заслужил имени Великого, так

это Иван III. Те формы управления, которые мы встречаем в Москве XVI в., устройство высших совещательных органов, приказы, раздача поместий и определение порядка службы, система налогов, судопроизводство, теория власти, обряд венчания, даже титул царя — все восходит к нему. Иван III — родоначальник, устроитель, изобретатель учреждений, церемониала, обстановки власти, остро пронизательный, переимчивый, тактичный и гибкий. Никогда он не пренебрегает мелочами, все он умеет поставить на службу возвеличения государственной идеи. Выдавая замуж свою дочь за великого князя Литовского, он вменяет ей в строжайшую обязанность соблюдать православие, а для ее свиты пишет подробный наказ, как вести себя в церкви и во дворце: ведь им придется представлять за границей достоинство московской державы! При Иване III определился круг международных сношений и установились линии поведения с каждой державой: как быть с папою, как быть с германским императором, с Венгрией, Турцией, Данией, Швецией, Пруссией, Польшей, Ливонией». «Все мастерство, все величие Ивана III как организатора московской державы выступает ярко после его смерти, когда при незначительном его преемнике, во время малолетства его внука, правительственная школа, созданная им, действует как бы сама собою, силою заложенного в ней разума, не имея призванных вождей и руководителей» (Иван Грозный. С. 21, 33).

8. С. Ф. Платонов в своей последней работе **Histoire de la Russie des origines e 1918*. Paris, 1929». С. 167, придерживается мнения Бестужева-Рюмина.

9. Р. Саломон (1931). Иван III отнюдь не только «счастливый наследник, умело использовавший доставшееся ему наследство», — это первый большой политический деятель на русском престоле; действуя осторожно и неторопливо, он безошибочно, с замечательной точностью расчета умел в надлежащий момент применить к делу накопленные его предшественниками средства. Его княжение не знало ни одного серьезного неуспеха. Его «трусость и малодушие» на реке Угре перед лицом татарского войска, в сущности, акт большой политической прозорливости. Стратегически татары уже были побеждены; сражение, может быть, усилило бы блеск победы, но политическая цель все равно была достигнута и без боя. Присоединение Новгорода — образец политического искусства: намеченная цель была достигнута при помощи ничтожных военных сил. Присоединение же этой обширной области к владениям Москвы совершенно изменило политическое положение Восточной Европы. В про-

тивовес Швеции, Польше—Литве, Немецкому ордену выросла новая великая европейская держава. Иван первый из русских государей усвоил и оформил еще до него в духовно-политической литературе пропагандируемую мысль о божественном происхождении его власти. Он поднял свои владения на степень независимого государства, укрепил и объединил их внутри, раздвинул во все стороны их границы и поставил Московское государство на путь ненасытных аннексий, привив ему дух неустанной экспансии (Prof. R. Salomon. Grossfürst Iwan III. Menschen die Geschichte machten. Wien, 1931. Bd. II).

ВЫВОДЫ. Разногласие в оценке Ивана III в значительной мере обусловлено тем, что наши историки искали в Иване цельную личность и хотели подвести под один итог противоположные, не всегда примиримые стороны его деятельности; между тем, будучи представителем переходной эпохи, Иван, уже в силу одного этого, должен двоиться: он соединял в себе известные противоречия: черты положительные и отрицательные; новое, светлое — и устаревшее, умирающее. По характеру, привычкам, способу действий Иван весь в прошлом, а это прошлое (время князей-собирателей) отличалось неразборчивостью в средствах, жестоким эгоизмом, низким уровнем нравственных требований, готовностью принижаться перед сильным, грубым произволом по отношению к слабым. Эти отталкивающие черты, усвоенные Иваном по наследству, и сказались на суждении Костомарова. Несомненны зато заслуги Ивана в развитии русской государственности, и их выдвинули с особою силою Карамзин, Бестужев-Рюмин, Иловайский и Виппер. К истине ближе всего Соловьев. Вводя заслуги Ивана в надлежащие исторические рамки, он говорит панегиристам великого князя: Иван был лишь счастливым наследником тех богатств, какие скопили ему его предшественники; но и хулителей он останавливает замечанием: Иван был несчастным наследником того дурного, что досталось ему от прошлого времени.

№ 6. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗБРАННОЙ РАДЫ

Значение рады в нашей литературе обыкновенно расценивается в зависимости от оценки личности Ивана Грозного:

его характера, духовных способностей; от признания или непризнания за ним самостоятельного взгляда и понимания государственных задач своего времени. Вопрос чаще всего сводится к выяснению, как возникла рада, почему Иван потом разошелся с нею и какие последствия произошли от того.

Очень упрощенно смотрит на дело Н. М. Карамзин: все было хорошо, когда подле молодого, неопытного царя стояли Сильвестр и Адашев, когда Иван следовал их советам; и все пошло плохо, когда, после добродетельной Анастасии, он удалил их от себя и предался своим порокам, приблизил к себе людей недостойных (Карамзин Н. М. ИГР. Т. VIII. Гл. III. С. 99; Т. IX. Гл. I. С. 5).

Того же взгляда держится и Н. И. Костомаров. Иван попал под опеку Сильвестра, сдружился с Адашевым, человеком большого ума, высоконравственным и честным. Тот и другой «подобрали кружок людей, более других отличавшихся широким взглядом и любовью к общему делу. Государство стало управляться кружком любимцев, который Курбский называет Избранной радой. Без совещания с людьми этой Избранной рады Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел мыслить. Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал шагу, не спросившись у него совета; Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения. При этом опекуны Ивана старались по возможности вести дело так, чтобы он не чувствовал тягости опеки и ему бы казалось, что он по-прежнему самодержавен» (РИ. Т. I. Гл. XVIII. С. 413).

Рада «не ограничивалась исключительно кружком бояр и временщиков: она призывала к содействию себе и целый народ». Был созван Земский собор, избраны «судьи правдивые» для составления Судебника; создано «выборное право суда и управления»; проявлена забота о церковном устройстве созывом Стоглавого собора; благополучно разрешен вопрос о Казани покорением Казанского царства (с. 414, 415, 419, 424). Но зависимость положения породила чувство недовольства; это чувство росло; болезнь Грозного, когда у его постели разыгрались страсти по вопросу о том, кому быть наследником в случае его смерти, дала сильную трещину, которая потом не только не закрылась, но росла более и более и привела к катастрофе. С удалением Сильвестра и Адашева кончила свое существование и Избранная рада (434).

Резкое расхождение К. Н. Бестужева-Рюмина с Н. И. Костомаровым в оценке личности Грозного (см. ниже: Приложение № 13: «Иван Грозный. Суд истории») повело

к тому, что и в понимании роли и значения Избранной рады расхождение у них тоже очень большое. Утверждать, вслед за Курбским, будто все, что делалось в эту эпоху, исходило от рады, Бестужев считает неправильным; он не думает, «чтобы много могли сделать какие-либо советники без полного убеждения со стороны царя в необходимости изменить многое в существующем строе». Наши представления о раде, говорит он, в значительной степени опираются на показания Грозного, но в них немало преувеличений, порожденных злобою: показание царя (в письме к Курбскому), «что советники не давали ему шагу ступить свободно, свидетельствует только о том, как далеко и неумело простирали свои притязания Сильвестр, и о том, как **сильно** раздражен был против него и его сторонников царь, но не следует думать, чтобы эти слова были полною правдою». В пылу полемики Грозный впадал в противоречия, а слова его: «глаголю же до обуша и спания вся не по своей воли бяху, но по их хотению творяхуся; нам же аки младенцем пребывающим» — свидетельствуют лишь о том, как надоел царю Сильвестр своим постоянным вмешательством во все его личные дела: переделыватель «Домостроя» не мог быть человеком **широких** воззрений и, педант сам в домашней жизни, пользуясь **своим** духовным влиянием на царя, желал, вероятно, внести педантизм и в его жизнь, но Иоанн Васильевич и педантизм! Этого даже и представить нельзя. Не больше значения можно **дать**, по моему мнению, и другим обвинениям Грозного, когда, забываясь в жару полемики, он даже себя не жалеет, чтобы только поразить врагов» (РИ. Т. П. С. 217—218).

В. И. Сергеевич. В Избранную раду вошли не все думные люди, а только некоторые из них, избранные. Составленная из постоянных членов, рада не только давала совет, который можно принять и не принять, а связывала волю государя. «Организованный Сильвестром и Адашевым совет похитил царскую власть, царь был в нем только председателем, советники решали **все** по своему усмотрению, мнения царя оспаривались и отвергались; должности, чины и награды раздавались советом. Это говорит царь, это подтверждает и противник его, кн. Курбский. Но Избранная рада не ограничилась одной практикой, ей удалось оформить свои притязания и провести в Судебник ограничения царской власти»... Согласно статье 98-й царского Судебника, для пополнения его новыми законодательными определениями требовался приговор «всех бояр». Это было **Несомненным** ограничением царской власти и новостью: «царь **Только** председатель боярской коллегии и без ее согласия не

может издавать новых законов» (Русск. юрид. древности. Т. П. С. 367—369).

Ср. возражения, сделанные Сергеевичу М. Ф. Владимирским-Будановым: «Почему же Грозный, осудивший потом Сильвестра, Адашева, Курлятева и др., обвинявший их именно в посягательстве на самодержавную власть, почему он в течение последующего долгого царствования не отменил этого закона, будто бы нарушающего его права? Он не стеснялся истреблять страшными казнями сотни и тысячи мнимых врагов самодержавия; полагаем, что не поцеремонился бы уничтожить такой вопиющий акт их посягательств на царскую власть. Далее, допустим, что Избранная рада могла провести такой закон; но им определяются не права этой рады, а права думы в ее обыкновенном составе. Рада — это кружок Сильвестра, действовавший не как правильное учреждение, а как партия. Большая часть людей этого кружка не могла быть членами думы», как «попы», «презвитеры», люди «из батожников» (Адашев) — с чего ради было им так хлопотать об интересах думы в 1550 году (Обзор, 170)?

См. еще возражения М. А. Дьяконова относительно толкования Сергеевичем статьи 98-й Судебника в «Очерках общ. и госуд. строя Др. Руси». Изд. 4-е. С. 438 след. и Филиппова. Учебник истории русского права. Изд. 4-е. С. 376.

Виппер Б. Р. сближает раду с советом вельмож, который ограничивал в Польше верховную власть короля. На оценке рады, говорит он, легла печать Курбского: возглавляемая Сильвестром и Адашевым, она пользовалась хорошою славой, и «упадку ее влияния обычно приписывают начало порочной жестокости и диких капризов Ивана IV». Но — замечает Виппер — «может быть, при этом слишком много внимания уделяли вопросам личных столкновений и обид и слишком мало политической стороне дела. А между тем стоило бы заметить, что Курбский очень характерно называет Ближнюю думу, в которой он и сам участвовал, Избранной радой. Ни у кого другого этого названия не встречаем; а русский эмигрант, разумеется, применяет его недаром: у него перед глазами высший совет, ограничивающий власть польского короля, «паны-рада». Представитель старинного княжеского рода, родня литовских и польских панов, естественно, увлекается примером олигархии у западного соседа. Называя именем этой верхней палаты аристократической республики Ближнюю думу при московском царе, Курбский только подтверждает правильность жалоб Ивана IV на то, что советники отстранили его от дел, «снимали

его власть», приводили «в противословие» бояр, раздавали самовольно чины и земли и т. п. Пересветов, злейший враг высшей аристократии, дает неожиданное освещение деятельности Избранной рады: очень рано, в эпоху полного доверия Ивана IV к своим советникам, он предлагал царю резко сломить их господство, опираясь на массу рядового местного дворянства. Пересветов удивительно предвосхитил идею «грозного» правления, понятие о самодержавстве, и может быть, его надо признать одним из главных вдохновителей последующей политики Ивана IV» (Иван Грозный. 1922. С. 56).

Платонов С. Ф. Опалю Глинских и «духовным сиротством» молодого царя «воспользовались приближенные к нему случайные люди, не входившие в состав ранее правившей знати. Они построили свое влияние на личной приязни и моральном подчинении царя и удалили от него всех прежних опекунов и советников, от дяди Глинского до сторонников Шуйских. Воодушевленные желанием общего блага, они поставили своей задачей нравственное исправление самого Грозного и улучшение управления. В митрополите Макарии они получили помощника и нередко вдохновителя. Так около Грозного, видевшего до той поры вокруг себя только зло и произвол, образовалась впервые идейная среда. Она оказала могучее влияние не только на ход государственных дел, но и на развитие личных правительственных способностей, которыми бесспорно был одарен Грозный. Но ей не под силу было истребить в нем укоренившиеся с детства дурные инстинкты и привычки».

Рада возникла не сразу после пожара 1547 года: она сменила прежнее правление Глинских, но «признаки новых влияний в правительственной политике становятся заметны только в начале 1549 года». Рада формировалась постепенно, и постепенно выработывалась «программа действий, слагались отношения, понемногу связавшие Грозного полною зависимостью» перед нею. А что касается состава рады, то «это был частный кружок, созданный временщиками для их целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание „доброхотствующих“ друзей. Во главе этого кружка стоял поп Сильвестр, о котором со всех сторон идут согласные отзывы, что это был всемогущий временщик». Впоследствии «сам царь признавался, что, как младенец, пребывал во всей воле и хотении Сильвестра, которому „покорился без всякого рассуждения“. Сильвестр с Адашевым, по словам Грозного, всю власть от него отняли и так угнетали и гнали его, что ему „властно ничим же лучше быти раба“. Почин в этом царь приписывал Сильвестру».

Анализ рады позволяет автору сделать такой вывод: «Молодой государь подпал личному влиянию „попа" и своего близкого сверстника Адашева. Они были проникнуты желанием оздоровить правительство и подобрать годных к этому людей. Наиболее пригодную для государственного управления среду они видели в потомстве удельных князей, сохранившем правительственные навыки и динамические воспоминания, и в этой именно среде они подыскивали своих советников. Составленная ими Избранная рада, стоявшая вне привычных московских учреждений, с большою свободой обдумала план реформ, предназначенных к водворению порядка в расшатанном во время регентства государстве. Осуществление этого плана началось в первые месяцы 1549 года» (Иван Грозный. 1924. С. 45—50).

Показательны в вышеприведенных мнениях наших историков последовательные этапы в развитии научных представлений об Избранной раде. У Костомарова и Бестужева, при всем противоречии их взглядов, подход к раде одинаков: на них сказалась зависимость от наличности данных, находившихся в распоряжении тогдашней историографии по изучению эпохи Ивана Грозного; отразилось также и господствовавшее в их время направление в изучении этой эпохи. Оба историка мыслят Избранную раду как некоторого рода привесок, неотделимый от Грозного; их интересует вопрос: самостоятелен ли был в своих действиях царь Иван или зависел от рады? большого ли ума были лица, составлявшие раду, или узких, не широких воззрений? Рада интересует их не сама по себе, а поскольку в ней получила отражение личность Грозного.

В оценке Сергеевича и Платонова рада выступает уже независимо от Ивана Грозного, но все же, взятая сама по себе, она выходит явлением случайным: нашлись люди, воодушевленные желанием общественного блага и сумевшие подчинить своему влиянию молодого царя, — хорошо; не нашлось бы таких — и раде, пожалуй, не суждено было бы никогда появиться на свет.

Виппер делает шаг вперед: его изложение дает почувствовать, что рада — выражение политических идеалов целого влиятельного класса. В отличие прежнего единичного голоса Берсения-Беклемишева теперь этот класс сумел организовать (хотя и весьма непрочно, как показали ближайšie же годы), позволяя предвидеть последующие попытки боярства ограничить власть Бориса Шуйского, Владислава и М. Ф. Романова.

№ 7. МЕСТНИЧЕСТВО

Представление о местничестве как институте общественно-государственном, — в чем оно состояло и в каких формах оно проявлялось в жизни, — установилось в научной литературе более или менее устойчивое и согласное. Зато когда оно возникло, под чьим воздействием; выражением чьих интересов оно являлось; в какой мере было явлением положительным или отрицательным — обо всем этом мнения значительно расходятся.

По толкованию Погодина, местничество выросло в удельные времена: по аналогии со старшими и младшими княжескими столами сложилось представление о высших и низших по положению фамилиях. Странники теории родового быта Д. А. Валуев, С. М. Соловьев, Д. А. Кавелин искали источник местничества в родовом строе Древней Руси и потому логически отодвигали возникновение местничества ко временам более отдаленным. В свою очередь, Леонтович относит его к эпохе еще более поздней, чем та, какую дает Погодин; но его гипотеза о местничестве, якобы заимствованном у монголов, стоит в научной литературе изолированно и последователей себе не нашла. Справедливо замечено, что «автору не удалось найти каких-либо указаний на то, что в руках московского правительства действительно находились изученные им монгольские уставы» (профессор М. А. Дьяконов. Энциклопедический словарь Брок. и Ефр., XI, 556), а без этого гипотеза Леонтовича остается повисшею в воздухе.

Наиболее поздний термин возникновения местничества (в полном несоответствии с мнением представителей родовой теории) указан М. А. Владимирским-Будановым: «не ранее XV века». Являлось ли местничество выражением аристократических тенденций боярства (В. О. Ключевский, Н. П. Павлов-Сильванский) или нет (Владимирский-Будановский) — и по этому пункту согласия не находим. В то время как **большинство Историков**, и тем более **историки-юристы**, изучали местничество, как известное учреждение, между прочим противопоставляя его идее пэрства на Западе (П. Н. Милюков), И. Е. Забелин подошел к нему как к явлению чисто бытовому. Одни видят в местничестве помеху для верховной власти (В. О. Ключевский), другие, наоборот, средство, содействовавшее развитию самодержавия (Н. И. Костомаров, П. Н. Милюков), что, в свою очередь, встречает возражения (Н. П. Павлов-Сильванский).

О местничестве высказались:

Погодин	Ключевский
Валуев	Милюков
Соловьев	Вадимирский-Буданов
Кавелин	Забелин
Костомаров	Павлов-Сильванский
Леонтович	Садиков
Сергеевич	

1. А. Л. Погодин. О местничестве. Три статьи 1838—1842 гг. Историко-критические отрывки. М., 1845. С. 171—224.

«В местничестве выразился характер русский под печатью Востока» (173). «Местничество было московским продолжением удельной системы, приложенной вместо городов к местам служебным, к службе». «Споры о местах — те же удельные войны, только без кровопролитий» (180, 181). Местничество «не есть случай, экспромт; оно никогда не сочинялось, не выдумывалось и не уничтожалось; оно течет в крови русского народа, (оно) естественное произведение его первоначальной истории» (188). Петр Великий заменил местничество табелью о рангах (181).

2 и 3. Д. А. Валуев. Синбирский сборник. М., 1845. Предисловие к Разрядной книге и Соловьев С. М. О местничестве. Московский сборник. М., 1847. Оба, выходя из начал родовой теории, оспаривают Погодина: Местничество есть произведение родового быта, но не наследие удельной системы: в удельный период оно уже существовало. Местничество выросло из столкновения дружинного начала на востоке Европы с началом родовым. Местничество и удельная система — «суть близнецы, порождение одного и того же родового быта, родовых понятий, господствовавших в Древней Руси» (Валуев Д. А. С. 66; Соловьев С. М. С. 267, 297).

4. К. Д. Кавелин. Сочинения. 1897. Т. I. С. 240, 695, 696: в основе держится того же мнения, что и Валуев с Соловьевым.

¹ О местничестве высказывался еще Иванчин-Писарев («Семейные акты Иванчиных-Писаревых XVII стол.» Чтения за 1846—1847 гг., кн. 9). Его понимание местничества Кавелин (Сочинения, изд. 1897, I, 854) так охарактеризовал: «В приведенном нами месте каждое слово — ошибка, каждое положение — страшный, хотя и невинный софизм. Ясно, что автор не имеет о предметах никакого понятия».

5. Н. И. Костомаров. Начало единодержавия в Древней Руси. Вестник Европы. 1870, декабрь, 523—524 (Монографии. Т. XII).

• Бояре не были люди связанные ни узами происхождения, ни преданиями одинаковых свободных гражданских прав... Каждый знал только себя и своих ближних по роду, да великого князя, которому служил... Отсюда обычай местничества, обычай древний». Уже при Иване Калите Родион Нестерович местничает: «заехал» Акинфа Гавриловича.

Обычай местничества «был полезен для успехов самодержавия, потому что не давал боярам сплотиться, образовать между собою общие сословные интересы и постоять за них». «Этот-то эгоизм служилого сословия, эта служебная привязанность каждого к воле великого князя, это отсутствие сословных интересов были важнейшими средствами к укреплению самодержавной власти».

6. Леонтович. К истории русских инородцев. Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взысканий (Цааджин-Гичик). Одесса, 1879. С. 248—275.

Местничество на Руси возникло непосредственно под влиянием монгольского ига: оно как раз совпадает с эпохой монгольских влияний и в домонгольскую Русь не переходит. У монголов местничество было строго развито и организовано. «Родовые звания и чины носят наследственный характер и распределяются между отдельными лицами в известной градации по определенным раз навсегда родовым степеням: в службе военной, придворной и приказной, также провинциальной; существовали родовые распорядки „мест" при придворных церемониях, встречах и пр. — словом, в монгольской администрации еще при первых чингизидах выработались все те местнические обычаи, с какими в настоящее время знакомят нас исследователи местнического быта в Московском государстве». Леонтович находит, что в обоих институтах местничества, московском и монгольском, существует поразительное сродство, одинаковость видов и форм, распорядков «мест» и т. п. «сродство институтов никоим образом не могло быть случайным; оно, напротив, указывает на генетическую связь нашего местничества с ордынским и вообще монгольским».

7. В. И. Сергеевич. Лекции и исследования по истории Русского права. СПб., 1883 (см. также выше, вып. I. С. 61). Как возникло местничество? «Корень местничества общечеловеческий. В местничестве дело состоит в том, что сыну вменя-

ется в заслугу служебное положение отца и других восходящих... Первый слабый зародыш этого явления местничества можно наблюдать в княжескую эпоху, в особом разряде лиц, именовавшихся детьми боярскими. Бояре сообщают свое выдающееся положение и своим детям». Точно так же и посадники в Новгороде и Пскове переносили свое привилегированное положение на своих детей, носивших название детей посадничьих (679).

Первоначально в жизни Московского государства местничество было полезно: «забота об охране отеческой чести поощряла служилых людей к постоянной службе. Уважение правительства к местническим счетам поддерживало в боярских родах связь с Москвою и поощряло детей не отставать от отцов в услугах правительству. Судьба Московского государства, его успехи сливались с личной судьбой и успехами знатных фамилий, которые состояли на его службе». Но «с течением времени значение местничества изменилось. Стали местничаться не только знатные роды, но все служилые люди; местничество стало применяться не только к важным служебным назначениям, но и к мелким, например, к встречам послов. Это распространение местничества на всех служилых людей и на все отношения сделало его большим злом, до крайности стеснявшим деятельность московских государей и нарушавшим интересы государства» (680).

8. В. О. Ключевский. Боярская дума (далее: БД). Гл. IX, XIV и XV; Курс. Ч. II, лекция XXVII.

1. «Элементы местничества встретим еще в удельные века при московском, как и при других княжеских дворах, заметим присутствие мысли о служебном старшинстве, найдем указания на застольное и должностное размещение бояр по этому старшинству, на их требование, чтобы их рассаживали за княжеским столом, как сидели их отцы, на признание случаев обязательными прецедентами. Но при удельной бродячести вольных служилых людей служебный их распорядок лишен был устойчивости». Эта устойчивость сложилась во времена Ивана III и его сына Василия III (Курс, 189).
2. «Местничество было созданием обычного права, бытовым установлением, а не законодательным институтом: законодательство не устанавливало его основ, а только регулировало его последствия и способы практического применения, причем только стесняло его. Но это не ослабляло силы и значения обычая» (БД. Гл. XV).

3. «Местничество устанавливало не фамильную наследственность служебных должностей, как это было в феодальном порядке, а наследственность служебных отношений между фамилиями. Этим объясняется значение правительственных должностей в местничестве. Должность сама по себе здесь ничего не значила: она была тем же по отношению к отечеству, чем служит арифметическое число по отношению к алгебраическому выражению, т. е. конкретной случайностью... Все дело было не в должности, а во взаимном отношении лиц по должностям. Следовательно, должности в местничестве имели значение совершенно обратное тому, какое они имеют теперь. Теперь правительственное значение лица определяется его должностью, т. е. степенью власти и ответственности, с ней сопряженной; в местничестве генеалогическим положением лица указывалась должность, какую оно получало. Теперь, по известной поговорке, место красит человека; тогда думали, что человек должен красить свое место» (Курс, 188—189).
4. «Родовитому человеку „сказывали" высокий чин, когда он достигал приличных для того лет, но высокий чин, сказанный неродовитому человеку, не делал его родовитым, потому что местническое отечество переходило от отцов к детям, а не наоборот: отцы не становились выше от чиновного возвышения потомков. Вот почему родные неродовитой царицы, пожалованные в бояре, не ходили в думу, по свидетельству Котошихина: им негде было сесть там; ниже других бояр „сидеть стыдно, а выше не уметь, потому что породю не высоки". Родословная знать не раздвигалась, когда к ней приходили новые люди. С ними поступали так же, как поступают в плотно застроенной деревне с новым поселенцем: ставь избу на конце порядка, а в середине негде. Против таких вторжений со стороны, против „заездов" и была направлена своеобразная московская форма местничества» (БД. Гл. XIV).
5. «Местничество причиняло больше неприятностей государю, чем приносило пользы самому боярству. Это было явление частного права, запоздалый отзвук веков, когда общежитие держалось еще на родовых основах: при установлении государственного порядка оно неминуемо должно было столкнуться с его требованиями и пасть рано или поздно. Притом, делая из каждой боярской

фамилии не абсолютную, а только относительную политическую величину, устанавливая строгий генеалогический строй и взаимный служебный надзор среди боярства, оно вовсе не содействовало его сословной сплоченности, не воспитывало в нем привычки к дружному действию и пониманию общих интересов. Совсем напротив: внося в боярскую среду соперничество и рознь, питая мелочные споры и узкий фамильный эгоизм, оно притупляло чутье общественного, даже сословного интереса, было в полном смысле „враждотворным и братоненавистным" обычаем, как оно характеризуется в отменившем его приговоре 12 января 1682 г.. (БД. Гл. XV).

9. П. Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I, 169—171.

«Европейская аристократия в основу своего понятия о дворянской сословной чести полагала идею дворянского равенства, пэрства. В Москве служивая „честь" измерялась государевым жалованьем, различным для всякого, и вместо понятия пэрства, поддерживавшего корпоративный дух и создавшего цельность западной аристократии, — выработалась своеобразная система местничества... Все родовое московское боярство располагалось по своему значению при дворе в известного рода лестницу, ступенями которой были целые роды, от высшего к низшему. При таком понятии местничество, конечно, противопоставляется идее пэрства как система единиц, из которых ни одна не была равна другой, такой системе, в которой все единицы равны... Оригинальную систему русского местничества не надо представлять себе как лестницу родов в нисходящем порядке по их „родословности", а скорее, как параллельный ряд поколенных росписей, с помощью которых высчитывалось служебное положение каждого члена каждой росписи относительно всякого другого».

«В высших слоях служба, одна только служба определяла положение нашей старинной аристократии. Таким образом, московские государи не только спокойно могли признавать местнические права своих „служилых князей" и бояр; местнические счета становились даже в их руках новым средством самодержавной политики... Взаимная борьба за „государевое жалованье" дробила высший класс на отдельные атомы и лишила его последней возможности объединиться. Недаром иностранные наблюдатели (Флетчер Д. и Горсей Д.) говорят нам, что царь систематически сеял вражду между знатью и что

между отдельными членами высшего класса существовало взаимное недоверие».

10. М. Ф. Владимирский-Буданов. Обзор истории русского права. Изд. 5-е. 1907. С. 129—130.

«Местничество образовалось не ранее XV в., т. е. со времени обращения бояр в обязательно-служилых людей. Оно есть исключительная принадлежность московского государственного права и не может существовать в государствах, в которых господствует сословный строй. Соперничество знатных родов вполне противоположно корпоративному единству сословия: в Польше самый убогий шляхтич равнялся первому магнату королевства по правам шляхетства; их взаимный титул „панове-братья"».

«Что местничество не было проявлением аристократических тенденций, на это ясно указывает то обстоятельство, что местничались между собою не одни родовитые фамилии, но и худородные люди (дьяки в приказах). Хотя при одном случае местничества князя Волконского с боярином Головиным бояре стали на сторону последнего и сказали, что „за службу государь жалует поместьем и деньгами, а не отечеством" (Разр. кн. I, 206), но этим выразили полное отрицание аристократических начал, ибо князь Рюрикович во всяком случае аристократичнее боярина из простых греков-выходцев; бояре только хотели сказать, что предки Головина служили в высших чинах, чем предки князя Волконского».

11. И. Е. Забелин. Женщина по понятиям старинных книжников // *Опыты изучения рус. древн.* Т. I. М., 1872; перепеч. из «Русск. Вестника», 1857, май. Рассматривая местничество не как учреждение, а как бытовое явление, как местничанье, говорит: «Каждый носил особенную честь, какую давало ему отчество, т. е. особенную меру почета, по которой он занимал место в обществе и которая подчинялась самым многообразным случайностям, следовательно, не представляла ничего положительного и неотъемлемого. Каждый в общезнании принимался был не сам по себе, как вообще человек, человеческая личность, а каков был по отчине; отсюда постоянное местничество, не в службе только, а в каждодневной жизни, особые уставы, порядки, кого и как принимать, где сажать и т. п. О равенстве общественных прав понятия не было» (133).

«Одинаковый чин, уравнивая своих членов в правах служебных, нисколько не уравнивал их в тогдашнем общезнании, в тогдашней общественности. Здесь каждый из членов не был

самостоятельным представителем своего звания, равным с другими; он был представителем известного отечества, известного, более или менее честного, почетного, породистого рода, и этим отечеством становился выше или ниже других своих сверстников, своей братьи по чину, разряду. Здесь ни у кого не было своего самостоятельного лица, а всякий представлял только известный номер своего отечества, по которому и входил в общую нумерацию мест» (137).

• При господстве патриархальных начал в людских отношениях, когда лицо рассматривалось только со стороны отчинного старшинства и меньшинства, трудно было развиться той уравнивающей всех силе, которую называют обыкновенно обществом... Древнее наше общество состояло из отцов и детей: все почему-либо высшее, старшее, значительное принимало в тогдашних понятиях значение отцов, все низшее, младшее — значение недорослей, детей. В массе эти понятия довольно сильны и теперь» (144).

12. Н. П. Павлов-Сильванский. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. СПб., 1898. В духе Ключевского автор усматривает в местничестве «сословно-оборонительную систему», объединявшую «все аристократические фамилии в одно целое, в класс лиц, разместившихся между собою по отечеству и не оставивших места в своей среде новым, неродословным людям. Два рода могли долго спорить между собою за известное место... но еще менее уступили бы они это место кому-либо третьему, новому человеку, не имеющему никаких отеческих прав на него, или имевшему еще более сомнительные права, чем обе спорящие стороны» (79).

С другой стороны, Павлов-Сильванский оспаривает мнение Милюкова, будто Грозный сознательно пользовался местничеством как средством сеять недоверие между знатными фамилиями, разъединять русскую аристократию: в том ему не было надобности «после того, как он воспользовался для ослабления ее другими, более действительными средствами — казнями и опричниной. Местничество было опасным обоюдоострым оружием: если оно могло разъединить и ослабить аристократию, то при сильном развитии оно еще более могло ослабить правительство, парализуя все его распоряжения не только в мирное, но и в военное время, когда обстоятельства требовали безотлагательного их исполнения» (90).

О местничестве см. еще: Шпилевский. Союз родственной защиты у древних германцев и славян. Казань, 1866. С. 183—195; Маркевич А. И. О местничестве. Ч. I. Одесса, 1879; Он

же. История местничества в Московском государстве в XV—XVII вв. Одесса, 1888; Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. Изд. 4-е. СПб., 1912. С. 275 след.

Литература о местничестве до 1879 г. указана Маркевичем в первой его книге (указаны все относящиеся к местничеству места в ИГР Н. М. Карамзина), а позднейшая, до 1912 г., — у М. А. Дьяконова.

Отзыв Маркевича о книге Шпилевского: «Это компиляция, и оригинального в ней нет ничего, но составлена она трудолюбиво и систематично и весьма пригодна для справок; если нужно отыскать случаи местничества, относящиеся к известному типу, в этом случае работа Шпилевского незаменима» (823).

Спорным остается еще один частный вопрос: существовало ли местничество в опричнине? Два наиболее авторитетных историка-юриста на этот вопрос отвечают: один — «да», другой — «нет». Младшее поколение исследователей нашей старины склоняется к ответу положительному.

1. В. О. Ключевский. Боярская дума. Изд. 3-е. Гл. XVII. С. 337: Хотя в социальный состав опричного корпуса «попадали знатные люди вроде князей Трубецкого, Одоевского, Телятевского, но известно, что в опричнине не любили ни родословных людей, ни родословных счетов. Сам царь в письме к Грязному выразительно характеризует генеалогический подбор своей „кромешной“ дружины как общества худородных „страдников“, которых он стал приближать к себе вместо изменников бояр. Значит, опричнине не к лицу было заниматься предками, и она надолго оставила по себе память в боярстве своим невежественным отношением к местническим правилам и приличиям».

2. Садиков. Из истории опричнины царя Ивана Грозного // Дела и дни. Кн. 2-я. СПб., 1921. С. 10: «В противность мнению В. О. Ключевского, можно насчитать по разрядам достаточное количество местнических столкновений опричников между собою [ссылка на данные в Разрядной книге и в Синбирском сборнике. М., 1845]. Опричники из родословных московских фамилий (а представители таковых в опричнине были — ив порядочном количестве) близко принимали к сердцу свои местнические неудачи [примеры]. Грозный, по-видимому, вмешивался иногда лично сам в местнические споры; по крайней

мере некоторый грамоты довольно ясно носят следы личных государевых соображений по разрядам и родословцам».

3. Вразрез с Ключевским много раньше Садикова высказался В. И. Сергеевич. Лекции и исследования. СПб., 1883. С. 680: «Учреждение опричнины произвело большую путаницу в местнических счетах. Опричники стали местничаться со старыми боярскими родами, ссылаясь на честь, которую они приобрели в опричнине. Земские бояре, которые в опричнине не были, напротив того, говорили, что честь, приобретенная в опричнине, не идет в счет, так как на это была воля государя... Одни домогались признания за ними новой чести, а другие не соглашались. Это дало обильный повод к спорам и столкновениям».

4. Пичета В. И. Смутное время в Московском государстве. М., 1913. С. 21: «В опричнине не было местничества, не было Боярской думы. Царь все дела решал с ближайшими советниками».

5. Примеры местничества между опричниками приводит и А. И. Маркевич. История местничества в Московском государстве, 289—291.

№ 8. СТОГЛАВ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Стоглав — это сборник, содержащий описание деяний церковного собора 1551 года и его постановлений, искусственно разделенных на 100 глав (отсюда и его название). Обширные извлечения из соборных постановлений под именем "наказов или наказных списков" рассылались по епархиям и дошли до нас в разных списках и в разных редакциях (редакций обыкновенно считают три: пространная, средняя и краткая). Подлинная соборная книга с подписями членов собора не сохранилась, а текст постановлений, не будучи формулирован надлежащим (точным) образом, проходя через разные руки, подвергался искажению, проверять же его было не по чему. Вот поэтому вопрос о Стоглаве — о его происхождении, составе, его редактора, о месте, какое следует уделить ему в ряду других законодательных памятников Московского государства, — и до сей поры достаточно еще не выяснен. Насколько еще трудно сойтись на одном общем мнении, можно видеть по нижеследующему.

1. Каноничность Стоглава. Официальный ли это памятник или в том виде, в каком он дошел до нас, это труд, лишь основанный на официальных материалах? Имеет ли он каноническую силу, обязательную для своего времени, или нет?

Отрицали каноничность и официальный характер: митр. Платон, митр. Филарет (Дроздов), архиеп. Филарет (Гумилевский): «Стоглав не имеет юридического значения как не имеющий подписи отцов, и достоинство его не может восходить выше черновых записок собора, переделанных неизвестным лицом после 1554 года»; епископ Макарий (Булгаков, будущий митрополит), Добротворский (сумбур, составленный из черновых записок), архиеп. Никанор, Н. Калачов, проф. Суворов, Л. И. (Любитель Истины?).

Среди вышеперечисленных писателей, некоторая часть их, преимущественно высокопоставленные иерархи Русской церкви, не всегда руководились одним только объективным научным интересом, не всегда могли освободиться от предвзятого взгляда. Дело в том, что признать каноничность Стоглава значило последовательно осудить (если даже не все) постановления собора 1667 г., направленные против старообрядцев, признать их ошибочность и незаконность. А это означало бы вторжение в область церковной политики и правительственных мероприятий. Убедительность доводов от этого, конечно, немало страдала.

Однако каноничность Стоглава нашла себе противников и среди ученых, свободных от посторонних соображений. Таковы мнения, хотя и не столь безусловно отрицательные, Жданова, Дьяконова, Стефановича и Вальденберга.

И. Н. Жданов. Сочинения. I, 188. Стоглав есть извлечение, изборник из деяний собора: «Изборник этот мог и должен был служить „историческою основой и материалом" (как удачно выразился г. Добротворский в Православном собеседнике. 1862 г. III, 302; вообще статьи г. Добротворского — лучшее пособие при изучении Стоглава) для таких чисто законодательных памятников, как царские и соборный наказы и грамоты.»

Дьяконов, считаясь с авторитетностью мнения Голубинского (см. ниже), все же полагает, что далеко не все в этом Мнении является бесспорным. В направлении тех же сомнений Дятлов и Стефанович: «протоколы были скреплены и подписаны, вероятно, было подписано и все соборное уложение в первой его редакции, т. е. до отсылки в Сергиев монастырь (к Митр. Иоасафу); книга же Стоглав осталась нескрепленною и Неподписанною» (101).

Вальденберг, с. 282, из двух мнений: 1. Стоглав есть документ официального происхождения; 2. это труд какого-нибудь частного собирателя, не уполномоченного на то собором, — отдает предпочтение второму, «тем более что все доказательства, приводившиеся доселе в пользу официальности Стоглава, говорят только то, что собор издал свои постановления в виде цельного уложения, но они не в силах убедить нас, что Стоглав и есть это самое подлинное уложение. Если же считать его частным собранием, если видеть в нем не официальный документ, а литературное произведение, то все составные части его — речи, вопросы, ответы — получают интерес со стороны заключающихся в них идей, совершенно независимо от того, были ли эти идеи действительно высказаны на соборе теми самыми лицами и в том самом виде, как мы это находим в Стоглаве».

Противоположного взгляда держатся, т. е. защищают каноничность и официальность Стоглава: Илья В. Беляев, Иван Дм. Беляев, проф. Павлов, митр. Макарий (Булгаков, отказавшийся от прежнего взгляда), Латкин, Голубинский, Шпаков, Бочкарев и Стефанович (последний, как видели выше, с оговоркою).

Павлов указывал: Стоглав перестал быть каноническою книгою лишь с собора 1667 г., который исключил из него постановления, дававшие точку опоры старообрядцам в их споре с господствующей церковью (двоеперстие, двугубая аллилуйя и др.), да и то не весь: как источник действующего права Стоглав сохранил свое значение до конца XVII ст., и еще последний патриарх Адриан руководился им в делах церковного суда и управления наравне с Кормчею.

Для Голубинского «не может подлежать никакому спору и сомнению, что собор не только написал свои постановления, но и утвердил и обнародовал их собрание как законодательный кодекс»; что «книга эта представляет собою написанный, утвержденный и введенный собором в действие кодекс его постановлений (П/1, с. 783, 916).

2. Возникновение Стоглава.

а) Был ли Стоглав труд единоличный или коллективный? Единоличным считают его митр. Филарет (составлял-де дьяк), архиеп. Никанор (работа попа Сильвестра), Голубинский (составитель митр. Макарий). В мнении Голубинского свящ. Стефанович видит * преувеличение».

б) Мнение Кононова — Стоглав вырос из наказных списков — Громогласов опровергает.

- в) По вопросу о составителе царских вопросов: под чьим влиянием, по чьим советам составлен Стоглав? — ответы даются тоже неодинаковые. Одни считают таковым митр. Макария, другие — епископа Рязанского Вассиана, третьи — инока Артемия.
- г) С какою целью посылался текст соборных постановлений к бывшему митр. Иоасафу, жившему на покое в Сергиевом монастыре: просто ли для ознакомления или для предварительной оценки? и какие изменения в тексте сделаны были после просмотра его Иоасафом? — ответы также неодинаковы.

3. То же и по вопросу, как следует понимать первые строки, которыми открывается Стоглав: «В лето 7059 месяца февраля в 23 день быша сии вопросы и ответы...» — как указание на время составления книги или как день открытия собора?

4. Практическое значение Стоглава С. М. Соловьев признавал незначительным; Илья Беляев оспаривал это мнение.

5. Жданов предлагал считать собор 1551 года не просто церковным, а церковно-земским — не все считают правильным такое название. Например Латкин: «Специфическим признаком полного Земского собора является представительство всех сословий. Ничего подобного на соборе 1551 г. не было, так как в состав его вошли одно только духовенство и высший разряд служилого класса, представительства же не было никакого». А если собор и занимался разрешением не одних только церковных вопросов, то таких церковных соборов было весьма много и раньше, и позже Стоглавого собора (74).

6. К трем редакциям Стоглава Л. И. присоединяет еще четвертую: открытый им список 1595 года; Голубинский и Громогласов согласны с ним, но не Стефанович: он и в прежние-то деления вносит существенную поправку: редакций была всего одна, и две производные.

Издания Стоглава: Лондон, 1860 — СПб., 1863 (Кожанчикова) — Казань, 1862; 2-е изд. 1887 (Казанской дух. академии); М., 1890 («Братского Слова», Под ред. Субботина). Первые два издания плохие, последние два — с соблюдением требований научных. См. еще «Правила, постановленные на соборе 1551 года 23 февраля» в Архиве историч. и практич. сведений, кн. V. СПб., 1863: это неполный (первая половина) текст соборного уложения.

Сведения о наказных списках, посланных приходскому духовенству и в монастыри и дошедших до нас, с ука-

занием, где каждый из них напечатан или остается в рукописи, собраны Шпаковым, 327—329. См. Илья Беляев. Наказные списки соборного уложения 1551 года. М., 1863; А. С. Павлов. Еще наказный список по Стоглаву. Записки Новор. ун., т. IX (1873).

Более подробные указания (библиографические) на литературу за и против каноничности и официальности Стоглава текста см. у Бочкарева, с. 246, примеч. 251.

Литература предмета указана выше.

№ 9. ИВАН ГРОЗНЫЙ В ЕГО ОТНОШЕНИЯХ К КРЫМУ И ЛИВОНИИ

Правильно ли поступил Иван Грозный, отвергнув советы Избранной рады и направив свои силы, вместо Крыма, на завоевание Ливонии? По этому вопросу в исторической литературе и до сей поры мнения еще расходятся.

Порицатели Грозного

I. Поход на Крым был необходим, и шансы на успех были налицо

1. Крым являлся постоянной угрозой России. Это разбойничье гнездо своими опустошительными набегами держало в постоянной тревоге всю южную полосу Московского государства, нанося неисчислимый материальный вред. Яркий пример тому — вторжение Девлет-Гирея: он проник (1571) до самой Москвы, сжег ее и вернулся домой, увозя с собою в плен до 150 000 человек обоего пола.

2. Воодушевление, охватившее русских людей после блестящих успехов на Волге, создавало психологическую обстановку, чрезвычайно благоприятную для того, чтобы, завоевав два татарских царства, попытаться прикончить и с третьим *{Иловайский Д. И. ИР. Т. III. С. 219}*.

3. Иван мог рассчитывать на поддержку донских и днепровских казаков, отчасти ногайских татар и князей черкесских *(Иловайский Д. И. III, 219; Костомаров Я. И. РИ, гл. XVIII, 439)*

4. Момент для нападения был благоприятный: в это время в Крыму и в степях между ногаями свирепствовали большие холода, «потом засуха, скотский падеж и, наконец, мор на

людей. Современники говорили, что во всей орде не осталось и 10 000 лошадей» (*Костомаров Н. И.* РИ, гл. XVIII. С. 439; Личность царя И. В. Грозного (далее: Личность). Вестн. Евр., 1871, октябрь, 507).

5. В довершение этих бедствий в Крыму поднялась междоусобица: Тохтамыш-Гирей пытался свергнуть Девлет-Гирея; бегство его в Москву открывало возможность создать московскую партию в Крыму, а удачный поход Данилы Адашева, будь он только поддержан надлежащими силами, — возможность совсем уничтожить Девлета. Но удобная минута была упущена. «Для удержания Крыма в русской власти в те времена представлялось более удобства, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла еще из христиан, которые, естественно, были бы довольны поступлением под власть христианского государя. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар» (Личность, 509; РИ, гл. XVIII, 440).

Н. В. Полевой. ИРН. Т. VI. С. 383, ограничивается общими фразами: «Мысль о покорении Ливонии была любимой мыслью Иоанна. Для сего почитал он главной и важной мерою: всячески, и сколько можно долее, поддерживать дружбу с Польшею, пока в Ливонии дело [не] будет кончено. Напрасно Адашев и друзья его отговаривали Иоанна, указывали ему на Крым, на храброго Вишневецкого — они принуждены были уступить упрямству царя».

П. Ливонская война была несвоевременна

1. Покорение Казанского и Астраханского царств, расширение границ на восток и юго-восток вызывали отлив населения, ослабляли, хотя бы и временно, центр; между тем Ливонская война началась тотчас же вслед за покорением Казани и Астрахани (*Середонин С. М.* Иоанн Грозный. Р. Б. Словарь. С. 251).

2. Иван не думал о флоте; между тем только он один мог обеспечить торговые операции на Балтийском море и дать смысл самому обладанию морским побережьем (Середонин С. М. 251; Иловайский, III, 626).

3. Балтийское море было морем закрытым (*mare clausum*) в руках шведских и любекских пиратов; проход через проливы зависел от Дании. Между тем Иван располагал Белым морем, **Правда**, всего с 4-месячной навигацией, зато это было море открытое (*mare liberum*). Ивану не следовало пренебрегать им.

Его предки «не имели и этого пути. На первое время государственные потребности России могли быть удовлетворяемы и этим путем, как оно и было в действительности до времен Петра Великого. По этому морю давно уже русское население плавало от Двины до Оби, следовательно, здесь был готовый контингент людей, из которых можно было выучить моряков в европейском смысле слова. Процветание этого пути заставило бы города, торговавшие по Балтийскому морю, быть внимательнее к требованиям России» (Середонин, 252).

4. Наконец, Иван проглядел Швецию и Польшу: обе эти державы все равно никогда не допустили бы его спокойно использовать свою победу над орденом, бороться же с ними одновременно, как это пришлось ему в действительности, московскому царю было непосильно.

Защитники Ивана Грозного

1. Бороться с Крымом не следовало: во-первых, степи представляли для нас в ту пору препятствие пока неодолимое. Это не то, что Астрахань: до нее свободно, почти без помехи, плывешь водою; ее поэтому и удерживать за собою было неизмеримо легче; во-вторых, Крым втянул бы нас в войну с турками, а борьба с ними в ту пору была совершенно нам не по силам.

2. Война с Ливонией была историческим заветом. Балтийский вопрос был поставлен самою жизнью; пробиться к морю, вступить в непосредственные сношения с культурным Западом, обеспечить русским товарам свободные рынки было жизненной потребностью для России, тем более что Белое море было удалено, навигация там короткая (Соловьев, Кавелин, Бестужев-Рюмин, Виппер, Платонов).

3. «Ввиду слабости ордена, ввиду возможности укрепиться на восточных берегах Балтийского моря одному из соседних государств; ввиду настоятельной необходимости войти в прямые торговые сношения с Западом и с тем вместе укрепить и охранить свои границы Московское государство должно было начать Ливонскую войну» (*Бестужев-Рюмин К. Н.* РИ, II, 236).

Где же правда?

1. Даже те, кто видит в войне Ливонской ошибочный шаг Ивана, готовы признать, что «степь в XVI в. была действительно неодолима», что «борьба с Турцией была далеко не по силам

России». В самом деле, Турция XVI в. была в расцвете своего могущества. Это была пора двух самых выдающихся ее султанов — Селима I и Сулеймана Великолепного.

2. Селим I (1512—1520) являлся настоящей грозой на Востоке. Им были завоеваны Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия; Мекка и Медина признали его протекторат; он вытеснил Персию с Кавказа (Азербайджан); принял титул калифа; положил основание турецкому флоту и господству его на Средиземном море. Селим видел в себе наследника Восточной Римской империи.

3. Сулейман II Великолепный (1520—1566). Восток и при нем входит в сферу деятельности турок; наступательная политика его отца не прервана: захвачен Кипр у Венеции, прогнан с о-ва Родоса рыцарский орден Иоаннитов; взят Багдад; турецкие войска проникают в самое сердце Персии — в Тавриз, ее столицу; но главное внимание Сулеймана обращено на север и запад: почти все царствование его проходит в войне за Венгрию; христианскому миру нанесено тяжелое поражение в битве при Могаче (1526); турецкие войска доходят до Вены (1529). По миру 1547 г. большая часть Венгрии в руках турок; Австрия обязывается ежегодной данью; она будет выплачивать ее вплоть до 1699 г. Захвачены острова архипелага (1536); временно взят Тунис (1534—1535); как раз в 1550-х годах, когда в Москве спорили о том, с кем предпочтительнее воевать, турецкий флот хозяйничал в Средиземном море; да и позже, тяжелое поражение, нанесенное ему при Лепанто (1571), Турцию несколько не ослабило: всего через год она выставит сотню новых кораблей.

4. Не представляло ли огромного риска выступать на состязание с такою грозною силою? На Крым Турция непременно ответила бы войною: начиная с 1478 г. она считала его своим «улусом» («вассальным государством»); даже с потерей Казани и Астрахани она не примирилась: в 1563 г. Сулейман собирался отнять последнюю у русских, а в 1569 г. его преемник, Селим II (1566—1574), действительно, послал туда целую армию. Недостаточно было завоевать Крым — надо было суметь удержать его в своих руках. Волга сближала Казань и Астрахань с Москвою, закрепляла за нею оба татарских Царства; наоборот, широкая полоса незаселенных степей отделяла Крым от Москвы. Даже 130 лет спустя **эти** степи явятся **Неодолимой** преградой (Крымские походы князя В. В. Голицына), и только в царствование имп. Анны удастся, да и то с **Неимоверными** усилиями, преодолеть их и проникнуть вглубь

полуострова, притом все же только проникнуть, но еще не удержаться надолго.

5. Но если следовало отказаться от Крыма, то, может быть, благоразумнее было бы не затрагивать и Ливонию? Тот или иной ответ на этот вопрос будет зависеть от предварительного ответа на другой: мог ли Иван оставаться равнодушным зрителем надвигавшихся событий? Ливонскому ордену не суждены были долгие дни; в чьи-нибудь руки он все равно должен был попасть — в интересах ли России было допустить, чтобы восточное побережье Балтийского моря попало в руки чужие, чтобы между Россией и Европой воздвиглась высокая стена отчуждения? Конечно, попытка Ивана окончилась полной неудачей; она стоила России громадных затрат, бесполезных жертв людьми и деньгами; царь потерял даже и то, чем владел раньше на берегу моря; но ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Во всяком случае Грозный раскрыл воочию всю необходимость для России моря — в этом сознании воспитывались последующие поколения; это сознание обусловило впоследствии возможность и того шага, который сделал Петр Великий. Поставив на очередь вопрос о Балтийском море, указав на необходимость для России утвердиться на его берегах, Иван явился истинным предшественником великого Петра.

6. Кроме того, так ли уж ясно было в ту пору, как ясно теперь, что, начав войну с орденом, придется кончать ее с Польшей и Швецией? У Ивана были все основания рассчитывать на соперничество между этими двумя державами, в чем он и не обманулся: соперничество было фактом реальным; оно проявлялось и позже всегда очень ярко. Ведь и Швеция, Польша и Дания, отхватывая себе куски Ливонской территории, хорошо понимали, что им придется не иначе как с оружием в руках отстаивать добытое. Значит ли, что и им не следовало втягиваться в борьбу? Может быть, у них было больше шансов на успех? Но всегда ли конечный успех зависит от наличия этих данных? Разве начиная Северную войну, Петр обладал ими? Он ведь тоже грубо ошибся: вместо молодого шалопада нашел в лице Карла XII талантливого полководца; а в своих наскоро обученных войсках ему пришлось разочароваться на первых же порах.

7. Флот не создается сразу; первоначально торговый обмен (как это и доказали XVI и XVII века) мог далеко не без пользы вестись и на одних чужеземных кораблях; постепенно Россия обзавелась бы и военным флотом. А потом, вообще нельзя говорить, будто Грозный «не думал о флоте». Существуют по-

казания современников немцев о том, что царь набирал опытных кораблестроителей, знающих морское дело, искусных в сооружении гаваней, портов, бастионов и крепостей. Если практические результаты такого вызова специалистов инженерно-морского дела свелись к нулю, все же отказывать царю в понимании того, что собственное море естественно ведет к заведению и собственных кораблей, и в намерении его дать этой мысли реальное осуществление, было бы несправедливо.

8. Белым морем Грозный «не пренебрегал»: в течение всего его царствования торговля в Архангельске велась весьма оживленно; царь и здесь, особенно после потери Нарвы, думал завести свои корабли при содействии голландских корабельных мастеров и шкиперов (Записки Штадена, 37); но далекий Архангельский порт не в состоянии был состязаться ни с одним из портов балтийских, даже с самым отдаленным от западных окраин Балтийского моря — с Нарвским: через девять лет, после того как Нарва попала в русские руки, она стала серьезным соперником Ревеля, даже Риги: туда съезжались купцы английские, шотландские, голландские, французские, немецкие; германские города Висмар, Данциг, Гамбург, Аугустусбург, Нюрнберг, Лейпциг имели там своих представителей. По временам скопление товаров было так велико, что цены на них сильно падали — достижимо ли было это в Архангельске, куда торговый корабль мог, самое большее, сделать всего один рейс в году?

В чем же ошибка Ивана Грозного?

1. Не в том, что он начал пробиваться к морю, не довольствуясь собственной пустынной полосой берега и добываясь оборудованных, уже испытанных в торговом отношении гаваней, а в том, как он вел войну за эти берега и гавани. Основная причина его неудач коренилась в следующем: 1. У Ивана не хватило чувства меры: он зарвался в своих требованиях и **Желаниях**, задался чересчур широкой программой и к тому же еще не сумел отделить задач специально политических от фамильных, вотчинных. 2. Он разбросал свои силы. 3. **Может быть**, самая главная его ошибка — своими собственными руками он подрезал сук, на котором сидел: лишил себя духовных сил. без коих одни материальные усилия, как бы велики они **Ни** были, всегда останутся бесплодными.

2. Иван погнался за двумя зайцами. Домогаясь свободного **Выхода** к морю, удобной торговой гавани, он одновременно

домогался возврата родовых, отчинных земель. Одновременно он бьет и по Нарве, и по Юрьеву Ливонскому, одновременно поднимает против себя и шведов, и поляков. Стоило ему завоевать Полоцк, как ему уже всей Ливонии мало: он требует себе еще Киева, Волыни, Подолии и Галиции. Правда, он скоро сбавляет тон, однако Полоцка и той части Ливонии, какая в данную минуту уже была в его руках (то, что именно предлагали ему поляки), ему мало. Достаточно, чтобы Земский собор (1566) высказался за продолжение войны, чтоб Иван стал требовать не только всей Ливонии, но еще титулов царя Московского и Ливонского, выдачи Курбского.

3. Погнавшись за двумя зайцами — за гаванями и родовым наследием, Иван неизбежно вооружил против себя и шведов, и поляков, тех и других одновременно. Конечно, советовать *post factum* легко, но основное правило войны — сосредоточить возможно больше сил против возможно меньших — приложимо всюду и во всем. Грозному предстояло выбрать одно из двух: или поступиться Нарвой, не домогаться Ревеля, не вторгаться в Эстонию, не раздражать шведов, а опираясь на них, общими силами двинуться на Литву и Польшу; или, наоборот, удовлетвориться в Ливонии, самое большее, одним Юрьевом Ливонским (его царь, действительно, мог назвать своею отчиною), не прибегать к хитрым выдумкам, будто в состав этой вотчины входит даже и Рига, и всеми силами ударить на шведов. И в том и в другом случае препятствий на своем пути царь встретил бы значительно меньше, имел бы одного врага, а не двух одновременно. Между тем он задумал сразу взять все — и осекся.

4. В сходной обстановке иначе поступал его дед. Притязая на словах на всю Зарубежную Русь, Иван III умел, однако, оставаться в пределах разумного и удовлетворялся реально малым: переходом мелких князей Чернигово-Северской земли, хорошо понимая, что «всякому овощу свое время». Этого-то понимания и не хватало Ивану Грозному. Осторожнее держал себя впоследствии и Петр Великий: вначале он не шел дальше Нарвы и устьев Невы; его программа расширилась не раньше, как достигнута была первоначальная цель и когда победа Полтавская позволила, даже обязывала, расширить ее. Об «отчинных землях» не забывал и Петр, но и он также помнил, что «всякому овощу свое время» и что требовать всего сразу не приходится.

5. Вообще Иван Грозный плохо распределил свои силы. Поход Данилы Адашева на Крым (1559) заранее осужден был

на бесплодность: война с Ливонией в ту пору уже велась, и поход оказался напрасною тратой сил, которым полезнее было дать совсем другое направление.

б. Едва ли не самую роковою ошибкою Грозного являлось то, что в самый разгар войны за Ливонию он затеял войну у себя дома, чем совершенно погубил себя и свое дело. Опричнина с ее ужасами внесла убийственный разлад в русскую жизнь, парализовала силы народные; соль Русской земли в лице ее боярства и служилых людей или гибла на плахе, или бежала, спасаясь, в Литву. В такой обстановке крушение Ливонского дела было неминуемо.

№ 10. СИМЕОН БЕКБУЛАТОВИЧ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ (ЦАРЬ) МОСКОВСКИЙ

В эпоху опричнины Иван Грозный поставил над земщиною особого государя — крещеного касимовского царя Симеона Бекбулатовича, но когда именно поставил; как долго государствовал Симеон; титуловался ли он только великим князем или **также** и царем; наконец, был ли он венчан на царство или **нет** — на все эти вопросы историки наши дают противоречивые **ответы**, в зависимости от понимания и толкования источников, **далеко** не во всем согласных между собою.

1. Назначение. Одни относят его к 1574 г. (Соловьев, Костомаров), другие к 1575 г. (Б.-Рюмин, Середонин, Платонов) или к «около 1575 г.» (Иловайский).

2. Продолжительность государственного управления: два года (Костомаров), около двух лет (Иловайский), не более двух лет (Соловьев), месяцев пять, не более (Середонин), всего несколько месяцев (Платонов).

3. Титул: Бестужев-Рюмин называет Симеона «великим **Князем**»; Вл.-Буданов — «русским царем»; Середонин — «**царем** и вел. князем»; Иловайский говорит, что Иван Васильевич посадил Симеона «государем на Москве, даже венчал его царским венцом и окружил пышным двором»; Середонин допускает венчание, Платонов отрицает его.

¹ Крестился он незадолго перед тем: еще в 1572 и даже в 1573 г. Разряды называют его «царем Саин-Булатом», и лишь с 1574 года — «Царем Симеоном Бекбулатовичем» (Др. Российск. Вивлиофика, XIII, 423, 435, 457).

ИСТОЧНИКИ

Они трех категорий: 1. Документальные, современные событиям. 2. Современные записи. 3. Записи более позднего времени.

I. Документальные данные

1. 1575, мая 18. Грамота Ивана Грозного, данная от имени «царя и великого князя всея Руси». Акты Юшкова. Чтения Общ. Ист. и Др. Российск. 1898, кн. 3, № 203.

2. 1575, окт. 30. Грамота Ивана Грозного Симеону: «Вел. князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси сю челобитную подал князь Иван Васильевич Московский и дети его князь Иван и князь Федор Ивановичи Московские», а в челобитной пишет: «г-рю вел. князю Сим-ну Бек-чу всеа Руси Иванец Васильев со своими детишками сыванцом да с Федорцом челом бьют». *Соловьев С. М.* ИР, VI, прим. 94. Кроме Соловьева, прошение это напечатано еще: 1) Записки Отд. Русск. и Слав. Археологии, т. II (1861), 371, и 2) Дела Тайного приказа, т. II (Р. ист. библиотека, т. XXII [1908], № XI, с. 76.

3. 1575, декабря 1. Грамота Ивана Грозного Троице-Сергиеву монастырю, от имени «царя и вел. князя всея Руси». Акты Историч., I, 360, № 194.

4. 1576, январь. Послушная грамота Симеона Бекбулатовича, «вел. князя всея Руси», о пожаловании князя Д. Засекина с крестьянами в отчину. Акты Арх. Эксп. I, 355, № 290.

5. 1576, февраль 9. Грамота (Симеона?) о поместье Степана Кузьмина, сына Меркулова. Московский Телеграф. 1830, № 8. С. 425—430. См. *Толстой Ю.* Россия и Англия, 178.

6. 1576, марта 1. Грамота Ивана Грозного, где он титулует себя «Государем князем Иваном Васильевичем Московским». Акты Юшкова. № 204.

7. 1576, марта 11. Другая такая же грамота с таким же титулом. Акты Юшкова. № 205.

8. 1576, марта 14. Грамота Симеона от имени «вел. князя всея Руси», шуйскому городовому прикащику Блудову о платеже ямских денег и других податей. Акты Историч. I, 360, № 195.

9. 1576, апреля 2. Грамота Симеона Бекбулатовича, «вел. князя всея Руси», льготная крестьянам Кириллова монастыря. Акты Арх. Эксп. I, 356, № 292.

10. 1576, мая 20. Грамота Ивана Грозного с титулом: «государь и князь Иван Васильевич Московский». Акты Юшкова, #2 206.

11. 1576, июня 27. Жалованная грамота ростовского архиеп. Ионы величает Ивана Грозного «князем Московским». Акты Арх. Эксп. I, 358, № 294.

12. Разряды 7084 года (1 сент. 1575—31 авг. 1576) называют Симеона «великим князем всея Руси». Др. Р. Вивл. XIV, 293.

13. Разряды 7085 года (1 сент. 1576—31 авг. 1577) называют Симеона «князем великим Тверским». Там же. XIV, 325.

14. 1576, сентябрь 2. Грамота Ивана Грозного новгородским дьякам от имени «царя и вел. князя всея Руси». Акты Арх. Эксп. I, 359, № 295.

NB. Позволительна ли такая догадка: пробил новый 7085-й год, и Грозный поставил крест на своей затее: сдал Симеона Бекбулатовича в архив и снова стал царем всероссийским?...

II. Современные записи

1. Летописная запись под 1574 годом. «Казнил царь на Москве у Пречистой на площади в Кремле многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много, а головы метали под двор Мстиславского. В то же время произволил царь Иван Васильевич и посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке, весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто, как боярин, в оглоблях, а как приедет к царю Симеону, ссаживается от царева места, далеко, вместе с боярами». *Соловьев С. М.* ИР, VI, 210. Здесь соединены два рассказа о двух событиях: о казнях и о посажении Симеона царем; второе могло иметь место только в 1575 г.

2. Донесение Сильвестра, английского толмача, о том, что говорил ему царь Иван 29 ноября 1575 г.: «Я предал свой сан в руки иноземца; он мне совсем не родня, чужак Нашей земле и престолу (a stranger whoe is nothinge alyed Unto us our lande or croune). Я требовал от своих подданных Повиновения себе, а они ропщут, противятся мне, куют против Меня измену, я и отдал их другому государю, пусть правит Ими; однако я оставил себе всю казну государственную и достаточное число слуг и места, чтоб обеспечить себя и их». *Толстой Ю.* Россия и Англия, 179, № 39.

3. Второе донесение Сильвестра о том, что говорил ему царь Иван 29 января 1576 г.: «Хотя я и облек другое лицо в царское достоинство и тем самым принял на себя известные обязательства, возложил таковые же и на других, но дело это еще не окончательное, и я еще не настолько отказался от царства, чтобы не мог, когда захочу, вновь принять его, тем более что он [Симеон] еще не утвержден обрядом венчания, да и самое назначение его состоялось не по народному избранию, а лишь потому, что этого захотел я». *Толстой Ю.* Россия и Англия, 184, № 40.

4. Принц из Бухова (его сочинение напечатано в 1577 г.): «Управление передал Симеону, сыну царя Казанского, возложив на него через митрополита также диадему, как мы это узнали из рассказов некоторых. Однако последний по многим причинам, справедливо боясь за себя, тотчас упросил его освободить его от этой чести». Принц из Бухова. Начало и возвышение Москвы. М., 1877. С. 29.

III. Записки более позднего времени

1. Джильс Флетчер (его сочинение вышло в свет в 1591 г.): «Он уступил царство одному великому князю, Симеону, сыну царя Казанского, к концу года заставил он нового государя отобрать все грамоты, жалованные епископам и монастырям. Все они были уничтожены. После того, как бы недовольный таким поступком и дурным правлением нового государя, он взял опять скипетр». *Флетчер.* О Русском государстве, глава XII.

2. Д. Горсей (его сочинение вышло в свет после 1591 г.): Разделив государство на опричнину и земщину, Иван IV «установил нового государя, именуемого Симеоном, сына казанского царя; сам же отказался от царского титула и, уступив Симеону венец и всю связанную с ним власть, короновал его, но без всякого торжества и без согласия бояр; затем приказал своим поданным обращаться к нему со своими делами, просьбами и исками. Все грамоты, привилегии, указы и акты были переименованы и вновь обнародованы за подписью и печатью нового царя; во всех судах производились дела его именем, били монету, получались подати, судные пошлины и определенные доходы на содержание его дома, чиновников и слуг. Он становился ответственным за прежние долги; ему же подведомственные стали все дела, касающиеся управления казною. Симеон

сидел в царственном величии, а прежний царь Иван Васильевич приходил к нему, бил челом и приказывал делать то же своим митрополитам, епископам, игуменам, боярам и должностным лицам; ему должны были представляться все посланники; некоторые, однако, отказались от этого. Симеон был женат на дочери князя Ивана Федоровича Мстиславского, царской крови». *Горсей Д.* Записки о Московии XVI века, перевод Н. А. Белозеровой; с предисл. и примеч. Костомарова Н. И. изд. Суворина. СПб., 1909. С. 30—31.

[3. Ж. Маржерет (его книга вышла в свет в 1607 г.): •Иоанн короновал его и представил ему весь царский титул; сам же, построив дворец против Кремля, повелел называть себя великим князем Московским. Симеон царствовал целые два года, управляя как внутренними, так и внешними делами. Разумеется, что он спрашивал у Иоанна совета или, справедливее, получал повеления. В конце второго года Иоанн низложил его с престола и дал ему великие богатства». Сказания иностранцев, изд. Устрялова, I, 255.

4. Временник дьяка Ивана Тимофеева (писан в первые годы царствования Михаила Феодоровича): «Вместо себе, кроме сына своей крове, от Измаилт иного некоего верна царя на время поставль, себе же раболепно смири, и малую си часть имения достояния оставль, помале паки все восприят, — тако Божиими людьми играя». Р. ист. библиотека, XIII, 271.

5. Кн. И. М. Катырев-Ростовский. Повесть о Смуте 1626 года (т. н. «Хронограф Сергея Кубасова»): царь Иван «царствие свое, порученное ему от Бога, раздели на две части, часть едину себе отдели, другую часть царю Симеону Казанскому поручи и устрой его на Москве царем, сам же отъиде от единых малых градов, Старицу зовомый, и тамо жительствуя много время, и свою часть людей и градов прозва опрочнина, а другую часть царя Симеона именована земщина, и заповеда своей части оную часть людей насиловать и смерти предавать, Дома их разграблять и воевод, данных от Бога ему, без вины убивать» и т. д. Изборник Попова, 284; Р. ист. библиотека, XIII, 628.

На основании вышеприведенных данных, положительного, бесспорного можно сказать лишь одно: 1. Посажен был Симеон государствовать не ранее 1575 г., никак не в 1574 году, и 2. В течение 5 1/2 месяцев 1576 г. (14 марта — 1 сентября) Симеон действительно носил титул «великого князя

Московского» и в этом смысле был государем. Бедность положительных выводов заставляет по-прежнему ограничиваться одними предположениями:

1. С. М. Середонин. «Царствование Симеона можно считать месяцев пять, не больше. Если он и был венчан, то после 29 января 1576 г.; в июле (?) 1576 г. Симеон в Разрядах опять называется уже только Тверским. Противоречие между датами челобитной Иванца Московского и царскими грамотами от имени Грозного по 29 декабря можно объяснить тем, что Грозный, посадив Симеона на престол, не сразу венчал его и, вероятно, не сразу передал ему все управление». С удалением же Симеона уничтожена была и опричина: «иначе какое же значение имело это удаление? что означало принятие Иоанном снова титула „царя и вел. князя всея Руси“?» (Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe common wealth». СПб., 1899. С. 80, 81).

2. Определеннее и категоричнее выражается С. Ф. Платонов, имевший возможность пользоваться новым источником, т. н. Башмаковской Разрядной: «Симеону довелось сидеть в звании великого князя в Москве всего несколько месяцев. При этом, так как он не носил царского титула, то не мог быть и венчан на царство; его просто, по словам одной разрядной книги, государь „посадил на великое княжение на Москве“, может быть, и с некоторым обрядом, но, конечно, не с чином царского венчания. Симеону принадлежала одна тень власти, потому что в его княжение рядом с его грамотами писались и грамоты от настоящего „царя и великого князя всей Руси“, а на грамоты „великого князя Симеона Бекбулатовича всей Руси“ дьяки даже не отписывались, предпочитая отвечать одному „государю князю Ивану Васильевичу Московскому“. Словом, это была какая-то игра или причуда, смысл которой неясен, а политическое значение ничтожно. Иностранцам Симеона не показывали и о нем говорили сбивчиво и уклончиво: если бы ему дана была действительная власть, вряд ли возможно было бы скрыть этого нового повелителя земщины» (Очерки по истории Смуты. СПб., 1899. С. 157).

Вариант этого рассуждения предложен в позднейшем труде Платонова «Иван Грозный» (1924), 104: «В 1575 году Грозный сделал „великим князем всей Руси“ крещеного татарина „царя“ (хана) Симеона Бекбулатовича и подчинил ему „земское“ или „земщину“... На это время, правда, короткое (1575—1576), царский титул как будто исчез совсем, и опричина именовалась „двором“ московского князя, а „земское“ стало „великим княжением всей Руси“».

3. Е. А. Белов. Поставить во главе земщины кого-нибудь из старейших бояр значило бы усилить их значение; нельзя было поставить и человека незначительного по родословию: «это значило бы на некоторое время сплотить боярство, которое не преминуло бы дойти до крайнего озлобления»; Симеон же, как бывший царь, «по дружинным понятиям, заехал прочих бояр, стал выше их, а как татарин, он был далек от родословных счетов потомков княжеских и старомосковских фамилий» (Об историч. значении русск. боярства до конца XVII века. СПб., 1886. С. 109).

4. В. О. Ключевский. «Есть известие, что во главе земщины поставлен был крещеный татарин, пленный казанский царь Едигер-Симеон. Позднее, в 1574 г., царь Иван венчал на царство другого татарина, касимского хана Саин-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича, дал ему титул государя великого князя всея Руси. Переводя этот титул на наш язык, можно сказать, что Иван назначил того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Симеон Бекбулатович правил царством два года; потом его сослали в Тверь. Все правительственные указы писались от имени этого Симеона, как постоянного всероссийского царя, а сам Иван довольствовался скромным титулом государя князя, даже не великого, а просто князя московского, не всея Руси, ездил к Симеону на поклон, как простой боярин, и в челобитных своих к Симеону величал себе князем московским Иванцом Васильевым, который бьет челом „с своими детишками“, с царевичами. Можно думать, что здесь не все — политический маскарад. Царь Иван противопоставлял себя, как князя московского Удельного, государю всея Руси, стоявшему во главе земщины; выставя себя особым, опричным князем московским, Иван Как будто признавал, что вся остальная Русская земля составляла ведомство совета, состоявшего из потомков ее бывших властителей, князей великих и удельных, из которых состояло высшее московское боярство, заседавшее в земской думе» (Курс, II, лекция XXIX).

Ср. еще: БД, гл. XVII: «Самым опричным своим титулом Царь противопоставлял опричнину земле как удельную часть всему национальному и государственному, земскому целому: некоторое время он официально назывался просто „князем московским“, даже не великим, предоставив титул „великого князя всея Руси“ поставленному им во главе земщины крещеному^{Ха}ну касимовскому Симеону».

(НВ. «Касимский» в Курсе, «касимовский» — в БД).

5. В. С. Иконников оспаривает взгляд Платонова: «если опричнина не была одной затеей Ивана Грозного, а имела известное политическое значение (как настаивает на этом сам Платонов), то и назначение Симеона, поставленного во главе земщины, как лица, принадлежавшего к высшей служебной иерархии, связанного знатным родством, считавшегося опасным соперником на московский престол (от Бориса Годунова до Шуйского включительно), не могло быть ничего не значащим фактом. Притом назначение Симеона стоит в связи с подозрениями Ивана Грозного против князя И. Ф. Мстиславского. Понятно, что он хотел поставить во главе государства человека с весом и вместе с тем стоявшего вне круга боярских отношений» (Новый труд по истории Смутного времени Московского государства. СПб., 1900. С. 21; из ЖМРПр. 1900, февраль).

№ 11. ОПРИЧНИНА, ЕЕ ЦЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ (разрушение княжеских вотчин)

Историки, изучавшие опричнину и высказавшие свой взгляд на нее, могут быть сведены в три главные группы:

1. Карамзин, а вслед за ним Костомаров и Иловайский ставят опричнину в тесную зависимость от личности Ивана Грозного: она вызвана была недоверием государя к своим поданным (Карамзин); она — акт сумасбродства (Костомаров); она — ненужная тирания (Иловайский).

2. Ключевский и его последователи понимают опричнину как меру полицейскую: Грозный создал личную охрану, которой, кроме того, предназначено было выводить «измену». Таким образом, назначение опричнины сводилось к борьбе против лиц, но не против порядка.

3. Уже Соловьев и еще более Кавелин почувствовали недостаточность объяснения опричнины одним субъективным подходом со стороны Грозного; особенно отчетливо сознал это Бестужев-Рюмин: опричнине ставились задачи политического, государственного значения. Мысль Бестужева детально разработал и оправдал Платонов, доказав, что у Грозного борьба шла именно с порядком, отнюдь не с отдельными лицами. Бестужево-Платоновская мысль получила в науке право гражданства; но ближайшие последователи и ученики Ключевского (Кизеветтер), приняв взгляд Платонова на политический характер и значение опричнины, продолжают, однако, утверждать, что главным назначением ее было посредством

террора над земщиной вывести крамолу, тогда как Платонов в терроре видит лишь эпизодическую, побочную черту этого учреждения.

Таким образом, историческое развитие вопроса об **опричнине** нашло в указанных трех группах выражение трех последовательных моментов **ее** понимания: личное, по существу, ничем **не** оправданное дело (первая группа), оно, оставаясь личным, получает свое оправдание **и** смысл (Ключевский **и** его **школа**) **и**, наконец, становится делом с определенно поставленными ему (хотя **и** достигнутыми путем жестоких, далеко не всегда необходимых мер) серьезными государственными целями (Бестужев, Платонов **и** их последователи).

Более отчетливое представление об опричнине, однако, немисливо без отчетливого представления о Грозном как человеке и государе. Поэтому см. Спор. вопр. № 13.

Об опричнине писали:

Карамзин	Довнар-Запольский
Бередников	Ключевский
Костомаров	Покровский
Кавелин	Пичета
Соловьев	Любавский
Бестужев-Рюмин	Садиков
Белов	Виппер
Середонин	Федотов
Павлов-Сильванский	Сухотин
Милюков	Кизеветтер
Платонов	

1. Н. М. Карамзин. Под пером Карамзина опричнина явилась плодом недоверия Ивана Грозного к своим подданным, **Желания** уберечь себя от **их** злых умыслов. Опричнина — это **Царская** стража, которая, пользуясь доверием царским **и** своим привилегированным положением, насильничала **и** зорила страну. Рассказ сводится к простому изложению **фактов** (возникновение **и** организация опричнины; действия опричников), причины же, вызвавшие появление опричнины, автор видит личной воле царя: факторы социально-экономического порядка остались **им** не подмеченными.

• Иоанн сказал, что он для своей **и** государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль **никого не** удивила; знали его недоверчивость, боязливость, свой-
^т**венную** нечистой совести; но обстоятельства удивили, а след-
^{ст}вия привели в новый ужас Россию... Иоанн, по-видимому,

желал как бы удалиться от царства, стеснив себя в малом кругу частного владельца, и в доказательство, что Государево и Государственное уже не одно знаменует в России, требовал себе из казны земской 100 000 рублей на издержки его путешествия от Москвы до слободы Александровской!»

«Царь избрал 6 000 и взял с них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружитья с Земскими (т. е. со всеми, не записанными в опричнину), не водить с ними хлеба-соли, не знать ни отца, ни матери, знать единственно государя. За то государь дал им не только земли, но и дома, и всю движимую собственность старых владельцев (числом 12 000), высланных из пределов опричнины с голыми руками, так что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные, пустые поместья. Самые земледельцы были жертвою сего несправедливого учреждения: новые дворяне, которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностью закрасить свою подлость, имели нужду в деньгах, обременяли крестьян налогами, трудами; деревни разорились. Но сие зло казалось еще маловажным в сравнении с другим. Скоро увидели, что Иоанн предает всю Россию в жертву опричным: они были всегда правы в судах, а на них не было ни суда, ни управы... Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним доверенности: сия общая ненависть служила ему залогом их верности» (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. IX. Гл. II).

2. Беренников, редактор первого тома «Актов Археографической Экспедиции», в примечании 63-м к этому тому выясняет, как долго просуществовала опричнина: «По вероятным соображениям, можно заключить, что опричнина после 1572 года не уничтожилась, а изменилась в своем составе и получила другое наименование»:

- 1) Города и воеводы в Разрядах 1578 г. делятся на дворовые и земские (Др. Р. Вивл. XIV, 350 и *Карамзин Н. М.* ИГР. Т. IX, прим. 516). Между тем раньше, до возникновения опричнины, такого деления не существовало.
- 2) Бояре и другие чины в Разрядах 1573 и 1578 гг. (*Карамзин Н. М.* IX. Прим. 412; Др. Р. Вивл. XIV, 350) те же самые лица, что в Разрядах 1569 и 1572 гг. (Др. Р. Вивл. XIII, 396 и 422). «Следовательно, опричнина после 1572 г. заменена была словом двор, а земщина удержала свое название до последних лет царствования Иоанна».

- 3) Свидетельство Морозовской летописи (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. IX. Прим. 137) о том, что царь, разделив государство на две части, над одною, земщиной, поставил Симеона, а сам удалился (из Москвы) в Старицу, следует относить к июлю 1575 года, — а последнее значит, что опричнина, «нераздельная с существованием Земщины», не могла быть уничтожена в 1572 году.

Бередников пишет не «опричнина», а «опричина».

3. Н. И. Костомаров подробно рассказывает, как возникла опричнина, какие насилия творили опричники, но что породило самую опричнину, какие цели ставились ей — автор обходит молчанием. Под его пером опричнина является лишь выражением простого «произвола, доведенного до сумасбродства» (РИ, гл. XX, с. 476).

4. Немногом дальше Костомарова ушел и Иловайский: он тоже ограничивается простым изложением фактов, не углубляясь в их оценку. «Так называемая некоторыми писателями (в виду имеет, кажется, Бестужев-Рюмин) борьба Иоанна с боярским сословием в сущности никакой действительной борьбы не представляет; ибо мы не видим никакого серьезного противодействия неограниченному произволу тирана со стороны сего «сословия». Нельзя называть крамолою «попытки некоторых бояр бегством в Литву спасти свою жизнь от кровожадного тирана или мстить ему за причиненные обиды и насилия». «Самодержавная власть в Московском государстве была уже настолько сильна и так глубоко вкоренилась в нравы и воззрения народа, что наиболее строптивым боярам не на кого было опереться, если бы они вздумали оказать какое-либо неповиновение» (ИР, III, 263—264). Поэтому меры Ивана, направленные к тому, чтобы возможно скорее порвать старые связи княжат с бывшими уделами; конфискация их наследственных вотчин, произвольный обмен на вотчины и поместья, расположенные в других областях государства, Иловайский объясняет не чем иным, как «нетерпением, деспотизмом и ненавистью к знатнейшим фамилиям» (414).

5. К. Д. Кавелин. «Это учреждение, оклеветанное современниками и непонятое потомством, не внушено Иоанну — как думают некоторые — желанием отделиться от Русской земли, противопоставить себя ей: кто знает любовь Иоанна к простому народу, угнетенному и раздавленному в его время вельможами, кому известна заботливость, с которой он старался облегчить его участь, тот этого не скажет. Опричнина была первой попыткой создать служилое дворянство и заменить им

родовое вельможество, — на место рода, кровного начала, поставить в государственном управлении начало личного достоинства: мысль, которая под другими формами была осуществлена потом Петром Великим. Если эта попытка была безуспешна и наделала много зла, не принесла никакой пользы, не станем винить Иоанна. Он жил в несчастное время, когда никакая реформа не могла улучшить нашего быта... За какие реформы ни принимался Иоанн, все они ему не удались, потому что в самом обществе не было еще элементов для лучшего порядка вещей» (Взгляд на юридич. быт Др. России. Современник, 1847, кн. I; перепеч. в «Сочинениях», изд. 1859 и 1897 гг.; см. с. 52—53 последнего издания).

б. С. М. Соловьев: политическое значение опричнины признается, но говорится об этом кратко и глухо: «для скорейшего перехода княжеских вотчин в казну, в дополнительных указах к Судебнику сделаны (были соответствующие) распоряжения» (ИР, VII, гл. I, 8 по изд. 1857 г.). Основную причину возникновения опричнины выставлен страх и забота о личной безопасности «человека страстного, восприимчивого, напуганного» (VI, гл. IV, 192), готового всюду видеть измену. «Напуганный отъездом Курбского и протестом, который тот пожал от всех своих собратий, Иоанн заподозрил всех бояр своих и схватился за средство, которое освобождало его от них, освобождало от необходимости постоянного, ежедневного общения с ними. Положить на них на всех опалу без улики, без обвинения, заточить, сослать всех, лишить должностей, санов, лишить голоса в думе и на их место набрать людей новых, незначительных, молодых, как тогда называли, — это было невозможно. Прежнего любимца своего, Алексея Адашева, Иоанн не мог провезти дальше окольного, не мог далеко вести он и новых своих любимцев. Если нельзя было прогнать от себя все старинное вельможество, то оставалось одно средство — самому уйти от него. Иоанн так и сделал. Дума, бояре распоряжались всем, только при вестях ратных и в делах чрезвычайной важности докладывали государю. Старые вельможи остались при своих старых придворных должностях; но Иоанн не хотел видеть их подле себя и потому потребовал для себя особого двора, особых бояр, окольных и т. д.; но он не мог бы совершенно освободиться от старого вельможества, если бы остался жить в старом дворце, и вот Иоанн требует нового дворца; он не мог не встречаться со старыми вельможами при торжественных выходах и т. п., если б оставался в Москве, и вот Иоанн покидает Москву, удаляется на житье в Александровскую слободу» (VI, 196).

После низложения Симеона Бекбулатовича и ссылки его в Тверь «разделение на опричнину и земщину оставалось, но имя опричнины возбуждало такую ненависть, что царь счел за нужное вывести его из употребления: вместо названий опричнина и земщина видим название: двор и земщина; вместо города и воеводы опричные и земские — города и воеводы дворские и земские» (VI, 210—211). При этом Соловьев ссылается, кроме Акт. Арх. Эксп. I, прим. 63, еще на рукописную летопись: «которые князи и бояре, и вельможи ему годны, называше опришницами, сиречь дворовыми».

НВ. «Удаление» в Александровскую слободу не может быть принято во всем его объеме: Иван Грозный жил там, но не покидал совершенно и Москвы. Бросив Кремлевский дворец, он построил себе в той же Москве, на Неглинной, на расстоянии ружейного выстрела к западу от Кремля, Опричный двор, с помещением и для себя. Двор этот сгорел в набег Девлет-Гирея на Москву в 1571 году (Записки Штадена, 107—110). Где жил после того царь Иван в свои приезды в Москву? И где у нас доказательства того, что в последние 12—13 лет его жизни Москва была для него местом временных наездов, а не более или менее постоянного пребывания? Да и в первом случае надо было или обзавестись новым дворцом, вне кремлевских стен, или вернуться в свой старый, прадедовский.

7. К. Н. Бестужев-Рюмин, считает соловьевскую оценку опричнины и ее значения «верною» и «меткою». Сам он всецело исходит из показаний Флетчера, и едва ли не первый из русских историков привлекая их к объяснению опричнины: князья не забывали своих старых удельных прав, видели в царе не царя, а прежнего великого князя, своего рода «первого среди равных», а царь, в ответ, выселил их с их наследственных земель, разослал по отдаленным областям и тем подорвал в корне их влияние, каким они до той поры пользовались у местного населения. Обширное послание Грозного к князю Курбскому «ясно показывает, что борьба имела реальную основу, хотя по страстности отношения к делу и могла зайти слишком далеко» (РИ, II, 259—266).

8. Е. А. Белов развивает ту же мысль, исходя из челобитной, поданной Грозному духовенством (Карамзин Н. М. IX, Прим. 137), которое просило царя: «А вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел из тех городов вывести». «В числе городов [говорит Белов], взятых в опричнину, находятся Суздаль с Шуею, Балахна. Этими городами владели предки Шуйских, и перевод новых помещиков в их

волости, вместо старых вотчинников и помещиков, наносил тяжкий удар Шуйским, ибо в старых вотчинниках и помещиках Шуйские имели большую опору». Переводя «гуртом мелких вотчинников и помещиков из земщины в опричнину и наоборот», Грозный «перетасовывал переводимых, как колоду карт», расселяя их по разным местам, чтобы они не скучивались в одном месте. Поступи Грозный иначе, т. е. «если б из шуйской или галицкой волости вотчинники и помещики были переведены в одну кучу, в одно место, то влияние князей Шуйских было бы только перенесено из одного места в другое. Точно так же, перенеси Иоанн только княжеские вотчины из одного места в другое и оставь прежних вотчинников на старых местах, осталось бы все по-старому, традиции и связи не были бы разорваны, хотя бы Шуйские жили в Рязани или в другом месте. Мера же Иоанна с корнем вырвала все прошлое» (Об историч. значении рус. боярства до конца XVII века. СПб., 1886. С. 109—111, из ЖМНПр. 1886 февр., март).

9. С. М. Середонин вслед за Бестужевым тоже опирается на Флетчера, находя ему подтверждение в массе указаний на потерю князьями их старинных вотчин, на постоянную мену их и поместий, о чем свидетельствуют писцовые книги того времени. Бестужев-Рюмин и Белов, говорит Середонин, первые посмотрели на борьбу Грозного с русским вельможеством не как на борьбу с боярством, а как на борьбу с княжатами, т. е. с потомками удельных князей. Раньше господствовал иной взгляд: «С. М. Соловьев отрицал совсем связь потомства удельных князей с землями их предков; по его словам, князья, съехавшиеся в Москву, заехали старинные московские боярские роды, ничем, кроме титула, не отличались от остальных членов служилого сословия, и многие из них забывают свои наименования по волостям и сохраняют только имена, происходящие от личных прозвищ» (Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe common wealth» как историч. источник. СПб., 1891. С. 91).

10. Н. П. Павлов-Сильванский: собственно борьба с князьями была закончена еще при Иване III и его сыне, при Грозном же она превратилась в «гонение», причем «разрушение удельных преданий велось с наибольшим ожесточением тогда, когда они наиболее ослабли и исчезали сами собой» (Государевы служилые люди. СПб., 1898. С. 69—71).

11. П. Н. Милюков. Систематическую борьбу с опасным для нее социальным элементом монархическая власть в лице Грозного вела тремя способами: 1) путем окончательного при-

крепления князей к московской службе и уничтожения последних остатков свободного отъезда; 2) путем отобрания у **бояр** их старых вотчин: «до двадцати таких вотчин, отобранных у князей, Грозный перечисляет в своем завещании. Взамен наследственных владений княжатам жаловались земли где-нибудь на противоположном краю России, в местностях, с которыми они не были уже связаны никакими историческими воспоминаниями»; 3) «Третий и последний шаг этой политики заключался в том, что царь прямо начал „губить“ знатнейшие фамилии, губить не по личной прихоти и вражде, а из той же политики, и не отдельных лиц той или другой фамилии, а по возможности всех представителей каждого рода, — „всеродно“, по выражению Курбского» (Очерки по истории рус. культуры, I, 1896, 168).

12. С. Ф. Платонов. I. Признавая политический смысл мобилизации, он дает ей новое освещение: взгляд Бестужева, Белова и Середонина (опричина-де «направлялась против **потомства** удельных князей и имела целью сломить их **традиционные** права и преимущества») близок к истине, но он не **раскрыт** с желаемой полнотою. Отводя земли под опричнину и постепенно увеличивая ее территорию, Грозный осуждал всякий уезд, взятый в опричнину с служилыми землями, на коренную ломку: «землевладение в нем подвергалось пересмотру, и земли меняли владельцев, если только владельцы сами не становились опричниками. Можно, кажется, не сомневаться в том, что такой пересмотр вызван был соображениями политического порядка. В центральных областях государства для опричнины были отделены как раз те местности, где еще существовало на старых удельных территориях землевладение **княжат**, потомков владетельных князей. На этих-то владельцев и **Должен** был пасть всею тяжестью затеянный Грозным пересмотр землевладения. Одних Грозный сорвал со старых мест и развеял **по** новым далеким и чуждым местам, других ввел в новую опричную службу и поставил под строгий непосредственный свой надзор». Так произошла систематическая ломка вотчинного землевладения служилых княжат вообще, что вполне согласно **И** с показаниями Флетчера Д. (140—146).

«Другое последствие, вытекавшее из тех же мероприятий, было не менее важно. На территории старых удельных владений еще жили старинные порядки, и рядом с властью московского государя еще действовали старые авторитеты. В Тверском уезде, **Например**, из 272 вотчин не менее чем в 53-х владельцы служили **Не** государю, а князю Владимиру Андреевичу Старицкому, кня-

зьям Оболенским, Микулинским, Мстиславскому, Ростовскому, Голицыну, Курлятеву, даже простым боярам». Теперь служилые люди этих князей стали в непосредственную зависимость от великого государя; «с опричниною должны были исчезнуть „воинства" в несколько тысяч слуг, с которыми княжата раньше приходили на государеву службу, как должны были искорениться и все прочие следы удельных обычаев и вольностей в области служебных отношений» (147).

«Итак, опричнина сокрушила землевладение знати в том его виде, как оно существовало из старины, уничтожила старые связи удельных княжат с их родовыми вотчинами и раскидала подозрительных в глазах Грозного княжат по разным местам государства». Правда, удельная аристократия «не была истреблена „всеродно", поголовно; вряд ли это и входило в политику Грозного, как склонны думать некоторые ученые; но состав ее значительно поредел, и спаслись от гибели только те, которые умели показаться Грозному политически безвредными". Во всяком случае, „политическое значение класса было бесповоротно уничтожено, и в этом заключался успех политики Грозного"» (Очерки по истории Смуты в Московск. государстве XVI—XVII вв. СПб., 1899. Записки ист.-фил. фак. СПб. Унив. Ч. 52-я. С. 157—158).

С. Ф. Платонов. II. Еще, если не полнее, то выпуклее, обрисовал Платонов опричнину в другом позднейшем труде своем, посвященном специально Ивану Грозному:

Иван III, сын его и внук, завоевывая новый край, обыкновенно вывели из него руководящие слои населения, сажая на их место поселенцев из коренных московских мест (Новгород, Псков, Вятка, Рязань, Казань). Подобную же меру задумал применить Грозный и к внутренним врагам — не внешним, т. е. к тем, кто представлялся ему враждебными и опасными: он задумал искоренить «измену» среди бояр — опричнина и явилась средством для достижения этой цели.

«Он решил вывести с удельных наследственных земель их владельцев княжат и поселить их в отдаленных от прежней оседлости местах, там, где не было удельных воспоминаний и удобных для оппозиции условий; на место же выселенной знати он сажал служебную мелкоту, детей боярских, на мелкопоместных участках, образованных на пространстве старых больших вотчин... Изгнанию подвергались не только знатные потомки удельных князей, но и простые служилые люди и вся вообще дворня и служня, окружавшая подозрительных для Грозного господ. Эта операция пересмотра и вывода землевладельцев

получила характер массовой мобилизации служилого землевладения с явной тенденцией к тому, чтобы заменить крупное вотчинное (наследственное) землевладение мелким поместным (условным) землевладением».

Опричнина выросла в обстановке глубокого недоверия к окружающим и к боярству вообще со времени болезни Ивана (1553), когда прежние любимые и верные слуги превратились в его глазах «в своекорыстных и неискренних соправителей, лукаво отнявших у него полноту его власти, разделивших с ним его державный авторитет. Так как весь механизм управления был в их руках, то Грозный их боялся, как боялся и любезного им князя Владимира Андреевича. Ему казалось, что, отняв на деле „от прародителей данную ему власть“, они могут попытаться отнять ее и формально, воцарив Владимира вместо него, Ивана. Впервые и очень остро Грозный почувствовал около себя опасность оппозиции и, разумеется, понял, что это оппозиция классовая, княжеская, руководимая политическими воспоминаниями и инстинктами княжат, „восхотевших своим измененным обычаем“ стать удельными „владыками“ рядом с московским государем. Именно в этой обстановке надлежит искать происхождение опричнины».

• Побег и письмо Курбского были последним ударом по нервам Грозного. Раздражение царя толкнуло его на то мероприятие, какое мы зовем опричниной. В уме Грозного всему злу заводчиками были „изменные владыки“, княжата, устроители рады, а виновными в безначалии и оппозиции все вообще бояре, сочувствующие княжатам. Гнев государя должен был упасть на всякого повинного в противословии царю. Но княжата должны были понести особо тяжкое наказание. Грозный решил уничтожить самое основание их притязаний на общественное и политическое первенство в стране. Этим основанием было льготное землевладение в тех уделах, где предки княжат когда-то были государями. Старые „княженецкие“ вотчины с пережитками удельного быта, с политическими воспоминаниями питали в княжатах мысль о возможности соправительства с московским государем „всяя Руси“, который был одного с ними рода и даже не старшего в нем „колена“. Грозный решил свести княжат с их вотчин на новые места, разорвать их связи с местными обществами и таким образом подорвать их материальное благосостояние и, главное, разрушить тот устой, на котором опирались их политические претензии и было построено социальное первенство» (Иван Грозный. Берлин, 1924. С. 102—105, 109—110).

ПОСЛЕДСТВИЯ ОПРИЧНИНЫ. Цель была достигнута, но куплена дорогой ценою. Выводились не одни крупные землевладельцы: княжата и бояре, но и мелкие, причем держались правила: старых владельцев посылали на окраины государства, где они могли быть полезны в целях обороны его. Но самая операция перевода и перемены землевладельцев превратилась в политический террор. «Государь не просто производил эту перемену, а свирепствовал над теми, кого подозревал в „измене“ (или, говоря недавним языком, в неблагонадежности). С необыкновенною жестокостью он без всякого следствия и суда казнил и мучил неугодных ему людей, ссылал их семьи, разорял их хозяйства. Его опричники не стеснялись „за посмеих“ убивать беззащитных людей, грабить и насиловать их».

«Грозный вел свое дело в опричнине уверенно и твердо, напролом шел к цели и достиг ее. Землевладение княжат было сокрушено; их среда была сорвана со старых гнезд и развеяна по всему государству; виднейшие из них были истреблены; их правительственное первенство было уничтожено... В последние годы своей жизни Грозный мог торжествовать победу над внутренним врагом... Но можно думать, что он уразумел свою ошибку, в какую впал при учреждении опричнины. Нельзя было сомневаться в том, что он выбрал для достижения своей цели несоответствующее ей средство. Цель опричнины — ослабление знати — могла бы быть достигнута менее сложным способом. Тот же способ, какой был Грозным применен, хотя и оказался действительным, однако повлек за собою не одно уничтожение знати, но и ряд иных последствий, каких Грозный вряд ли желал и ожидал».

«Массовая конфискация вотчин, массовое передвижение служилых землевладельцев, секуляризация церковных земель и обращение в частное владение земель дворцовых и черных для нужд опричнины — все это явилось бурным переворотом в области земельных отношений, вызывало неудовольствие и страх в населении». Одновременно с крупными хозяйствами гибли и мелкие. Слуги опальных бояр получали волю, «иногда с запрещением поступать в какой-либо иной двор». При раздроблении богатых вотчин на мелкие участки крестьяне расходились отдельными дворами к мелким помещикам, попадали в худшие условия — то и другое отрывало рабочий люд от места, превращая его «из оседлого состояния в подвижное, чтобы не сказать — бродячее» (Смута еще не началась, но горячий материал уже был налицо).

Мобилизация земельная сопровождалась политическим террором, казнями, опалой, своего рода внутренней войною, «для которой, однако, не было причины. Царь преследовал своих врагов, которые с ним не сражались». Внося ожесточение и раздор, Грозный своими действиями настолько потряс все государство, до того возбудил всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что всеобщее восстание было неминуемо. Эпоха смут и самозванцев доказала это (110—116).

13. М. В. Довнар-Запольский вслед за Платоновым тоже признает, что Грозный вел борьбу «с порядком, а не с лицами», преследуя «те же государственные задачи, которые старался осуществить с помощью Избранной рады. Программа была одна и та же, но проводилась резче, так как в исполнении ее стали приводить распоряжения, исходящие от человека, разум которого периодами помрачался» (Московские гуманисты и обскуранты XVI века // Москва в ее прошлом и настоящем. Ч. I, II, 56, 57).

14. В. О. Ключевский: «Обстоятельства, при которых возникла опричнина, прямо указывают на ее назначение. Политическая эмиграция с ее заграничными кознями побуждает царя положить опалу на все правящие классы и отказаться от власти; по челобитью московской депутации царь возвращается к власти на условии беспрепятственной расправы с изменниками и для этой расправы учреждает опричнину, посредством которой он задумал вывести измену из Русской земли. В опричнине учреждалась высшая полиция по делам государственной измены; назначенный по уставу учреждения отряд в тысячу человек становился корпусом дозорщиков внутренней крамолы и охранителей безопасности царя и царства, а сам царь брал в руки полицейскую диктатуру для борьбы с этою крамолой, становился верховным шефом этого корпуса» (БД. Гл. XVII).

«Опричнина, при первом взгляде на нее, представляется учреждением, лишенным всякого политического смысла. В самом деле, объявив в послании всех бояр изменниками и расхитителями земли, царь оставил управление землей в руках этих изменников и хищников. Но и у опричнины был свой смысл, хотя и довольно печальный. В ней надо различать территорию и цель» (Курс, II, лекция XXIX).

1. Опричнина, иначе особый двор, «была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора, наподобие в позднейший, императорский, период министерства уделов».

2. Цель опричнины: она должна была «ограждать личную безопасность царя. Ей указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в существовавшем московском государственном устройстве. Цель эта состояла в том, чтобы истребить крамолу, гнездившуюся в Русской земле, преимущественно в боярской среде. Опричнина получила назначение высшей полиции по делам государственной измены».

Но устраняла ли опричнина те затруднения (а именно: столкновения, возникавшие между государем и боярством), которые ей предназначалось устранить? Московское государство XVI в. было абсолютной монархией, но с аристократическим управлением. «Бояре возомнили себя властными советниками государя всея Руси в то самое время, когда этот государь, оставаясь верен воззрению удельного вотчинника, согласно с древнерусским правом пожаловал их, как дворовых слуг своих, в звание холопов государевых. Обе стороны почувствовали себя в неловком положении и не знали, как из него выйти».

Выход из затруднения был найден в опричнине, но он «не устранял самого затруднения. Оно заключалось в неудобном для государя политическом положении боярства как правительственного класса, его стеснявшего. Выйти из затруднения можно было двумя путями: надобно было или устранить боярство как правительственный класс и заменить его другими, более гибкими и послушными орудиями управления, или разъединить его, привлечь к престолу наиболее надежных людей из боярства и с ними править, как и правил Иван в начале своего царствования. Первого он не мог сделать скоро, второго не сумел или не захотел сделать».

«Во всяком случае, избирая тот или другой выход, предстояло действовать против политического положения целого класса, а не против отдельных лиц. Царь поступил прямо наоборот: заподозрив все боярство в измене, он бросился на заподозренных, вырывая их поодиночке, но оставил класс во главе земского управления; не имея возможности сокрушить неудобный для него правительственный строй, он стал истреблять отдельных подозрительных ему лиц. Опричники ставились не на место бояр, а против бояр, они могли быть по самому назначению своему не правителями, а только палачами земли. В этом состояла политическая бесцельность опричнины: вызванная столкновением, причиной которого был порядок, а не лица, она была направлена против лиц, а не против порядка. В этом смысле и можно сказать, что опричнина не отвечала на вопрос, стоявший на очереди. Она могла быть внушена царю

только неверным пониманием положения боярства, как и своего собственного положения. Она была в значительной мере плодом чересчур пугливого воображения царя» (Курс, II, лекция XXIX).

«В опричнине заметны признаки дворянского, противобоккого демократизма. Хотя в состав опричного корпуса „попадали“ знатные люди вроде князей Трубецкого, Одоевского, Телятевского, но известно, что в опричнине не любили ни родословных людей, ни родословных счетов. Сам царь в письме к Грязному выразительно характеризует генеалогический подбор своей „кромешной“ дружины как общества худородных „страдников“, которых он стал приближать к себе вместо изменников бояр. Значит, опричнине не к лицу заниматься предками, и она надолго оставила по себе память в боярстве своим невежественным отношением к местническим правилам и приличиям. После спорившие о местах, желая показать, что известный служебный случай неправилен и не имеет цены, говорили: „то деялось в опришнине“. Тот же Грязной, опричный думный дворянин из алексинских детишек боярских, тешивший царя застольными шутками и хвалившийся, что он „великий человек“, в ответном письме к царю едва ли не первый высказал мысль, отрицавшую самые основы местничества: „Ты, государь, как Бог, и малого делаешь великим“. Все это развязывало руки царю, открывало ему полный простор в выборе советников, в придворных и должностных назначениях, без досадного упрямства со стороны хранителей родословной и разрядной чести своих отцов и дедов» (БД. Гл. XVII).

15. Н. Н. Покровский (1910) иронизирует над попытками прежних историков искать объяснения опричнины в «характере» или в «душевном состоянии» царя Ивана: неотвратимая по своей стихийности, она, говорит он, была «лишь кульминационным пунктом длинного социально-политического процесса, который начался задолго до Грозного» и продолжался еще при его сыне Федоре и при Борисе Годунове. «Политика опричнины красной нитью проходит через все три царствования, от 60-х годов XVI века вплоть до Смуты, имея минуты ослабления и напряжения, но вне всякой связи с чьей-либо личной волей» (61—62).

Опричнина была государственным переворотом, который Диктовался экономическими условиями. «Война на западе, как война на востоке, не дала удовлетворения земельному голоду мелкого вассалитета — и не оправдала вообще тех ожиданий, с которыми ее начали. Внешняя политика не сулила больше

ни земли, ни денег — то и другое приходилось отыскивать внутри государства. Но этим последним продолжало управлять боярство. Оно было правительством, реально державшим в руках дела: царь был лишь символом, величиной идеальной, от которой практически помещикам было ни тепло ни холодно» (111).

Поэтому «нет ничего несправедливее, как отрицать принципиальность Грозного в его борьбе с боярством и видеть в этой борьбе какое-то политическое топтание на одном месте. Был ли тут инициатором сам Иван Васильевич или нет — всего правдоподобнее, что нет — но его «опричнина» была попыткой за полтора года до Петра основать личное самодержавие петровской монархии. Попытка была слишком преждевременна, и крушение ее было неизбежно: но кто на нее дерзнул, стояли, нельзя в этом сомневаться, выше своих современников».

«Старые вотчины внутри государства были теперь единственным земельным фондом, на счет которого могло шириться среднепоместное землевладение; государева казна — единственным источником денежных капиталов. Но для того чтобы воспользоваться тем и другим, нужно было захватить в свои руки власть, а она была в руках враждебной группы, державшей ее не только со всей цепкостью вековой традиции, но и со всей силой нравственного авторитета».

Переворот 3 декабря 1564 года и был попыткой не то чтобы внести новое содержание в старые формы, а поставить новые формы рядом со старыми, не трогая старых учреждений, сделать так, чтобы они служили лишь ширмой для новых людей, не имевших права в эти учреждения войти как настоящие хозяева. Петр был смелее — он просто посадил в Боярскую думу своих чиновников да назвал ее сенатом: и все с этим примирились. Но ко времени Петра бояре были уже в глазах всех „зяблым, упавшим деревом“. За полтора года раньше дерево уже начало терять свою листву, но корни его еще крепко сидели в земле и сразу их было не вырвать» (112—113).

Создав опричнину, выделив ее из государства (земщины), Иван Грозный получил возможность распоряжаться в своем дворцовом хозяйстве («домене») столь же полновластно, «как любой вотчинник у себя дома». Творцы опричнины намеренно старались не оставить никаких юридических следов своей работы. «Народу нужен был виноватый, и его уверили, что острие переворота направлено против отдельных, хотя и очень многочисленных, лиц, порядок же остается во всей неприкосновенности старей. Ибо нельзя же было одним росчерком пера

уничтожить то, чему царь и его теперешние советники безропотно подчинялись не один десяток лет и от чего морально они, быть может, не могли освободиться даже и в эту минуту» (118).

• Опричина была блоком городской буржуазии и среднего землевладения; без посадских переворот 3 декабря 1564 года, вероятно, не имел бы места». Опричина была «ликвидацией господства феодальной знати в пользу средних землевладельцев» (138). +110 опричина не только не добила старой знати — она создала новую. Выходцы из среднего дворянства, попав в приближение к царю Ивану, очень скоро осваивались со своим новым положением и становились копией низвергнутого ими родовитого боярства. Типичным образчиком таких феодалов из опричнины был Богдан Яковлевич Вельский, «оружничий Грозного» (139).

• Опричина царя Ивана IV представляет собою одно из крайне любопытных явлений русской истории XVI века и вместе один из тягчайших пунктов обвинений против Грозного в нашей литературе той поры, когда думали, что историки призваны к охулению или к идеализации исторических лиц. Опричнины не понимали очень долгое время и превращали ее в простую нелепицу или результат умоиступленных вспышек царя Ивана IV. В более позднее время выступил профессор В. О. Ключевский со своей выразительной и заманчивой, но далеко не обоснованной теорией опричнины как корпуса жандармов при государе, предназначенного исключительно для борьбы с крамолой. Навстречу обаятельным построениям В. О. Ключевского выступил профессор С. Ф. Платонов с его холодным обозначением опричнины как учреждения, имеющего определенный смысл, и металлической аргументацией, не поддающейся разгрому. Спор создавался на почве чрезвычайной скудости первоисточников по данному вопросу. Наиболее систематическим повествованием об учреждении опричнины является рассказ Александровской летописи, впервые изданной в III томе «Русской Исторической Библиотеки» (СПб., 1876. Приложения, стр. 29—30); (Русская история с др. времен. «Мир». Т. II).

16. В. И. Пичета нового ничего не вносит, но подводит итоги тому, что высказано было перед ним об опричнине в исторической литературе (Смутное время в Моск. государстве. Причины, ход и следствия Смуты. М., 1913. С. 19—21).

17. М. К. Любавский идет вслед за Бестужевым-Рюминым, Середониным и Платоновым (Древняя рус. история до конца XVI в. М., 1918. С. 256).

18. Садиков. «Поставление Семена Бекбулатовича великим князем „всея Руси" с точки зрения опрично-удельного „государя кн. Московского" и было, по-видимому, окончательным подтверждением произведенного им за десять лет перед тем „раздела" государства. В этом отношении княжение Семена Бекбулатовича не может казаться „игрой или причудой, смысл которой неясен": опричнина пережила ряд модификаций, с 1572 г. переименовавшись в „двор", в состав ее входили и выходили оттуда обратно в земщину разные местности, но общий характер ее, как государева удела, остался неизменным; 1575—1576 гг. и были временем, когда этот характер был особенно Грозным почему-то подчеркнут» (Из истории опричнины царя Ивана Грозного // Дела и дни. Кн. 2-я. 1921. С. 6—7).

19. Б. Р. Виппер в опричнине видит реформу военную, необходимость которой была вызвана теми продолжительными войнами, какие вела Россия с соседями в царствование Ивана Грозного. «Нельзя забывать, что опричнина была не только взрывом мести против действительных и мнимых изменников, не только жестом ужаса и отчаяния у царя, перед которым открылась вдруг бездна неверности со стороны лучших, казалось, слуг: это была также военная реформа, вызванная опытом новой труднейшей войны» (53).

«Без сомнения, Иван IV по своей необузданной натуре внес слишком много страстности в борьбу со своими прежними доверенными советниками; но это не основание думать, что в опричнине и не было ничего больше, кроме личного ожесточения, а следовательно, что Грозный вел войну с призраками. После примера, поданного Курбским, пришлось у видных бояр отбирать клятвенное обещание о невыезде за границу. Следовательно, они не подчинились новому понятию о государстве; они продолжали считать себя государями, в них еще сидели предрассудки удельных владетелей» (57).

«То обстоятельство, что реформа совершалась во время трудной войны, что она осложнялась столкновением с княжатами, среди которых, вероятно, было немало сочувствовавших Курбскому, придавало ей характер судорожно-резкий. Но не в террористических мерах Грозного заключалась сущность перемен. Работая над введением нового военного строя, реформатор не имел покоя и простора. Преобразование было задумано как орудие для устранения опасных людей и для использования бездеятельных в интересах государства, а сопротивление недоброжелателей превращало саму реформу в боевое средство для их

ничтожения, и вследствие этого преобразование становилось внутренней войной» (60—61).

• Следует помнить, что шаги ее (опричнины) развития, может быть, по временам судорожные и страшные, теснейше связаны с колебаниями внешней войны. В 1564 г. бегство Курбского послужило толчком к первым резким действиям Ивана IV в отношении княжат: военная реформа началась с раздробления княжеских гнезд и уничтожения остатков удельного строя. Под влиянием новгородской «измены» и крымского нашествия произошла новая реформа в виде расширения опричнины: преобразование началось также с разгрома старой силы, поскольку она еще сохраняла следы самостоятельности. Царь втянул в круг военного управления новые территории, отодвинул земщину на окраины. Вместо «опричнины» с 1572 г. появляется название «двор». Деятельное демократическое Поморье, северный заволжский, двинский и прикамский край, вызывавший особенное доверие Ивана IV, занимают в расширенной опричнине-дворе самое видное место. Недаром военно-административную систему, реформированную 8 лет спустя после ее возникновения, окрестили новым именем. Напрягая военное право, усиливая военно-податные повинности, правительство как бы хотело возвестить программу последней крайности: «все для войны» (71).

• В. О. Ключевский видит в опричнине борьбу не с порядками, а с лицами, в самом Иване IV признает лишь талантливого дилетанта. С. Ф. Платонов, хотя допускает в опричнине широкий и во многих отношениях целесообразный военно-административный план, все-таки находит в деятельности Грозного нервическую переборку людей и служебных поручений, непрерывный разгон и разгром, который не давал никому осесть на месте и заниматься делом, и потому в конце концов разрушал основы созданного в ранние годы Ивана IV порядка и таким образом приблизил Смуту».

• Не решаясь оспаривать эти глубоко продуманные и блестящие характеристики Ивана IV, мы хотели бы только напомнить о том, что забывалось в эпоху увлечения историков проблемами внутренней истории, а именно что борьба с княжатами, возвышение на счет старого боярства неродовитых **людей**, усиление военной повинности и податной тяготы происходило **не** в мирную пору, а среди величайших потрясений. В сущности, все царствование Ивана IV было почти сплошной **Непрекращающейся** войной. В 1551—56 гг. идет борьба за Поволжье. С 1558 г. в течение 24 лет при постоянной угрозе

крымского нашествия тянется крупнейшая из войн русской истории, борьба за Ливонию, за выход к морю, осложненная жестокими столкновениями с Польшей и Швецией. Положение весьма похожее на то, в каком находился Петр I, жизненной целью которого было приобретение того же самого окна в Европу... Когда речь идет о Петре I, все готовы признать, что его реформы находятся в тесной зависимости от тяжелой всепоглощающей войны. Станным образом под этим углом зрения об Иване Грозном почти не судили: историки пока не осветили нам связи между внешней и внутренней его политикой» (Иван Грозный. 1922. С. 111—112).

20. Г. П. Федотов (1928) сознается, что его оценка опричнины «отзывается скорее Карамзиным, чем Виппером», и самого себя причисляет к «консервативным историкам старой школы — к Карамзину и Иловайскому», хотя и по-разному с ними оценивает «смысл русского исторического процесса» (206, 207). «Объективизм» Соловьева его не удовлетворяет: он «выношен в школе Гегеля ... За видимой объективностью творится самый несправедливый суд, где обвиняемых, т. е. побежденных, даже не выслушивают». Кавелин довел идеализацию до абсурда. Ключевского «спас от идеализации Грозного великорусский здравый смысл», но сам он к опричнине «подходил несколько упрощенно». Платонову принадлежит «заслуга выяснения социального смысла опричнины». Виппер «нарисовал Грозного на фоне европейского и азиатского XVI века, впервые крепко связав внутреннюю политику Москвы с внешней. В этом внимании к международной обстановке действительная заслуга автора. Но в изучении русских дел Виппер не вносит ни новых материалов, ни новых методов. Книга его не исследование, а панегирик» (208—214). Более удовлетворен автор последней книгой Платонова об Иване Грозном: опричнина под его пером из необходимого орудия трудной войны (Виппер) превращается в причину поражения и источник последующей смуты, потрясшей все государство (218—220).

Собственная же концепция Федотовым опричнины такова: «Это не только система террора, но и система управления». Государственный дуализм (деление страны на земщину и опричнину) достиг своего завершения в лице Симеона Бекбулатовича, и хотя «этот маскарад длился недолго, но он знаменательно вскрывает политическую идею, лежавшую в основе опричнины. Ясно, что политический смысл опричнины сводится к созданию нового учреждения и нового служилого класса, чуждых старым земским традициям, независимых от влияния

боярства. Царь чувствует себя бессильным пересоздать старый порядок путем реформ или смены личного состава правящего класса: он строит новую параллельную государственную организацию на новом месте, из новых людей. Парадокс этой революции в том, что, направленная против остатков удельной традиции, она сама облекается в удельные формы... За мрачным шутовством здесь скрывается психология бессилия: бессилия стоят силами традиции, перед вековым укладом, за которыми стоят моральные силы народной совести и церкви... Политической задаче опричнины соответствовало и ее социальное содержание — перемещение больших масс служилых людей из центра на окраины и обратно» (120—123). (Святой Филипп, митрополит Московский. Париж, 1928).

21. Л. М. Сухотин. Автор оспаривает господствующее мнение о том, что опричнина, будучи переименована в «двор», продолжала существовать под этим именем и после 1572 года (Соловьев, Бестужев-Рюмин, Середонин, Платонов, Виппер). Опираясь на новый документ — записки Штадена — и привлекая ряд других материалов, Сухотин, как в свое время Карамзин, относит прекращение ее к 1572 г. Уже в середине 1570 г. благоволение Грозного к опричнине, по его словам, пошатнулось; реакция царя против нее особенно усилилась после сожжения Москвы крымским ханом в мае 1571 г., когда опричнина не оправдала надежд государя и навлекла на себя его гнев; а «после победы над крымцами в начале августа 1572 г. опричнина была уничтожена вовсе с запрещением помянуть ее ненавистное для земщины имя, и правительство приступило к возврату тех поместий и вотчин, которые отбирали у земских людей при взятии целых уездов в опричнину». Поэтому «несомнительно мнение, в русской науке господствующее, будто опричнина продолжала существовать и после 1572 г. под другим только именем — двор». (Вопрос об отмене опричнины // Записки Русского Научного Института в Белграде. Вып. V. 1931).

22. А. А. Кизеветтер. Автор дает сжатое изложение взглядов на опричнину Карамзина, Соловьева, Ключевского, Платонова, Иконникова, Садикова. Ключевский, говорит он, «признал всю важность наблюдений Платонова, но тем не менее остался при своей прежней схеме, усматривая сущность опричнины в Резком несоответствии ее боевого политического назначения с ее административно-хозяйственным устройством». К этому взгляду своего учителя примыкает и Кизеветтер; что же до Платонова, то он принимает основные его положения: 1. «Составленная из конфискованных владений опричная территория

охватила чуть не половину всего государства», с важнейшими торговыми пунктами и путями. 2. «Жертвою этой экспроприации явилось значительное количество крупных княженицких и боярских вотчин, чем не могла не быть сильно подорвана экономическая, а следовательно, и политическая мощь крупной землевладельческой аристократии»; но он находит, что, «несколько увлекаясь своими открытиями, Платонов склонен был признать чрезмерно преувеличенными все показания современников о том остром антагонизме между опричниной и земщиной, которая почти переходила в настоящую гражданскую войну. Он склонен был утверждать, что выведение крамолы посредством террора над земщиной вовсе не было главным и основным назначением опричнины, а составляло лишь побочную, как бы сказать, эпизодическую черту этого учреждения».

Последователи Платонова (Садиков, хотя несколько существенных замечаний в этом направлении бросил и сам Платонов) пошли дальше: под их пером земские и опришные административные органы, в области текущего административного делопроизводства, мирно сотрудничали одни с другими, вследствие чего «стала как-то затериваться и затушевываться картина земско-опришной междоусобицы, кровавые краски этой картины куда-то исчезали, исследователи стали уже заявлять, что Иван Грозный будто бы вовсе и не полагал в основу между опричниной и земщиной начала истребительной борьбы, а хотел установить между ними спокойное сотрудничество».

Записки Штадена, недавно вошедшие в научный оборот, являются, по мнению Кизеветтера, «полезным противоядием против таких отклонений исследователей, изучающих опричнину, от исторической действительности». (Опричнина Ивана Грозного в русской историографии. Сборник Русского Института в Праге. Т. II, 1931).

В связи с вопросом об опричнине можно поставить монографию С. В. Рождественского на тему: чем была вызвана мобилизация вотчинных земель, т. е. перевод вотчинников из одних областей в другие при Иване Грозном: Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897 (книга Рождественского вызвала существенные возражения Середонина, ЖМНПр, 1897, май. Сергеевич. Северный Вестник. 1897, ноябрь).

В противность большинству историков, усматривающих в этой мере цель политическую, намерение Грозного сломить влияние княжат, поставив их на положение простых своих

эданных, Рождественский считает законодательную деятельность Грозного о княжеских вотчинах глубоко консервативною: разрушать стремилось оно, но «сохранить цельность и поддержать их военно-служилое значение» (129). Самый вопрос, его мнению, поставлен методологически неправильно: свидетельства кн. Курбского и Флетчера опора ненадежная; один вно тенденциозен, другой собирал свой материал из сплетен политических толков. «Документальные источники нигде не эвортят о насильственном обмене княжеских вотчин на поместья других краях государства», если же и бывали случаи обмена таких вотчин по государеву указу, то на вотчины же, и притом эменивались вотчины не одни княжеские, но и монастырские, также иные (132). Самый же обмен производился в целях нужебных, а не политических, и централизация таких вотчин **Была** тоже не политическая, а военно-административная (133).

«Частые опалы и казни влекли за собою и частые конфискации земельных имуществ пострадавших», но эти отдельные [>акты нельзя объяснять исключительно особыми, специальными целями высшей политики. Карали за самые разнообразные **Преступления**. «Надо помнить также, что не одни князья и эяре жили под страхом опалы и отнятия вотчин», но и землевладельцы из низших слоев общества (134—135). «Политическая борьба с боярством и княжатами хотя до известной степени и содействовала разложению крупного вотчинного землевладения многими единичными случаями конфискаций, не грезилась ни в законодательстве, ни в административных деяниях системою мер против этого землевладения. Этот вывод юдтверждает мысль проф. Ключевского, что московские госуцари вели борьбу против лиц, а не против порядка. Многочисленные случаи перевода вотчинников всех классов общества, а ie одних князей, из одних областей в другие находит себе **1аиболее** естественное объяснение в необходимости передвижения военных сил с целями обороны страны» (146).

Мнение историков-юристов по этому вопросу передается здесь словами Рождественского, 130—131:

«Видами высшей политики объясняет Н е в о л и н указы 1562 И 1572 гг. (Пол. соб. соч., V, пар. 511). Неволин даже думал, Что княжеские родовые вотчины исчезают после Грозного: «После Иоанна IV о княжеских вотчинах совсем не упоминается. Вследствие мер, им принятых, большая часть их поступила в Казну. Число остававшихся затем было незначительно» (там Же, IV, с. 148). Увлекаясь мыслью о политической борьбе с боярством, А. С. Павлов приписывает правительству XVI в.

такие мысли, которые самым очевидным образом идут вразрез со всем тем, что только представляют документальные источники. Снисходительное отношение к нарушениям законов против земельных вкладов он объясняет, между прочим, тем, что царю не стоило жалеть об убыли служилых земель, когда вместе с нею (с ними?) убывало и число самих бояр крамольников (Ист. очерк секуляризации, 150). К. П. Победоносцев высказал, что «борьба московских государей с потомками удельных князей и с боярством вызывает некоторые постановления, определяемые не семейным началом, а временными, случайными, политическими целями и стремлениями государства» (Курс гражданского права. Т. II. Изд. 2-е. С. 268—269).

№ 12. КАЗНИ И НАСИЛИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

Источники и пособия

А. Источники: Таубе и Крузе. — Штаден. — Гваньини. — Одерборн. — Горсей. — Флетчер. — Петрей. — Курбский. История князя великого Московского. Переписка с царем Иваном. — Синодик Ивана Грозного. ПСРЛ. Т. III; РСРЛ. Т. IV. — Александровская летопись (Рус. Историч. Библиотека. Т. III). — Др. Рос. Вивлиофика. Т. XX.

Б. Пособия: Карамзин, Соловьев, Костомаров, Иловайский (общие истории России). — Ясинский. Сочинения кн. Курбского как историч. материал. Киев., 1889. — Середонин. Иоанн IV // Р. Биограф. словарь.

Перечень убитых и замученных по приказанию царя Ивана, даже тех, кого он убил собственноручно, не может быть ни полон, ни абсолютно достоверен. Источники иногда преувеличивают число жертв; достоверность некоторых показаний не поддается проверке. С другой стороны, в случае массовых убийств, а таковых было не одно, не все факты полностью доходили до сведения источника. Зачастую источник ограничивается глухим указанием: «и другие», «и многие другие». Поэтому-то и в научной литературе первоисточники пользуются у кого большим, у кого меньшим доверием. Так, например, Соловьев, скорее готовый обелять Грозного, пользуется показаниями современников с особой осторожностью и критицизмом; Костомаров же, для которого личность царя представлялась преимущественно в темном свете, готов принять на веру многое

из того, что Соловьев отвергает или подвергает сомнению. Преувеличением и часто прямо фантазией отличаются иностранные показания, что и неудивительно: их авторы находились в стороне от событий, сведения свои большей частью получали из вторых и третьих рук и охотно заносили на свои страницы одачие слухи, мало заботясь о предварительной проверке, а частую в их положении прямо невозможной.

С осторожностью следует принимать показания и отечественные. Так, Курбский весь дышит злобою на царя Ивана; к ому же, покинув Россию еще до учреждения опричнины, т. е. еще до полного разгара «эпохи казней и гонений», ни непосредственным свидетелем казней не мог быть, ни собирать свои сведения из первых рук.

Наиболее твердую точку опоры историку дает покаянный ист царя — знаменитый Синодик, посланный им года за полора до своей смерти в Кирилло-Белозерский монастырь для оминовения убитых по его повелению. Общее число жертв пределено в нем в 3 470 человек; но Синодик, конечно, не олон: не всех царь припомнил, да и самые убийства, как, апример, в Новгородский погром, наряду с «виноватыми» оражали много и безвинных. Кровавая расправа, губя людей, одсчета не производила и итогов не подводила.

Синодик перечисляет убитых или поименно, или в такой юрме: «Андрей с женою», «Сапун с женой и с двема сыны и дочерью». Нередки обозначения гуртом: «в Матвейшем 7 чел.», «в Иванове Большом 17 чел.», «в Бежецком Верху Ивановы люди 62 чел.», «на Медедне псковичей с женами и с детьми 190 чел.», «в Губине углу 39 чел.», «Помяни, Господи, 16 чел. (псарей), 20, 2, 8, подьячих три да простых 5 чел.», «в Новгороде 15 баб, а сказывают, ведуньи», «Помяни, Господи, души раб своих (новгородцев) тысящу пять сот пяти человек», «четырнадцати человек», «семи человек» и проч.

См., что говорит Жданов, Церковно-земский собор 1551 года. ЖМНПр. 1880 (и «Сочинения», т. I, 372) о синодиках вообще и царя Ивана в частности: «В старой Руси было правило, по которому тот, кому доставалась вотчина или имущество другого, принимал на себя обязанность „строить душу" прежнего владельца и его родственников. Это — нечто похожее на перевод Долга. Долгов этого рода, при множестве отобранных вотчин, Много накопилось на царе Иване. Отказаться от обязанности „строить душу" опальных и казненных он не мог, да едва ли и желал: исполнение священной обязанности по отношению к Имуществу другого давало вид, что новый владелец пользуется

имуществом правильно, что отчуждение этого имущества от прежнего владельца совершенно законно, с соблюдением утвержденных общепризнанным обычаем требований. Вотчинник, обвиненный в чем-нибудь, не мог оставаться фактическим владельцем своего имения, он лишался своих земель, но при этом ему, его душе обеспечивалась некоторая посмертная рента, церковное поминание».

С другой стороны, Белов полагает, что «синодикам и особенно их надстрочным надписям оказано излишнее доверие»: откуда видно, что все вписанные там были убиты? на чем основывался Устрялов, говоря, что пояснения между строками писаны по приказанию царя? «Неужели Грозный был так ограничен, что считал нужным сообщить Богу, кто убит, кто умер своей смертью?» (Об историч. значении рус. боярства, 96). Вообще, по его мнению, синодики как исторический источник не должны приниматься во внимание (Предварител. замечания. ЖМНПр. 1891, февраль). Толкование Устрялова оспаривает и Жданов (озн. соч., I, 372).

Исследование о казнях Ивана Грозного, научный анализ относящихся сюда данных, сопоставление их между собою и выяснение степени их достоверности сделано Ясинским (последняя глава его книги, с. 165—215). Автор доказывает, что показания Гваньини, Одерборна, Таубе и Крузе заслуживают более внимания и доверия, чем какое вообще им оказывается; он проверяет показания Курбского, указывает ошибки и неточности, допущенные Карамзиным и Соловьевым, и доказывает, что Устрялов напечатал один Синодик Грозного, а не два.

В. О. Ключевский. Боярская дума, гл. XVIII, 355, подчеркивает высокий процент бежавших от московского рабства; это указание, по его мнению, должно служить коррективом при вычислении жертв царя Ивана. «Эта эмиграция едва ли меньше унесла знатных имен из московских боярских списков, чем казни времен опричнины. Много таких имен значится у кн. Курбского и в синодиках царя Ивана в числе жертв борьбы. Но Курбский часто преувеличивает генеалогическую разрушительность этой борьбы, насчитывая слишком много фамилий, будто бы целиком, „всеродне" истребленных Грозным. Это он говорит между прочим о Колычевых, Заболоцких, о князьях Одоевских и Воротынских; но по разрядным книгам XVII в. известно немало людей с этими фамилиями».

Б. Р. Виппер. Иван Грозный (1922), 58—59: «В обычных характеристиках Грозного все его казни смешиваются воедино и приводятся безразлично в доказательство его свирепости и

полубезумного состояния. А между тем следовало бы различать политические и колдовские процессы. В первом случае мы имеем дело с крайностями распаленного гнева и мстительности, но Б то же время с мотивами рационального характера. Во втором — с чем-то стихийным, болезненным, где одержимый был совершенно неспособен управлять своей волей, но где он разделял суеверие со своими современниками. Очень интересно знать, что бы стал делать сам Курбский на месте Грозного: ведь он целиком разделяет веру в колдовские воздействия: порчу нрава царя, его поворот к жестокостям он приписывает силе чар, которыми располагали его „злые" советники, сменившие „добрых"».

Нижеприводимые списки не претендуют на полноту: это лишь первый приступ для желающих приступить к более обстоятельному исследованию казней Ивана Грозного. Своего рода «вступлением» к «эпохе казней» могут служить данные кн. Курбского о лицах, которых царь лишил жизни еще до своего коронования, в период трех лет, с декабря 1543 года. Это были:

И. Первые жертвы

1. Кн. Андрей Шуйский. — 2. Кн. Иван Кубенский. — 3—4. Одновременно с Кубенским убитые Федор и Василий Воронцовы. — 5. Федор Невежа, «зацный и богатый землянин». — 6. Кн. Михаил Трубецкой, 15-ти лет. — 7. Кн. Иван Дорогобужский. — 8. Кн. Федор Овчина-Оболенский. — Последние Два, «яко агнцы неповинные заколены еще в самом наустии».

П. Перед опричниной

Непосредственно вслед за смертью царицы Анастасии (1560, 7 авг.) последовала ссылка попа Сильвестра в Кириллов, а оттуда в Соловецкий монастырь, назначение Алексея Адашева воеводою в Феллин, а оттуда перевод его в Дерпт, взятие под стражу и смерть там через два месяца. Опала Адашева повлекла Казни его родственников и близких. Были убиты:

1. Родной брат Адашева, Данило, с 12-летним сыном.
2. Петр Туров, тесть Данилы.
3. Трое братьев Сатиных, свояки Алексея, «и другие с ними».
4. Мария Магдалина, вдова полька, с 5 детьми, «согласница» Алексева, «и многие с нею» (ее обвинили в чародействе).

5. Иван Шишкин, «сродник» Алексея, убит с женою и детьми.

III. Царская родня (по Курбскому и по Синодику). 1569

1. Князь Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат царя. — 2. Инокня Евдокия (Евфросиния), мать Владимира, утоплена в р. Шексне. — 3. Евдокия, жена Владимира, застрелена из ружья вместе с двумя своими младенцами сыновьями и двумя дочерьми. — 4. Александра, инокия, вдова покойного Юрия, брата царя Ивана. — 5. Княгиня Мария (кто это?) и с нею 12 человек, утоплена. НВ. Вместе с матерью Владимира убиты еще 30 человек «и со старицами». О том, как именно убивали названных лиц, показания расходятся. См. об этом *Карамзин Н. М.* ИГР. Т. IX. Прим. 277-е, и Соловьев, VI, примеч. 90-е.

IV. Княжата (по данным кн. А. Курбского и Синодику Ивана Грозного)

1. Бабичев Андрей.
2. Буйносов-Ростовский.
3. Булгаков Дмитрий, боярин.
4. Бычков-Ростовский Андрей, с матерью, женой, сыном и дочерью.
5. Воротынский Михаил, главный воевода в Казанском походе 1552 г., дослужившийся до почетного звания «слуги государева»; не допустивший Девлет-Гирея до Москвы (битва на р. Лопасне, 1572 г.); 1573.
6. Гагарины, Андрей, Василий, из рода князей Стародубских.
7. Горбатый-Шуйский Александр с 17-летним сыном Петром, из удельных князей Суздальских. 1566 г. В тот же день убит его шурином, Петром Ховрином, а потом брат Ховрина, Михаил.
8. Горенский Петр, кравчий. 1565.
9. Грирьянов (описка?) Иосиф.
10. Дашковы.
11. Друцкой Даниил.
12. Засекины Борис, Иван, Михаил.
13. Катыврев-Ростовский Андрей.
14. Кашин Юрий заколот на пороге церкви, когда шел туда молиться.

15. Кашин Иван, брат Юрия, убит после него. «Сродник» {Сашиных, Иван Шовырев, посажен на кол. «И тогда же и других княжат немало того же роду побито».
16. Кропоткин.
17. Куракин Петр.
18. Курлятев Дмитрий, «стрый тех княжат» (Кашиных), «руг Сильвестра и Адашева, пострижен и заточен в монастырь с женою и детьми; потом их убили.
19. Курлятев Александр.
- р 20. Курлятев Владимир, племянник Дмитрия.
21. Масальского княжна.
22. Ногтев-Оболенский Андрей.
23. Оболенские Андрей и Никита.
24. Овчинин-Оболенский Дмитрий; задушен: он в лицо назвал «гнусным содомитом» молодого Федора Басманова за содомитство с царем Иваном (Гваньини).
25. Одоевский Никита, боярин с 1572 года, убит с женой и двумя детьми (одному из них было семь, другому еще меньше) в 1573 году. Его сестра Евдокия была женою Владимира Андреевича Старицкого.
26. Приимков-Ростовский Никита с женой.
27. Прозоровские Александр, Василий и Михаил. Василий, по приказанию царя, убит родным братом Никитой.
28. Пронский Иван, 1569.
29. Пронский Василий, по прозванию Рыбин. «В той же день и иных немало благородных мужей нарочитых воин, аки Двести, избиенно, а нецыи глаголют и вяще».
30. Ростовский Семен. 1567.
31. Ростовские Андрей и Василий «и друзии с ними». Гваньини говорит, что царь велел искоренить все поколение князей Ростовских и их сродников, до 50 человек. Под «сродниками» Можно подразумевать Бычковых, Катыревых, Приимковых, Хохловых и Темкиных. См. № 4, 13, 26, 39, 44.
32. Репнин Михаил: отказался на пьяном пиру надеть на себя маску. Убит в церкви, во время обедни, у алтаря.
33. Ряполовский Дмитрий (1566?).
34. Серебряный Петр. 1571.
35. Сисеев Федор, воевода.
36. Сицкие Данил о, Дмитрий.
37. Спячие, из рода князей Черниговских.
38. Татищев Федор.
39. Темкин-Ростовский Василий, боярин. 1571.
40. Темкин-Ростовский Иван.

41. Троекуров Федор.
42. Тулупов Андрей с женой и дочерью, из рода князей Стародубских.
43. Ушатые, княжата, сродные братья Прозоровским, как и те, из удельных князей Ярославских: «погубил всеродне, понеже имели отчины великие; мне, негли из того их погубил».
44. Хохолков-Ростовский Иван.
45. Черкасский Михаил Темрюкович, брат второй жены Ивана, Марии.
46. Шаховской Иван, убит собственноручно царем булавой на Неве.
47. Шашины, потомки князей Ярославских.
48. Шуйский Василий.
49. Щенятев Петр, насильно пострижен, подвергся мучительной смерти: ему вбивали иглы за ногти, жарили на раскаленной сковороде (Таубе и Крузе: засекли). «Тако же и единоколенных братию его, Петра, Иоанна, княжат нарочитых, погубил».
50. Ярославов Александр, из князей Черниговских.

V. Бояре и другие приближенные
(по Курбскому и по Синодику)

1. Басманов Алексей, боярин, «преславный похлебник»; убит по приказанию царя родным сыном Федором.
2. Басманов Федор, боярин, крайчий, отцеубийца, соучастник царя в содомском грехе. Убит в 1571 г. (сын этого Федора, Петр, любимец Лжедмитрия I, убит вместе с ним в 1606).
3. Булгаков. — 4. Висковатый, Иван Михайлович, печатник. — 5. Заболоцкий. — 6. Казарин Дубровский, царский печатник. — 7. Квашня. — 8. Колтовских двое (Колтовская Анна была женою Грозного).
9. Колычевы. В Синодике помянуто четыре лица этой фамилии. Царь погубил (весь?) род их по злобе на митр. Филиппа (родом Колычева). — 10. Кошкарров. — 11. Лыков. — 12. Морозов Михайло, боярин. Погиб вместе с князем Воротынским. 1573. — 13. Мусорский, из рода князей Дорогобужских. — 14. Плещеев, боярин. — 15. Пушкины. — 16. Сабуровы. — 17. Сидоров (дьяк). — 18. Собакины (из рода Собакиных была третья жена Ивана Грозного, Марфа). — 19. Тетеринов. — 20. Тыртов. — 21. Тютин, «подскарбий», «со женою и с детьми и со другими южики». — 22. Фуников Никита, казначей. — 23. Хабаров. — 24. Цыплетев Неудача, из рода князей Бело-

крских, с женою и еще тремя (братьями?). — 25. Цыплятев, лз рода князей Дорогобужских. — 26. Челяднин Иван Петрович, боярин с женою. 1565 (сын убит был раньше). — 27. Чулбов. — 28. Шеин Андрей, боярин с женою и с тремя детьми. — 19. Шереметев, Никита Васильевич, боярин. 1565. — 30. Брат |го, Иван Васильевич, пострижен и заточен в монастырь.

VI. Данные Др. Р. Вивлиофики,
том XX

«Послужной список старинных бояр и дворецких, окольных и некоторых других придворных чинов» за годы 6970—7184 *fr. e.* 1462—1676), показывает вы бывшими, т. е. ушедшими из жизни насильственной смертью, следующих лиц в царствование Грозного (за 1547—1560 гг. не показано ни одного).

ВЫБЫЛИ:

7069—1561: Адашев Алексей Федорович, окольный.

7072—1564: кн. Жилков Дмитрий Иванович, боярин. — Морозов Владимир Васильевич, боярин.

7073—1565: кн. Горенский Петр Иванович, крайчий.

7074—1566: кн. Горбатой Александр Борисович, боярин. — Головин Михаил Петрович, окольный.

7075—1567: Федоров Иван Петрович, конюший, боярин. — Кн. Ростовский Семен Васильевич, боярин. — Кн. Куракин Булгаков Иван Андреевич, боярин. — Чулков Иван Иванович, окольный.

7077—1569: Басманов Плещеев Алексей Данилович, боярин. — Шеин Андрей Иванович, боярин.

7078—1570: Яковля Иван Петрович, боярин.

7079—1571: Кн. Серебряный Петр Семенович, боярин. — Очин Плещеев, Захарий Иванович, боярин. — Колычев Михаил Иванович, окольный. — Басманов Федор Алексеевич, крайчий.

7080—1572: Кн. Темрюкович Черкасской Михайло, боярин. — Курцов, Никита Афанасьевич, казначей.

7081—1573: Морозов Михайло Яковлевич, боярин. — кн. Воротынский Михайло Иванович, боярин. — Кн. Одоевский Никита Романович, боярин.

7082—1574: Собакин Каллист Васильевич, крайчий.

7083—1575: Кн. Куракин Петр Андреевич, боярин. — Бутурлин Иван Андреевич, боярин. — Зайцев Петр Васильевич,

окольничий. — Собакин Григорий Степан., окольничий. — Кн. Тулупов Борис Давидович, окольничий.

7084—1576: Борисов Никита Васильевич, окольничий.

7085—1577: кн. Иван Деветелевич, оружничий.

VII. Духовные лица

1. Митрополит Филипп, удушен. 1569. — 2. Пимен, архиеп. Новгородский, утоплен (достовернее: умер естественной смертью). — 3. Корнилий, игумен Печерского (Псковского) монастыря. — 4. Мних Васьян, ученик Корнилия: их обоих вместе в один день раздавили «орудием мучительским». — 5. Феодорит, препод., просветитель лопарей, утоплен. 1577.

VIII. Новгородский погром, 1570

Он продолжался шесть недель. Ему предшествовал такой же разгром Твери и Торжка. Разгрому подверглись не только города, но и их округа. В определении числа убитых полная разногласица: Синодик царя Ивана записал 1505 чел., Курбский показывает свыше 15 000 «мужей единых, кроме жен и детей» (за один день); Таубе и Крузе до 27 000 чел. (12 000 именитых людей и 15 000 простого народа); Псковская «Повесть» — царь топил в день до 1 000 чел. и в редкий до 500; Гваньини: 2 700; Горсей: 700 000 чел.

IX. Показания Горсея

1. Иван Куракин, воевода: «был раздет донага, привязан к тележке и прогнан через рынок шестью проволочными плетями, которые перерезали ему спину, живот и внутренности до смерти». — 2. Иван Обросимов, конюший: «его повесили голого на виселицу за пятки, вниз головою, и четыре палача резали ему ножами кожу и тело на маленькие куски». — 3. Князь Борис Тулупов посажен на кол, а жену его опричники замучили до смерти.

X. Показания Таубе и Крузе

Таубе и Крузе, не расходясь в обозначении казненных лиц, называют еще бояр Михаила Петровича и Михаила Кольцова и каких-то Рязанцева (?), Петра Санцена (?), Кармассина (?), имена, видимо, искаженные, и Христиана Будно.

XI. Карамзин Н. М.

ИГР. Т. IX. С. 21, 82, 101, 143, 159, 188, 266

Насчитывает шесть «эпох» казней. В нижеприводимом перечне разрядкою писаны имена, не занесенные в две предыдущие рубрики («Княжата» и «Бояре и другие приближенные»).

ПЕРВАЯ ЭПОХА. 1560 — 1564: 1. Близкие к Ал. Адашеву (см. выше). — 2. Князья Кашины. — 3. Дм. Курлятев. — 4. Репнин. — 5. Овчинин-Оболенский. — 6. Оба Шереметевы.

ВТОРАЯ ЭПОХА. 1565: 1. Головин, окольниковый. — 2. Кн. Горбатый-Шуйский с сыном. — 3. Кн. Горенский. — 4. Кн. Иван Куракин, боярин. — 5. Кн. Дмитрий Немой. Этих двух последних постригли в монахи. — 6. Кн. Иван Сухой-Кашин. — 7. Петр Ховрин, шурина кн. Горбатого.

ТРЕТЬЯ ЭПОХА. 1567: 1. Казарин Дубровский, думный дьяк. — 2. Кн. Иван Куракин-Булгаков. — 3. Трое князей Ростовских. — 4. Кн. Дм. Ряполовский. — 5. Хозяин Юрьевич Тютин, казначей, с женою, двумя сыновьями и двумя дочерьми. — 6. Щенятев. — 7. Иван Петрович Федоров, конюший; царь собственноручно вонзил ему нож в сердце.

ЧЕТВЕРТАЯ ЭПОХА. 1569—1570: 1. Родня. — 2. Митр. Филипп. — 3. Новгородский погром. — См. выше, особые группы.

«КАЗНИ В МОСКВЕ». 1570

1. Басманов Алексей. — 2. Басманов Федор. — 3. Бутурлины. — 4. Висковатый. — 5. Воронцов Иван, сын Федора, любимца царя Ивана во времена его ранней юности. — 6. Кн. Афанасий Вяземский; умер во время пытки. — 7. Кн. Гвоздев, Осип, царский шут, убит, пал под ударами царского ножа. — 8. Заболоцкие. — 9. Кашкаров, Андрей. — 10. Кирик-Тырков, воевода. — 11. Козаринов-Голохвастов, воевода. Думал спастись, приняв схиму, но рука царская дошла до него и в монастыре: опричники взорвали его на бочке пороха.

12. Лыков Михайло, воевода в Нарве. Его отец, Матвей, «сжег себя в 1554 году, чтобы не отдать города неприятелю». — 13. Другой Лыков, близкий родственник того. — 14. Князья Мещерские, братья Андрей и Никита, защищали новую крепость на Дону, и оба пали в бою с крымскими татарами — приказ Царя убить их не застал братьев в живых. — 15. Молчан Митков убит царем. — 16. Кн. Оболенский-Серебряный Петр. — 17. Кн. Оленкин Андрей; убийцы, посланные царем, нашли

его, подобно князьям Мещерским, на поле чести. Царь, в отместку, уморил детей Оленкина в заточении.

18. Очин-Плещеев Захар, думный советник. — 19. Князья Прозоровские. — 20. Разладин Василий, потомок боярина Квашни. — 21. Князья Ушатые. — 22. Фуников, посажен на кол. — 23. Хабаров-Добрынский. — 24. Кн. Шаховской Иван, из рода князей Ярославских.

ПЯТАЯ ЭПОХА. 1571. 1. Бомелий Елисей, доктор. — 2. Кн. Гвоздев-Ростовский. — 3. Грязной Григорий. — 4. Замятня-Сабуров: засекли. 5. Салтыков Лев: постригли в монахи и потом умертвили. — 6. Кн. Черкасский: его посадили на кол. — 7. Яковлевы Василий и Иван: засекли.

ШЕСТАЯ ЭПОХА. 1577. 1. Борисов Никита, крайчий. — 2. Бутурлин Иван, боярин. — 3. Кн. Вельский Дмитрий. — 4. Кн. Воротынский Михаил. — 5. Кн. (Иван) Деветелевич, оружничий. — 6. Зайцев Петр, окольник, опричник. — 7. Корнилий, игумен Псковского монастыря. — 8. Кн. Куракин Петр. — 9. Морозов с женою и сыновьями. — 10. Кн. Одоевский Никита. — 11. Собакин Григорий, дядя покойной царицы Марфы. — 12. Собакин Каллист, брат царицы Марфы. — 13. Кн. Тулупов, дворовый воевода. — 14. Феодорит, архимандрит.

Синодик Грозного дошел до нас в трех списках, из них один не в полном виде: в монастырях Кирилло-Белозерском, Спасоприлуцком и Павлообнорском (в Вологде). Первый напечатан Устряловым в «Сказаниях кн. Курбского», изд. 3-е. СПб., 1868; второй (с небольшими дополнениями из третьего) Н. Суворовым в «Чтениях». 1859, кн. 3-я. В Спасоприлуцком списке издатель насчитал казненных до 3750 чел., в том числе 52 лица княжеского рода, а в Павлообнорском соответственно 1612 и 59. В напечатанных текстах, в перечне имен, полного сходства их не наблюдается. Кроме того, в «Чтениях» встречаются характерные детали, отсутствующие в «Сказаниях», например: «В Матвеевщине православных христиан скончавшихся 84 человека, да трем сечены руки» (а там огулом показано 87 ч.); в Ивановском Большом — 17 чел. да 14 чел. «ручным усечением конец прияша» (а там вторая цифра совсем отсутствует); в Бежецком Верху Ивановых людей показано не 62, а 65 и, кроме того, еще 12 чел. тоже погибших «ручным усечением». Число жертв новгородского погрома одинаково в обоих текстах: 1505, но «Чтения» показывают эту цифру в двух слагаемых: «скончавшихся» — 1490, «да из пищалей» — 15.

См. еще:

1) A. Guagnini. *Omnium regionum Moscoviae Descriptio* (1582) в *Rerum Moscoviticarum Auctores varii* (1600) и у Старчевского. *Historiae Ruthenicae Scriptores Exteri saeculi XVI*. Vol. I (1841).

2) P. Oderbornii. *Johannis Basilidis magni Moscoviae ducis vita* (1585), кроме отдельного издания, еще в вышеназванных сборниках 1600 года и у Старчевского, т. II,

3) H. von Staden. *Aufzeichnungen über den Moscauer Staat*, hrsgbn von E. Epstein. Hamburg. 1930. — Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Перевод и вступительная статья И. И. Полосина. М., 1925. 182 с. — Max Bär. *Eine bisher unbekannte Beschreibung Russlands durch Heinrich von Staden* «Historische Zeitschrift», Bd. 117 (1917), 2, S. 229—252.

4) Послание Йоганна Таубе и Элерта Крузе. Русский перевод с нем. с предисловием Ю. В. Готье и вступительной статьей М. Г. Рогинского: «Послание I. Таубе и Э. Крузе как исторический источник» — «Русск. историч. журнал», кн. 8-я. СПб., 1923. С. 8—59. Немецкий подлинник издан профессором Эверсом на сто лет раньше перевода, в «Beitrage zur Kenntniss Russland's und seiner Geschichte. Bd. I. Dorpat., 1818». Эверс считал «Послание» адресованным Кетлеру, магистру Ливонского ордена; Рогинский же, согласно с А. И. Браудо (ЖМНПр. 1890, ч. X), — Яну Хоткевичу, старосте жмудскому, стоявшему во главе польско-литовской администрации в Лифляндии.

5) П. Петрей де Ерлезунд. История о великом княжестве Московском (1620); перевод Шемякина. М., 1867 (Чтения 1865—1867 гг.).

6) Горсей Д. Записки о Московии XVI века. СПб., 1909, Изд. Суворина. С. 33—34.

1 № 13. ИВАН ГРОЗНЫЙ. СУД ИСТОРИИ

Мы видели (см. № 5), как двоилась, в представлении наших Историков личность Ивана III; не менее двойственной предстала она суд истории и фигура Ивана Грозного; но двойственность Деда была порождена противоречиями его политической Деятельности, противоречия же внука коренились в его миро-созерцании, в душевном складе самой его личности. Одно-Временно государь и вотчинник, Иван III одной ногой стоял в

прошлом, другой перешагнул рубеж, вступал в новый мир отношений; и если такого рода двойственность (но во всяком случае в значительно более слабой степени) можно проследить и на Грозном, то все же не она наложила свой отпечаток на русского царя: Иван IV смешал личное дело с делом государственным — сделал то, чего уже ни в коем случае нельзя сказать про Ивана III. Низведение вольных слуг на степеней слуг подневольных предначертано было всем ходом русской истории; потомки бывших удельных князей (княжата), рано или поздно, все равно должны были превратиться в подданных государевых, так что путь, по которому шел Иван-государь, сам по себе был правильный, но мере чисто государственной он придал смысл личной мести и личной ненависти — это-то противоречие и является донныне главным камнем преткновения для уяснения его личности. Человек и политический деятель, столь несходные между собою, слились, однако, в Иване нераздельно. Вот почему оценка, удовлетворяющая всех и признанная за окончательную, есть еще дело будущего; пока же приходится довольствоваться простою сводкою отдельных суждений.

Все же это сознание, что «человек» и «политический деятель» только слиты, что одного не следует смешивать с другим, явилось в историографии значительным шагом вперед. Это сознание освободило нас от крайностей в суждениях более раннего времени, и та невероятно громадная амплитуда мнений, тот ничем не сдерживаемый размах критического маятника, какой наблюдается в исторической литературе, посвященной личности Грозного, стал теперь менее возможен, — те скачки, когда от гения, равного Петру Великому, делался резкий переход к полусумасшедшему маньяку; от государя, прозревшего будущие пути России, умело направлявшего ее по этим путям, — к жалкому существу, только-только что не совсем глупому, подчинившему благо управляемой им страны личным интересам и капризу; от вождя своего народа — к слабовольному невежде, которым руководят другие, более способные и умные; от художника в душе, чуть не эстета в духе XIX века, — к грязному развратнику и садисту; от нового Гамлета — то к Дон-Кихоту, то к Калигуле и Нерону.

Такие расхождения в оценке сказывались в литературе последних десятилетий значительно в более слабой степени, чем раньше, и это, конечно, благодаря тому, что вслед за изучением личности царя Ивана стали, вследствие накопления нового материала, изучать его эпоху — те социальные, правовые и

экономические факторы, под прямым или косвенным воздействием которых воля и действия личности в значительной степени теряли самостоятельное значение, сами будучи продуктом и выражением вышеназванных факторов.

Попытка Щербатова дать цельный образ царя Ивана интересна как выражение осознанной потребности разобраться в массе противоречивых черт и проявлений духовного образа Грозного. У Карамзина личность Грозного двоится, и не только потому что он резко отмежевывает светлую полосу царствования от темной и мрачной, но также и потому, что и в этот второй период, насыщенный тиранством и массовыми убийствами, историк видит светлые стороны, считает нужным «отдать справедливость и тирану» ... Это сочетание «тиранства» с положительными сторонами деятельности Грозного подмечено одинаково как современниками Карамзина (Тургенев, Арцыбашев), так и ближайшим за ним поколением (Погодин, Полевой), они только не умеют дать ему надлежащего объяснения. Не дальше их ушел в понимании Грозного, хотя и иначе взглянул на него, Белинский: в царе Иване он видел падшего ангела, душу глубокую, гигантскую. Это исполин, но исполин безумный и дикий в проявлениях своей страсти. С Соловьева и Кавелина начинается исторический подход в изучении Грозного: личность поставлена в органическую связь с делом царя; но и тут не обошлось без увлечений: положительная сторона дела заслонила отрицательные стороны личности (Кавелин).

Аксаковская характеристика Грозного как природы художественной (намек на что еще раньше найдутся у Хомякова), но лишенной нравственных устоев и потому способной падать очень низко, находить наслаждение в зрелище пыток и разгроме целых городов и областей, принята была Пыпиным и Костомаровым. Последнему она дала точку опоры для низведения царя Ивана на степень безвольного фантазера, орудия в чужих руках, никогда не действовавшего самостоятельно, притом труса, крайне самонадеянного и малодушного.

В противоположность Костомарову, Бестужев-Рюмин возобновляет кавелинское сопоставление Грозного с Петром Великим, обращая особенное внимание на борьбу царя Ивана с боярством: он видит в ней не простое «тиранство», не простое сведение личных счетов или эгоистическую заботу о личной безопасности, а меру государственного порядка. Такой постановкой вопроса Бестужев устанавливает переход от прежних оценок, лишенных надлежащей опоры и потому зачастую висевших в воздухе, к

оценкам, в которых поступки человека выяснялись на фоне деятельности его как государя.

Новая точка зрения в лице Белова доведена была до крайности. Белов оправдывает все жестокости царя как необходимые и неизбежные. Вообще «суд истории» еще не нашел такой средней равнодействующей, которая могла бы примирить расхождение историков. Иван стоит на страже неподвижного предания — заявляет Пыпин — и потому Петру Великому «можно было продолжать дело Ивана Грозного только в одном — во внешнем расширении государства». Еще раньше Пыпина человеком старого закала, «выразителем не новых идей, но грубейших предрассудков старого времени» рисовал Грозного Хлебников. Михайловский отказывал Ивану Грозному в самостоятельности характера: в течение всей своей жизни царь оставался одним и тем же; разница же в действиях объясняется разницей советников, руководивших его действиями. Положительные заслуги Ивана перед государством — утверждает Ключевский — довольно ничтожны. Московский историк готов вернуться к старому взгляду Карамзина, лишь несколько смягчив его. Зато Виппер пишет настоящую апологию Грозного. Под его пером Грозный вырастает в замечательного дипломата, в первоклассный талант, в государя, обладавшего исключительными данными правителя и воителя. Рядом с этой блестящей характеристикой, граничащей с восторженным дифирамбом, наше внимание останавливает (последнее по времени в ряду других) осторожное и спокойное суждение Платонова.

Платоновым С. Ф. хронологически замыкается круг исторических суждений о Грозном, начатый Карамзиным, и если справедлива поговорка, что «крайности сходятся», то эти крайности обрисовались в лице двух названных историков очень ярко и рельефно. В противоположность Карамзину, Платонов не видит основания делить царствование Грозного на два периода — светлый и мрачный: и та и другая половина царствования характеризуется, по его мнению, одними и теми же чертами; Грозный и в начале, и в конце своего правления вел одинаково политику большого размаха, руководя ею сам. Образованнейший человек своего века, он вполне стоял на высоте тех требований, какие предъявлял к нему его век. Личность Грозного вставлена у Платонова в рамки, где нашлось место, с одной стороны, уму, таланту, ясному пониманию государственных задач, «широкой постановке очередных тем управления и способности систематического выполнения их на деле», с другой стороны — душевному неравновесию, близкому к садизму, мании преследования,

так грубо исказившей государственную цель, поставленную опричнине, сведением ее к насилиям и казням.

Особняком стоят медики-психиатры, изучавшие в Грозном его душевные аномалии (Ковалевский, Чистович, Глаголев).

Таковы, в главных чертах, суждения наших историков о Грозном. Суждения эти мы изложим по возможности в хронологическом порядке, этим путем отчетливее выступит смена взглядов и позволит легче проследить постепенность, с какой суждения чисто субъективные уступали место суждениям, клавшим в основу объективный анализ всей совокупности внешних обстоятельств и тех условий, в каких жил и государствовал Иван Грозный.

К оценке Грозного могут быть привлечены и данные, собранные в Спорном вопросе № 11: «Опричнина» и первая глава в книге Платонова С. Ф. «Иван Грозный»: «Грозный в русской историографии».

Суждения свои об Иване Грозном высказали нижеследующие историки и писатели:

1

Эверс

Костомаров

Карамзин
Н. Тургенев
Арцыбашев
Погодин
Полевой
Белинский
Самарин
Хомяков
Соловьев

Жданов
Ковалевский
Чистович
Белов
Иловайский
Пыпин
Забелин
Михайловский
Глаголев

Общий курс истории России. СПб., 1900.

• разум, узаконения, честолюбие, завоевания, потери, гордость, низкость и суровство». Что разум имел он «великий, проницательный и дальновидный», видно из его поступков весьма дальновидных: в Казани он поддерживает междоусобия; постройкой Свияжска он отнял у казанцев возможность совершать набеги на русские области; он правильно учел необходимость приобретения Лифляндии и с нею «морских пристанищ», а в целях примирить покоренное население с подчинением иноверному государю сделал королем Магнуса, брата датского короля. Грозный искал союзов с европейскими государями и, поняв, что «земские войска» недостаточны ни для обороны государства, ни для наступления, преобразовал свое войско. В опрочинне Щербатов видел тоже попытку создать «наинадежнейшие войска». «Великий разум» царя сказался и в составлении Судебника.

При большом честолюбии (венчание на царство; высокое представление о себе как о государе) Иван, однако, не проявил ни «твердости духа», ни «храбрости». Слабость духа особенно сказалась в войне со Стефаном Баторием. Польский король оставался без войска, без денег; противник он был слабый, между тем как вел себя Иван? «Никогда ни довольных войск в сопротивление не поставил; никогда сам, хотя и зрил почти опустошение своей страны, на сражение не подвинулся, и никогда осажденных своих воевод не подкрепил: без сопротивления побежденный токмо посланием послов старался мир испросить, и коль после прежней гордости был низок его поступок, то в течение самой истории довольно видно». «Низостью сердца» считает Щербатов и просьбу Грозного у английской королевы Елизаветы дать ему убежище «во время какого возмущения, которого еще не было».

Самовластие Грозного соединилось с «робостью и низостью духа» — и в результате: «непомерная горячность, неверчивость и суровое мщение» (История Российская, т. V, ч. III, 1789, 217—224).

2. Эверс Иоганн Филипп Густав (1816). «Разумеется, во всех дошедших до нас источниках как русские, так и иностранцы вполне согласны, что Иоанн справедливо заслужил имя Грозного. Но вопрос в том, был ли он вследствие справедливости строг до жестокости, или от чрезмерной склонности к гневу предавался до самозабвения грубым беспутственным жестокостям. Последнее представляется сомнительным. Известно, что между всеми государями, понявшими испорченность государственной машины и потребности народа и стремившимися править своим государством согласно такому пониманию, этому

государю, т. е. Иоанну, принадлежит весьма высокое место». (Beitrage zur Kenntniss Russlands, Bd. X, предисловие к «Sendschreiben an Gothard Kettler... von Taube und Kruse 1572 J.». Взято у Белова Е. А. Об историч. значении русского боярства. С. 86).

1 3. Н. М. Карамзин (1818). Под пером Карамзина Иван Грозный в молодые годы и в зрелую пору — два разных лица: пока он руководствуется мудрыми советами Сильвестра и Адашева, Избранной рады — это добрый государь, рассудительный, «герой добродетели в юности»; государственная деятельность его выражается в таких плодотворных актах, как созыв Земского собора, издание Судебника, завоевание Казани. Это настоящая светлая полоса его царствования. Вот какие выражения находит Карамзин, заканчивая описание славного Казанского похода: «Сей монарх, озаренный славою, до восторга любимый отечеством, завоеватель враждебного царства, умиритель своего, великодушный во всех чувствах, во всех намерениях, мудрый правитель, законодатель, имел только 22 года от рождения: явление редкое в истории государств! Казалось, что Бог хотел в Иоанне удивить Россию и человечество примером какого-то совершенства, великости и счастья на троне». Но пробил 1560-й год, умерла царица Анастасия, удалены Сильвестр и Адашев — и царь совершенно преобразился, порочные наклонности, не сдерживаемые более, выступили наружу, и светлая полоса царствования сменилась мрачной, полной ужасов; Иван стал «неистовый кровопийца в летах мужества и старости», второй Калигула и Нерон.

Такую оценку нельзя назвать исторической, объективной: она ставит государственную деятельность Грозного в зависимость от случайностей: без Сильвестра и Адашева царствование Ивана лишено было бы, пожалуй, светлой полосы, и, наоборот, оставаясь Сильвестр и Адашев и впредь советниками царя, не было бы ни опричнины, ни казней, ни тиранства?

При всем том Карамзин считает нужным «отдать справедливость и тирану»: он хвалит его за ревность, неутомимость и а нередко проявляемую проницательность в государственной Деятельности; ценит в нем завоевателя и продолжателя во внешней политике «великих намерений своего деда»; его правосудие, борьбу с лихоимством, «благоразумную» веротерпимость, «уважение к искусствам и наукам», его законодательную административную деятельность.

ег «В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила о худую славу в народной памяти: стенания умолкли,

жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало в Судебнике и напоминало приобретение трех царств Монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; чтит в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название Мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньне именует его только Грозным, не различая внука с дедом, так названным древнею Россией более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!» (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. VIII. Гл. IV, последние строки; Т. IX. Гл. VII).

4. Н. И. Тургенев. Современник Карамзина, хотя и не историк, но человек вдумчивый, с образованием разносторонним и серьезным, Николай Тургенев высоко ценит в Иване государя, зато не любит его как человека. Сторонник конституционных идей, он борется между двумя чувствами: он признает, что самодержавие, именно оно, сделало Россию независимой, мощной державой, обеспечило ей влиятельное положение в международной жизни; но он не может примириться с тем, что это самое самодержавие лишило русский народ политической свободы, или, как тогда принято было выражаться, «вольности». Подобно Карамзину, Тургенев подходит с мерилom не историческим, а моральным; сочетание «доброе» и «злого» начала смущает его, и, очутившись между Сциллой и Харибдой — неизбежный результат моральной оценки, — он не знает, к какому берегу надлежало бы пристать ему.

«Я вижу в царствовании Иоанна счастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благотельную даже для России, по причине уничтожения уделов; с благоговением благодарю его как государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу надолго, может быть, навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодержавного правительства: мы видим Россию важною, великою в отношении к Германии, Франции и другим иностранным государствам. История россиян для нас исчезает. Прежде мы ее имели, хотя и несчастную, теперь не имеем: вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло колосс Российский! Мы много выиграли, но много, много потеряли. Русский читает историю своего отечества с сего времени с удив-

лением, но редко с любовью» (Архив бр. Тургеневых, вып. 5-й, I, 123).

5. Н. С. Арцыбашев. (1821, 1829, 1830). «Ужасы Иоаннова правления», разрисованные мастерской рукою Карамзина, у. отталкивающий облик тирана, каким предстал перед читателем Иван Грозный на страницах «Истории государства Российского», были явлением небывалым в русской литературе. Поражала смелость, с какой историк вскрывал злоупотребления самодержавной власти, находили неудобным и нежелательным обнажать их с такой откровенностью. Другие, не менее подавленные страшной картиной, подходили к описанию Карамзина чисто с научной стороны и считали необходимым проверить самый факт, предварительно убедиться, в какой степени повествование Карамзина соответствует действительности. Будущий митрополит Московский Филарет, присутствовавший на заседании Российской академии 8 января 1820 года и слышавший чтение Карамзиным отрывка из в ту пору еще не напечатанного IX тома Истории об ужасах правления Ивана Грозного, был смущен «мрачными и резкими чертами», наложенными на русского царя; он предпочел бы «осветить лучшую часть царствования Грозного», а другую, непривлекательную, покрыть тенью, и спрашивал самого себя: «Хорошо видами добра привлекать людей к добру, но полезно ли обнажать и умножать виды зла, чтобы к ним привыкли?» (письмо митр. Филарета графу Ф. П. Литке, 5 мая 1867. Чтения 1880, IV, 12. Взято у Старины и Новизны, I, 193).

Зато Арцыбашев возражал Карамзину по существу. В ряде статей, напечатанных в «Вестнике Европы», он старался оспорить достоверность и приемлемость для исторической критики тех источников, на которых основывался историограф в своей **оценке** Ивана Грозного. Курбский, доказывал он, свидетель пристрастный: ненавидя царя, он порицает его при всяком Удобном случае; причины, побудившие Курбского бежать в Литву, окрасили в его глазах последующие события в России в ложный цвет. Живя за границей, он лишен был возможности **Непосредственно** следить за этими **событиями** и опирался на **Показания** людей неизвестных. С Сильвестром и Адашевым он был связан общими узами — здесь следует искать объяснения его сочувственных о них отзывов. Курбский подчеркивает «буйную юность» Ивана, забывая про самоуправство бояр в эти годы. Оспаривая часть показаний Курбского, Арцыбашев, однако, признает, что «все прочее в его Истории заслуживает **Полного** доверия» (В. Европы. 1821, № 12: «О степени доверия

к стороне порока, и зло пустило корень» (254). Первоначальное недоверие к боярам выросло в подозрение, в ненависть — основную причину зла в Иване. Искра тлилась, и болезнь 1553 года раздула ее в пожар. Пораженный тем, что Сильвестр и Адашев «замешаны были в связях с взбунтовавшими боярами, мог ли Иоанн верить кому-нибудь, когда первые друзья его, учителя добродетели, были на стороне его злодеев в важную, критическую минуту его жизни?» А там смерть Анастасии, бегство бояр в Литву, неудачи на войне... Грозный везде видит изменников и — «делается тираном постоянным (но единственно) в отношении к боярам».

«Таков был, кажется, ход Иоаннова характера. Перемена в свойствах Иоанновых была готова задолго до смерти Анастасии, и знаменитый наш историограф слишком резкой уже чертой отделил 8-й том своей Истории от 9-го, сказав, что Анастасия унесла с собой в могилу добродетель Иоаннову... Зло шло постепенно» (268).

В заключение Погодин подчеркивает неслучайность того, что Грозный был почти современником Филиппа II испанского, Генриха VIII Тюдора, Христиана II в Дании и Швеции (1513—1516), Людовика XI французского. Подробнее своей мысли он не разъясняет, потому ли что бросил ее мимоходом, потому ли что сознательно избегал вдаваться в рассуждения на эту тему; он ограничился замечанием: «Пусть односторонние писатели XVIII столетия и их последователи восклицают, что деяниями человеческими управляет случай, — мы поверим лучше другим мыслителям, которые стараются доказать нам, что мир нравственный (исторический) подчинен таким же строгим законам, как и мир физический, — поверим им и признаем в сих несчастных явлениях души человеческой необходимые орудия вечных судеб» (269).

Не трудно, однако, понять, что хотел сказать автор: личность Ивана Грозного — явление не случайное; государи его типа порождаются самою эпохой. Сильные монархии создаются только твердой рукою, которая не останавливается и перед насилием, если встретит на своем пути преграду или помеху. (О характере Иоанна Грозного. Историко-критические отрывки. М., 1846, 227—270).

7. Н. А. Полевой. (1833). Доведа свою «Историю русского народа» лишь до падения Сильвестра и Адашева, Полевой не имел внешнего повода давать общую характеристику Грозного на основании обзора его царствования во всем его целом и ограничился лишь частными замечаниями.

Несчастное воспитание, говорит он, приучило царя к двум противоположностям: к «своеволию и самовластию и в то же время к послушанию людям, превосходящим его умом, дарованиями или хитростью, умевшим искусно завладеть им». Зато, «привыкая повиноваться, он готов был страшно мстить своему повелителю, когда сознавал свою зависимость: горделивое самолюбие напоминало ему в то время все величие звания его на земле» (346). Так выросло влияние Сильвестра и Адашева с их товарищами — «дворцовой партии, самовластно управлявшей государем и государством. Иоанн, нет сомнения, вскоре разгадал хитрость, посредством которой овладели умом его Сильвестр и Адашев. Честолюбие его могло оскорбляться, но он повиновался и молчал, хотя правители нередко не щадили самолюбия Иоаннова, сопротивляясь воле его» (347).

Сцены, разыгравшиеся у постели Ивана, когда он тяжело захворал и едва не умер в 1553 году, подорвали прежнее доверие царя к его любимцам, но он продолжал держать их подле себя, так как «не мог не сознаться в необыкновенном уме, в правоте их при делах государственных, в том, что они были причиною славы его и благоденствия народного. Он знал, что хотят они свершить еще, и не мог отвергать пользы и чести их предположений» (358). «К несчастью, кроме сих двух великих людей, не было ни одного, кто превышал бы свой век, свои современные понятия, предпочитал благо отчизны собственному благу или соединял в одно время достоинства государственного человека с доблестью воеводы» (361).

Но вот наступает в Иване перемена — и «заслуженные, знаменитые» люди подверглись царскому гневу. «Новые любимцы теснились у трона... Кровь еще не лилась на плахе палача и во мраке темниц, но время нравственной гибели Иоанна сближалось быстро» (446: т. VI). Чем, однако, вызвана была эта резкая перемена в царя, автор не пояснил.

Несколько позднее Полевой вернулся к Ивану Грозному в своей «Русской истории для первоначального чтения». Часть III. М., 1835. Книга эта вызвала нижеследующий отзыв Белинского.

8. В. Г. Белинский (1836) не согласен с Карамзиным, который представил Грозного «каким-то двойником, в одной Половине которого мы видим какого-то ангела, святого и безгрешного, а в другой чудовище, изрыгнутое природой в минуту Раздора с самой собою для пагубы и мучения бедного человечества, и эти две половины сшиты у него, как говорится, «белыми нитками». Но Белинский одинаково не согласен и с

Полевым, который «держится какой-то середины: у него Иоанн не гений, а просто замечательный человек».

«Есть два рода людей с добрыми наклонностями, — замечает Белинский, — люди обыкновенные и люди великие. Первые, сбившись с прямого пути, делаются мелкими негодьями, слабодушными; вторые — злодеями. И чем душа человека огромнее, чем она способнее к впечатлениям добра, тем глубже падает он в бездну преступления, тем больше закаляется во зле. Таков Иоанн: это была душа энергическая, глубокая, гигантская. Стоит только пробежать в уме жизнь его, чтобы удостовериться в этом».

Ненормальное воспитание, бездушные бояре, «развратители и наставники в тиранстве» ... Зрелище народного бедствия и женитьба на кроткой, прекрасной Анастасии совершенно меняют Ивана. Он подает руку иноку Сильвестру и безродному Адашеву, те действуют «благородно и бескорыстно, умно и удачно, но они сковывают волю царя, они спеленали исполина, не думая, что ему стоит только пожать плечами, чтобы разорвать пеленки. Они назначили ему и час молитвы, и час суда и совета, и час царской потехи. Царь надел иго, слушался своих любимцев, но его сердце точил червь унижения». Крамола, вскрывшаяся у смертного одра и направленная против его наследника, глубоко ранила царя. «Мысль об измене и крамоле сделалась его жизнью, и с тех пор он везде и во всем мог видеть одну измену и крамолу, как человек, помешавшийся от привидения, везде и во всем видит испугавший его призрак». Смерть любимой жены... «И теперь как понятно его постоянное изменение, его переход к злодейству!.. Но он жаждет мести за себя, а человек имеет право мстить только за дело истины, за дело Божие, а не за себя. Мщение, может быть, сладкий, но ядовитый напиток. Для Иоанна мало было виновных, мало было бояр — он стал казнить целые города; он был болен, он опьянел от ужасного напитка крови».

«Иоанн поучителен в своем безумии, это не тиран классической трагедии, это не тиран Римской империи, где тираны были выражением своего народа и духа времени: это был падший ангел, который и в падении своем обнаруживает по временам и силу характера железного, и силу ума высокого» (Сочинения В. Г. Белинского, под ред. Венгерова. Т. П. С. 440—444).

9. Ю. Д. Самарин. (1843). Самарин подчеркивает трагическую сторону в личности Ивана IV. «Чудно совмещались в нем живое сознание всех недостатков, пороков и порчи того века с каким-то бессилием и непостоянством воли. Поэтому его

умственное превосходство выражалось отрицательно, разрушением, ненавистью к настоящему, ядовитой иронией и бессмысленным слепым злодейством. Этот разлад с современной жизнью, его не удовлетворявшей, повторялся в нем, как лице; ибо *в самом себе Иоанн сознавал всю темную сторону своего времени и ненавидел, презирал себя. Никто из современников не понимал его, никто не страдал вместе с ним от глубокого неудовлетворения» (Сочинения, V, 205—206).

Мысль Самарина можно было бы так формулировать: Иван Грозный — это первый «Гамлет», которого создала наша русская жизнь.

10. А. С. Хомяков (1845). «Душа страстная, но развращенная с детства, ум необычайный, но, к несчастью, не освещенный знанием обязанностей человеческих» — вот основные черты Ивана Грозного. Годы 1547—1560 — «время доброго совета», время Сильвестра и Адашева, которые спасли на некоторое время Россию. С их появлением у престола переменились действия, поступки, «но душа царя не переменилась. Царь Иван Васильевич не мог любить: чувство любви человеческой, любви христианской было ему незнакомо, его страсти были злы. Но он мог понять все великое, мог пленяться и плениться великим образом царя благодетеля, который представился для него в словах Сильвестра, в советах Адашева, он покаялся, но не запросто, не как христианин, не как грешник, убитый своей совестью и плачущий перед Богом в чувстве своего духовного унижения, нет — самое его покаяние, пышное и всенародное, было окружено блеском торжества. Так в продолжение 13 лет благодетельствовал он России не потому что любил добро, но потому что понимал славу и, так сказать, художественную красоту добра на престоле. А между тем кипели его злые страсти, подавленные, но не искорененные, кипела злость, которая стыдилась самой себя, а все просилась на волю, — а советники не злые, но разумные, не понимавшие его души и завидовавшие Сильвестру и Адашеву, наговаривали ему слова лести и недоверчивости к этим двум хранителям народного счастья». Не стало их — и настали новые, худшие времена (Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича. Пол. соб. соч. А. С. Хомякова. Т. III. М., 1900. С. 30—53; первоначально в «Библиотеке Воспитания» 1845 года, изд. Валуевым).

11. С. М. Соловьев (1847 и 1856). Оценка, данная Соловьевым, впервые выводит нас на надлежащую дорогу научного исследования. В государственной деятельности Ивана он видит не одно проявление личной воли, но также, и еще более,

ответ на требования, поставленные жизнью, сложившиеся исторически. В силу своей историчности требования эти выросли в могучий императив, который подчиняет себе любую личную волю и направляет ее на выполнение очередных поставленных жизнью задач. Борьба с боярством была исторической необходимостью; война с Ливонией доказала политическую прозорливость Ивана. Отсюда высокая оценка Грозного как государя.

Слабым местом в Иване было преобладание чувства над рассудком. «Это был, бесспорно, самый даровитый государь, какого только нам представляет русская история до Петра Великого, самая блестящая личность из всех Рюриковичей; но с необыкновенной ясностью взгляда, ловкостью в речах и поступках, качествами, полученными в наследство от предков, в Иване было развито в высшей степени другое противоположное начало, женственное — чувство: сколько Иван был умен и проныцателен, столько же был страстен, восприимчив, раздражителен, способен увлекаться, доходить до крайности» (История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 1847. С. 597).

Когда писался VI том «Истории России», посвященный Ивану Грозному (1856), Соловьеву приходилось считаться с двумя совершенно противоположными мнениями об этом государе. «В то время как одни, преклоняясь пред его величием, старались оправдать Иоанна в тех поступках, которые назывались и должны называться своими, очень нелестными именами, другие хотели отнять у него всякое участие в событиях, которые дают его царствованию беспрекословно важное значение». Соловьев энергично оспаривает мнение тех, кто хотел отнять у Грозного «всю славу важных дел, совершенных в его царствовании», и приписать ее Сильвестру с Адашевым, в руках коих Иван был якобы лишь «бессознательным орудием»: нет, слепым орудием их он никогда не был; «Война Ливонская была предпринята вопреки их советам». И после взятия Казани сторонники Сильвестра советовали царю остаться на некоторое время в завоеванном городе, но он послушался тех, кто отговаривал его от этого. И в 1555 году, выступив против крымского хана и получив известие о поражении русского отряда, царь не послушался тех, кто уговаривал его вернуться назад, но пошел навстречу татарам «Таким образом, мы видим, что Иоанн в одном случае действует по совету одних, в другом — других, в некоторых же случаях следует независимо своей мысли, выдерживая за нее борьбу с советниками».

Зато в оценке нравственной Соловьев не дает царю снисхождения. «Если, с одной стороны, странно желание некоторых отнять у Иоанна значение важного самостоятельного деятеля в нашей истории; если, с другой стороны, странно выставить Иоанна героем в начале его поприща и человеком постыдно робким в конце; то более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием». Если борьба с боярами была продолжением дела, начатого еще дедом и отцом, то приемы, допущенные в этой борьбе, нравственно оправданы быть не могут: Иван не умел совладать с порочными наклонностями своей природы, хуже того — он совсем не боролся со своими страстями. Он сознавал свое падение и потому тем более виноват, не пытаясь подняться. Большие дарования, большая начитанность точно так же не оправдание, а обвинение ему.

«Иоанн сознавал ясно высоту своего положения, свои права, которые берег ревниво, но он не сознавал одного из самых высоких прав своих, права быть верховным наставником, воспитателем своего народа: как в воспитании частном и общественном, так и в воспитании всенародном могущественное влияние имеет пример наставника, человека вверху стоящего, могущественное влияние имеет дух слов и дел его. Нравы народа были суровы, привыкли к мерам жестоким и кровавым; надобно было отучать от этого; но что делал Иоанн? Человек плоти и крови, он не сознавал нравственных, духовных средств для установления правды и наряда; или, что еще хуже, сознавши, забыл о них, вместо целения он усилил болезнь, приучил еще более к пыткам, кострам и плахам; он сеял страшными семенами, и страшна была жатва: собственноручное убийство старшего сына, убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы Смутного времени! Не произнесет историк слово оправдания такому человеку, он может произнести только слово сожаления», если вспомнить, в какой обстановке вырос Грозный: в юные годы Ивана Шуйские с товарищами сеяли своекорыстие, презрение к общему благу, к жизни и чести ближнего — каких же добрых плодов можно было ожидать от такого посева?!

Таким образом, обвинения, предъявленные к Ивану как к человеку, следует прежде всего направить к современному ему обществу, к той обстановке, в какой сложился его характер и понятия (ИР, VI, гл. VII, с. 388—395).

12. К. Д. Кавелин. (1847, 1866). Как и для Соловьева, государственная деятельность Ивана Грозного есть явление ис-

великорусские удельные князья, лишённые владений и обратившиеся в слуг московских государей, в то время московская знать едва ли меньше сочувствовала польским и литовским порядкам, чем впоследствии шведским, французским и английским. В попытках всех этих элементов изменить по своему идеалу государственный строй Великороссии, внести в него западнорусские начала и следует, как нам кажется, искать ключ к явлениям и событиям этой замечательной эпохи. В лице Грозного Великорусское государство вступило в борьбу с западнорусскими и польскими государственными элементами, вошедшими в состав Московского государства» (Вестник Европы. 1866, кн. 2, и Сочин., изд. 1897 г., I, 639 след.).

13. Конет. Аксаков (1857): «Иоанн IV — природа художественная, художественная в жизни. Образы являлись ему и увлекали его своей внешней красотой; он художественно понимал добро, красоту его, понимал красоту раскаянья, красоту доблести, — и наконец самые ужасы влекли его к себе своей страшной картинностью. Одно чувство художественности, не утвержденное на строгом, на суровом нравственном чувстве, есть одна из величайших опасностей души человека. С одной стороны, оно не допустит человека испытать ни одного чувства правдиво, ибо человек, наслаждаясь красотой чувства, им испытываемого, или дела, им совершаемого, не относится к ним цельно и непосредственно, он любит ими, он любит красоту, а не самое дело.

Вот отчего и в истории, и в частной жизни встречаем мы такие явления, что человек, например, плачет умиленными слезами, слыша рассказ о кротости и великодушии, и в то же время сам мучит и терзает ближнего; и он не обманывает: эти слезы не притворны; но он тронут, как художник, с художественной стороны, — а одно это еще ничего не значит, на действительность это не имеет влияния. Человек довольствуется здесь одним благоуханием добра, а добро, само по себе, вещь для него слишком грубая, тяжелая и черствая. Это человек, безнравственный на деле, но понимающий художественную красоту добра и приходящий от нее в умиление. Дело самое добра ему не нужно и не под силу, он чувствует только, как оно изящно хорошо, и довольствуется этим. Такое состояние почти безнадежно. Ибо тот, кто не понимает добра и не чувствует его, может понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тот же, кто чувствует добро, но только художественно, кто наслаждается его благоуханием, а дело самое откидывает, — тот едва ли может исправиться. Здесь мы имеем в виду не

художественное чувство вообще, а одно художественное чувство, отвлеченное, без нравственных оснований, что встречается в жизни чаще, чем, может быть, думают. Тогда и дело самое добра, если захотят его совершить, является лишь как картина, без своей истины и существенности.

Но есть другая сторона художественного чувства, в свою очередь губящая человека. Художественное чувство может отыскать красоту и в самом диком, и в самом низком явлении... В Иоанне была такая художественная природа, не основанная на нравственном чувстве. Она влекла его от образа к образу, от картины к картине, и эти картины любил он осуществлять себе в жизни. То представлялась ему площадь, полная присланных от всей Земли представителей, — и царь, стоящий торжественно, под осенением крестов, на Лобном месте и говорящий речь народу. То представлялось ему торжественное собрание духовенства, и опять царь посередине, предлагающий вопросы. То являлись ему, и тоже с художественной стороны, площадь, уставленная орудиями пытки, страшное проявление царского гнева, гром, губящий народы... и вот — ужасы казней московских, ужасы Новгорода. То являлся пред ним монастырь, черные одежды, пост, молитва, покаяние, труды и земные поклоны — картина царского смирения. И увлеченный ею, он обращал и себя и опричников в отшельников, а дворец свой в обитель. Как трудно тому, кто любит красоту покаяния, покаяться в самом деле!

Мы не говорим, чтоб эта художественность была одна движущей силой в Иоанне (человек вообще есть явление сложное). Нет, много было двигателей его духа; но такова была его природа, и она брала, разумеется, сильное участие в каждом его действии, на многое имела влияние и многое психологически в нем объясняет». (Полное собр. соч. Т. I. М., 1889. С. 162—164).

Примечание. Н. И. Костомаров дает такую оценку этой характеристике и так дополняет ее:

«Этим мастерским очерком Иванова характера, составленным с таким глубоким психологическим взглядом на человеческую натуру, Аксаков подписал приговор всем возможным попыткам отыскать у Ивана какие-либо определенные идеи, какие-нибудь преднамеренные, неизбежные цели. Иван понят как нельзя более, и первая честь этого принадлежит Аксакову. Иван — художественная натура, каких, действительно, на свете

к истории, сочиненной кн. Курбским». См. *Полуденский*. Указатель статей В. Европы, 1802—1830. СПб., 1861. С. 201).

Тот же пристрастный свидетель, князь Курбский, определил и неправильный взгляд Карамзина на «жестокости» Ивана. Иван не был жесток по натуре: таковым его сделали внешние условия жизни: своеволие бояр в детские годы — своеволие, переходящее всякие границы, ожесточило царя и вынудило его прибегнуть к мерам строгости, быть может, иногда и излишней. Казни, как ни жестоки они сами по себе, объясняются жестокими нравами того времени: ни Иван III, ни Михаил Федорович, ни Алексей Михайлович не были мягче Грозного. Таубе и Крузе, Гваньини написали пасквили на Ивана, и опираться на них, как это делает Карамзин, нельзя. Любострастие Грозного Арцыбашев готов оправдать ранним вдовством и испорченностью окружавших его бояр. В чем всего труднее оправдать Ивана, то это в унижении перед Баторием (В. Европы. 1821, № 18, 19: «О свойствах царя Ивана Васильевича»; см. *Полуденский*, 204).

Несколькими годами позже, уже по смерти Карамзина, Арцыбашев в особой статье занялся опровержением показаний Таубе и Крузе (В. Европы. 1829, № 20: «Явная выдумка»; см. *Полуденский*, 261); а также оспорил показание Горсея, будто Грозный скончался за игрой в шахматы столь скоропостижно, что митрополит прочел молитвы пострижения уже над мертвым (В. Европы. 1830, № 11: «О кончине царя Иоанна Васильевича»; см. *Полуденский*, 264). Карамзин, как известно, в своем изложении смерти Ивана Грозного следовал Горсею.

6. А. Л. Погодин. (1829, 1846, 1859). Погодин сходится с Карамзиным в отрицательной оценке Грозного и даже идет дальше его. «Иоанн никогда не был велик»; он и в молодые годы, и при Сильвестре такая же порочная натура, такой же малоспособный государь, каким проявил себя и во вторую половину царствования; зло развивалось постепенно, и начало ему положил отнюдь не 1560 год.

Можно разделять взгляд Погодина или расходиться с ним, во всяком случае погодинский Иван IV натуральнее, правдоподобнее карамзинского: зло заложено в самой природе Грозного, а не появляется откуда-то извне в виде случайного поветрия.

Иван, говорит Погодин, «тиран, какому история мало представляет подобных»; он лишен государственного ума; он не издал ни одного значительного закона; «нет ничего, кроме казней, пыток, опал — действий разъяренного гнева, взволно-

ванной крови, необузданной страсти; совершенное отсутствие государственного взгляда, благородного сознания, высоких целей при неограниченности эгоизма, которому приносилось в жертву все».

Согласно своему излюбленному математическому методу, Погодин нанизывает факты (отрицательного значения) один за другим, обильно черпая и подбирая их из книги Курбского «История князя великого Московского» и из его переписки с царем. Мог ли Иван, спрашивает автор, распорядиться осадой Казани, не имея понятия о военном искусстве, и если он сам признается, что под Казань его везли «аки пленника всадив в судно»? Какой он герой, если во время битвы его, «хотяща и нехотяща, за бразды коня взяв, близ хоругви поставиша»? (249). Где великие дела Иоанновы, если в так называемую блистательную полосу его царствования государством управляли другие? Трусость, робость подчинила его Сильвестру; позже он приказывал послам своим терпеть побои от Батория, бегал от крымского хана и приказывал бить ему челом.

Основная мысль Погодина такова: светлым периодом царствования (1547—1560), за который Карамзин так возвеличивает Ивана, Россия обязана не царю, а его приближенным: Сильвестру, Адашеву и др. «Иоанн говорит сам, что от 1547 до 1553 года, от 17 до 23 лет своей жизни, он не принимал никакого участия в правлении, и это согласно со всеми прочими свидетельствами и соображениями» (259). С 1553 г. он начал действовать по своей воле; но «мы не видим никаких происшествий, ни внешних, ни внутренних, кои могли бы причтены в честь или бесчестье Иоанну» (255). «Во взятии Астрахани, в заведении торговли в Англии он не принимал никакого участия — все это России Бог дал» (251). В начале Ливонской войны Грозный также не принимал никакого участия. «Курбский славит Иоанна за средние годы его царствования, коих честь я отнимаю от него» (257). Погодин отказывается и от прежнего своего взгляда на Грозного (1824), когда царь представлялся ему человеком, «рожденным с душою, способной ко всему великому, страстями пылкими, волею сильной» (261).

Но, подбирая в характере и действиях Ивана черты отрицательные, Погодин не ограничивается простым восстановлением факта — он ищет этому факту объяснений, вскрывает те «несчастные обстоятельства», что ожесточили Грозного и сделали его тираном. Причину он видит в дурном воспитании, в отсутствии надзора за царем в его детские годы, в потворстве его жестоким наклонностям. «Характер получил направление

торическое, т. е. органически выросшее из всего прошлого и столь же органически связанное с действиями его преемников. Кавелин сближает Ивана IV с Петром Великим, и одного этого достаточно, чтобы судить, на какую высокую степень ставит он Грозного. «Переходную эпоху нашей истории, — говорит он, — утреннюю зарю нового, вечернюю старого — эпоху неопределенную, как все срединные времена, — ограничивают от предыдущего и последующего два величайших деятеля в русской истории — Иоанн IV и Петр Великий: первый ее начинает, второй оканчивает и начинает другую. Разделенные целым веком, совершенно различные по характеру, они замечательно сходны по стремлениям, по направлению деятельности. И тот и другой преследуют одни цели. Какая-то симпатия их связывает. Петр Великий глубоко уважал Иоанна IV, называл его своим образцом и ставил выше себя. И в самом деле, царствование Петра было продолжением царствования Иоанна. Недоконченные, остановившиеся на полудороге реформы последнего продолжал Петр. Сходство заметно даже в частностях. Оба равно живо сознавали идею государства и были благороднейшими, достойнейшими ее представителями; но Иоанн создал ее как поэт, Петр Великий — как человек по преимуществу практический. У первого преобладает воображение, у второго воля. Время и условия, при которых они действовали, положили еще большее различие между этими двумя великими государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менее реальной, нежели преемник его мыслей, Иоанн изнемог наконец под бременем тупой, полупатриархальной, тогда уже бессмысленной среды, в которой суждено было ему жить и действовать. Борясь с ней насмерть много лет и не видя результатов, не находя отзыва, он потерял веру в возможность осуществить свои великие замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывным мучением, он сделался ханжой, тираном и трусом. Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что был велик. Его отец Василий, его сын Феодор не падали. Этим мы не хотим оправдывать Иоанна, смыть пятно с его жизни; мы хотим только объяснить это до сих пор столь загадочное лицо в нашей истории» (Сочинения, изд. 1859 г., I, 355; изд. 1897 г. I, 46—47).

Юрий Самарин (его статья в «Москвитянине», 1847, № 2, под псевдонимом М. З. К.) оспорил правильность такой характеристики Ивана Грозного. Кавелин же, полемизируя с ним, между прочим писал: «Все то, что защищали современники Иоанна, уничтожилось, исчезло; все то, что защищал Иоанн IV,

разбивалось и осуществлено; его мысль так была живуча, что пережила не только его самого, но века, и с каждым возрастала и захватывала больше и больше места» (Сочин., изд. 1897, I, 93).

• Потомство не воздало ему должного, даже не пожалело о нем. А ученые и писатели — они повторяли слова современников, которые кричали громче других. Только один его понял — великий преемник его начинаний, которому суждено было довершить его дело и благословить Россию на новый путь» (Сочинения, изд. 1897, I, 53: • Взгляд на юридич. быт Древней России», 1847).

Наконец, в замечательной статье своей «Мысли и заметки о русской истории» Кавелин первый в исторической литературе указал на недостаточность в оценке Грозного ограничиваться одним только психологическим анализом: существовали силы, определявшие действия Ивана независимо от его личной воли или настроения. • Увлечшись самыми честными побуждениями, Карамзин не понял и ошибочно истолковал борьбу Грозного с вельможеством. После Карамзина старались, в особенности проф. Соловьев, исправить эту ошибку, и отчасти в том успели. Говорим „отчасти“ потому что выяснена пока только психологическая сторона действий и побуждений Грозного: объективная, предметная сторона вопроса остается по-прежнему очень загадочной».

Кавелин указывает, что буря Смутной поры • подготовлялась издалека» и что если сблизить с эпохой смут фигуру Ивана, то она • предстанет перед нами в трагическом величии. Значит, однако, не одна кровожадность и подозрительность заставляли его лить потоки крови! Он чуял беду и боролся с ней до истощения сил... Жестокости и казни Грозного — дело тогдашнего времени, нравов, положим, даже личного характера; но сводить их на одни психологические побуждения, имея перед глазами целый период внутренних смут и потрясений, невозможно. Должны были быть глубокие объективные причины, вызывавшие Грозного на страшные дела».

Причины эти Кавелин видит в • значительном притоке в Великороссию (из Новгорода, Пскова, княжеств литовских, вошедших в состав Московского государства) элементов, чуждых ее общественному складу, не дававших в западной России сложиться государству, и столько же враждебных к нему в Великороссии». Автор напоминает роль Глинских, роль Вельского, • потомка Гедимины, соискателя литовского престола», кн. Курбского. • К этим элементам могли присоединиться старинные

много и которые бывают всегда очень неглупые люди... Художественные натуры очень любят созидать теории, предначертывать планы, но они довольно ленивы для того, чтобы долгое время действовать по одному плану... У них воображение заменяет все: и рассудок, и ум, и волю, и чувство. Созданные образы носятся пред ними; они тешатся ими; они понимают смысл их, насколько этот смысл выражается в образах; но отвлекаемая от образа мысль делается для них чуждой. Они не знают цены истине и не могут любить ее, хотя всегда готовы ее прославлять и восхищаться ею. Они всегда лгут, но никогда намеренно не обманывают, лгут без задних мыслей, единственно потому, что беспрестанное созидание образов приучает их ко лжи. Они не способны никого и ничего любить, хотя и кажутся проникнутыми любовью. Они не эгоисты в точном значении этого слова: они не соразмеряют своих действий так, чтобы все клонилось к их пользе, да и о пользе своей, собственно, они редко заботятся; они все преданы своим образам, живут исключительно для них одних. Они легко могут незлонамеренно ввести в заблуждение других и показаться совсем не тем, чем есть на самом деле, потому что они неглупы, красно и с чувством говорят, готовы даже на дело, пока образ их увлекает; и потому другие могут принять в них за действительность то, что в самом деле только призрачно. Вообще такие натуры всего более обманчивы. Так точно и Иван Грозный мог быть загадкой для историков, и был до тех пор, пока Константин Аксаков не указал нам его существо в настоящем свете» (О значении историч. трудов Конст. Аксакова. СПб., 1861. С. 28—31).

14. Хлебников (1869). Хотя Грозный и обладал способностями, высоко поднимавшими его над уровнем обыкновенных людей века, «но его далеко нельзя назвать такой глубоко гениальной натурой, в которой, как в зеркале, отразились бы лучшие, чистейшие стремления века. По глубине мысли он стоял далеко ниже своего деда Иоанна III. Необыкновенно-важное, умственно-религиозное движение, начавшееся при этом гениальном царе, захватило гораздо глубже и дальше, чем шли самые смелые идеи Грозного царя. Хотя Иоанн явился на Стоглавом соборе как человек реформы, но, в сущности, он был человек старого закала, для которого даже борода и однорядка были принадлежностью религии. Если он и глубоко возмущался церковными беспорядками, то все-таки мысль его была направлена более на беспорядки внешние, на беспорядки в монастырях и в церковном управлении, но он не касался характера самой религиозности, потому что, в этом отношении,

он сам был полнейшим выразителем не новых идей, но грубейших предрассудков старого времени».

«Он был полнейшим выражением века в его хороших и дурных сторонах. Направление его характера ему было дано обществом, как и всякому индивиду; ему лично принадлежала лишь та смелость, которая безбоязненно доводила до конечных результатов все добродетели и пороки, которые ему давало общество... Новое направление мысли оставило в нем глубокий след, но не преобразовало его совершенно. Хотя во многих отношениях он имел светлые взгляды, но во многих отношениях он был так же груб, как и общество, его воспитавшее.

Влияние Сильвестра, человека с большим практическим умом, но узкого, в умственном отношении стоявшего не выше толпы, не могло быть прочным и продолжительным. Грозный «не принял всех идей, которые давала ему новая школа, но он принял те из них, которые согласовались с потребностями его натуры; от Сильвестра и его товарищей он напитался идеями о великом значении своей власти. Ему оставалось сделать решительный шаг, чтобы освободиться от людей, которые мешали ему, и он сделал его!».

«Но как скоро для царя разрушилось то обаяние, которое внешним образом сдерживало его страсти, тогда обнаружилось, что тринадцать лет правления духовенства не переделали его натуры, не дали ей более духовных наслаждений. Внешняя сдержанность пала, и натура высказалась такой же дикой, как она была и прежде. В остальной его жизни видна та же борьба, из которой не было выхода. То безумный разгул, то страстное покаяние, земные поклоны до кровавых пятен» (О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории. СПб., 1869. С. 136, 160—163).

15. К. Н. Бестужев-Рюмин. I. (1871). В заседании Славянского благотворительного комитета он произнес речь, навеянную трагедией гр. Алексея Толстого, «Смерть Иоанна Грозного». Бестужев не признает правильным образ, нарисованный поэтом: «Перед нами коварный тиран, самолюбивый и самовластный деспот — и более ничего. То ли действительно представляет нам это лицо?» При оценке Грозного совершенно упускается из внимания психологический момент — та трагедия, какую он переживал и которая была «результатом его психического настроения и окружающей его среды».

«Нельзя судить людей по степени их успеха. Великими людьми могут быть не только те, кто достигает поставленной себе цели. Неужели человек, ранее другого стремившийся к

известной цели, но не имевший под руками средств для ее достижения, не заслуживает если не венчания лаврами, то, по крайней мере, нашего участия, нашего внимательного изучения? В таком положении мы стоим перед двумя нашими великими историческими лицами: перед Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным. Оба они одного хотели, к одному стремились; но один имел Полтаву и Ништадтский мир, другой же имел мир на Киверовой горе и только одно утешение — блистательную защиту Пскова». Разница в результатах коренилась в том, что «один жил в XVI, а другой в XVII и начале XVIII века; у одного было много приготовлено такого, чего не было у другого. Один имел под руками верных и готовых служить ему сотрудников, у другого же таких сотрудников не оказалось».

«Задуманный Грозным план переустройства государства не мог тогда же осуществиться в полном своем виде». Тому помешала бедность населения, малочисленность его, большие требования на службу государственную, а вынужденное закрепление населения «убило общину и уничтожило государственный план, который так хорошо подходил к общеславянскому, всегдашнему плану государственного устройства».

Не следует вполне полагаться на показания Курбского: «Точно ли не было никакой измены? точно ли выгодно было московскому боярству не изменять, и неужели оно не имело где-нибудь в другом месте своих идеалов? Идеалы эти были, и были рядом, в Литве». При этом Бестужев, едва ли не впервые в русской историографии, обращает внимание на государственное значение мероприятий Грозного в борьбе его с боярством: «потомки Рюрика и Гедимины назывались вначале княжатами, составляли особое сословие и имели много суверенных прав; они жили на старых местах, где жили их предки, бывшие когда-то владельцами князьями». Чтобы порвать воспоминания и связь с населением, «помнившим суверенных владельцев», Грозный «ограничил права на владение землею, на передачу ее в наследство... объявляя опалу боярину, переводил его через несколько лет в Другую местность. Очевидно, это имело политическую цель и было на чем-нибудь основано». Состояние исторической науки в 1871 году не позволяло выяснить все значение борьбы, предпринятой царем Иваном, но Бестужев наметил тот путь, идя по которому, позже, через 28 лет, Платонов блестяще раскроет смысл и значение опричнины и связанных с нею мероприятий Грозного (Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Иоанна Грозного. Заря, 1871, март).

В позднейшем своем труде «Русская история» Бестужев-Рюмин особенно подчеркивал государственную, политическую близость Ивана Грозного с Петром Великим.

Бестужев-Рюмин. II (1885). «Да, глубоко трагическими являются жизнь и судьба этого замечательного человека! Вникая в его деятельность, невольно поддаешься напрашивающемуся сближению с царем-богатырем XVIII века. Недаром, как уверяет предание, Петр считал Грозного своим предшественником: у них были общие планы; в самой обстановке их детства и первой молодости есть черты сходства; разница только в том, что при Грозном не стояла любящая его мать — и эта разница существенная; есть и другая существенная разница: Иоанн по природным свойствам был человек более отвлеченный, менее способный и склонный к практической деятельности, оттого он то доверяет другим, то вдруг заподозревает, и никогда не действует сам. Ему (с некоторых сторон и основательно) кажется, что обязанность царя только направлять деятельность других. Верный в обычное время взгляд этот бывает иногда и неверным. Петр послужил России столько же топором плотника, сколько и мечом полтавским. Практический Петр верил в свой народ и если иногда и чересчур перегибал дугу, то как будто чувствовал, что это и поправиться может. Иоанн же изверился во всем и во всех. Можно прибавить еще, что Петр менее думал о себе; в этом отношении он шире Грозного. Тяжелого впечатления, производимого на историка исканием убежища в Англии, никто не вынесет из деятельности Петра. Точно так же, как ни страшны казни времен петровских, как ни заметно в нем иногда личное раздражение, но впечатление, производимое рассказами о Новгородском погроме, еще тяжелее. Государственные практические люди никогда не заходят так далеко, как отвлеченные теоретики. Оттого Петр и не вступал в теоретические прения: они были чужды его природе. Оттого Петр, как ни склонен был к чужеземцам, постоянно считал себя русским, а Грозного тешило производство его рода от Августа Кесаря. Оттого Петр не мог исключительно погрязнуть в чувственных наслаждениях: у него на руках было слишком много дела; он был практический, а не созерцательный человек. Вот одна из главных причин успеха Петра и неуспеха Грозного, другая же, еще более важная, причина в том, что Россия была при Грозном слабее, чем при Петре» (РИ, II, 318—319).

16. Н. И. Костомаров. (1871, 1874). Диаметрально противоположен оценке Бестужева взгляд Костомарова, статья которого «Личность царя Ивана Васильевича Грозного» (Вестник

Европы. 1871, октябрь), появившаяся вслед за статьей Б.-Рюмина, вся построена полемически, в целях опровержения доводов и положений своего предшественника.

• Личность эта принадлежит к разряду тех нервных натур», главное свойство которых — «чрезвычайная чувствительность к внешним ощущениям и вследствие этого — быстрая смена впечатлений. Поэтому воля у них обыкновенно слабая; великими деятелями они быть не способны. Устойчивости у них нет: терпения у них очень мало. Сердечные движения их очень сильны, но лишены глубины, крепости и постоянства чувства. Воображение у них сильнее и рассудка, и сердца. Они беспрестанно создают себе образы, увлекаются ими и при первой возможности готовы их осуществлять, но легко покидают их, когда являются препятствия, или когда другие образы овладевают их душой».

• Эти личности не способны к самостоятельности и нуждаются в опеке над собою, хотя обыкновенно не замечают этого; они ненадолго привязываются к тем, которые имеют на них влияние, и вообще они не любят последних; они покоряются, воображая, что никому не покоряются, что действуют по своему усмотрению; когда же они почувствуют унижительность своей зависимости, то ненавидят тех, которые управляли ими, но по слабости воли и по трусости и тут не сразу освобождаются, а только тогда, когда помогает им иное влияние. Они чрезвычайно самолюбивы, потому что чрезмерная чувствительность побуждает их беспрестанно и постоянно обращаться к себе, и в то же время крайняя трусость — их неизбежное свойство, потому что та же чувствительность к впечатлениям опасности слишком охватывает все их существо. С трусостью всегда соединяется подозрительность и недоверчивость. Успех чрезмерно поднимает их; неудача повергает в прах. От этого — они высокомерны, самонадеянны в счастье и малодушны, потерпеливы в несчастьях. Эти люди бывают сильно и горячо восприимчивы ко всему доброму, но еще чаще к злу и порокам, потому что для добра на практике всегда окажется необходимо терпение, которого у них не хватает. Чаще всего выходит, что они пленительно добры, возвышенны, благородны на словах и совсем не таковы на деле: слова легче дел, и при известной доли способностей из них вырабатываются превосходные риторы, способные увлекать и привлекать к себе, обольщать собою на некоторое время, пока не откроется, что, кроме красноречия, у них мало достоинств».

• Горе, если такие личности получают неограниченную власть: возможность осуществлять образы, творимые воображе-

нием, вследствие чрезвычайной чувствительности к разным ощущениям, доводит их до всевозможного безумия. Многие тираны, прославленные историей за свою кровожадность и вычурные злодеяния, принадлежали к таким натурам. Таким типическим лицом в истории императорского Рима был Нерон, таким был и наш Иван Васильевич. Он представляет поразительное сходство с Нероном при всех отличиях, наложенных на судьбу того и другого несходными обстоятельствами и различной средой» (Личность, 526—528).

• Как всегда бывает с ему подобными натурами, он был до крайности труслив в то время, когда ему представлялась опасность, и без удержу смел и нагл тогда, когда был уверен в своей безопасности». Иван не был, безусловно, глуп, но, однако, не отличался ни здравыми суждениями, ни благоразумием, ни глубиной и широтой взгляда. Воображение, как всегда бывает с нервными натурами, брало у него верх над всеми способностями души. • Иван был человек в высшей степени бессердечный, во всех его действиях мы не видим ни чувства любви, ни привязанности, ни сострадания. Иван представлял собою также образец чрезмерной лживости, как бы в подтверждение того, что власть и ложь идут рука об руку» (ИР. Гл. XX. С. 457—458).

Ничего великого в Иване нет. Всегда находясь под чьим-либо влиянием, он и не действовал никогда самостоятельно. Широких политических и образовательных целей у него не было. Он утвердил начало не монархическое, а • начало деспотического произвола и рабского бессмысленного страха и терпения. Его идеал состоял именно в том, чтобы прихоть самовластного владыки поставить выше всего — и общественных нравственных понятий, и всяких человеческих чувств, и даже веры, которую он сам исповедовал» (Личность, 517, 522).

Вот почему • напрасно историки наши селятся опровергнуть основное воззрение Карамзина на личность царя Ивана Васильевича и представить его великим государственным мужем, светлым умом, достойным уважения и сочувствия, предшественником Петра Великого и оправдать его зверские деяния» (526).

Костомаров не выдает свою характеристику Грозного за что-нибудь новое. «Мы старались только развить и защитить сложившееся под пером Карамзина и господствовавшее у нас мнение о сумасбродном тиране, которого новейшие историки, постепенно поднимая, дотянули уже до того, что указывают в нем идеал не только для Руси, но для целого славянского племени» (Личность, 572).

17. И. Н. Жданов. (1876). «Характер Грозного сложный, а потому не легко поддающийся анализу... Психическое настроение Ивана Васильевича все еще остается загадкой... В лице царя Ивана Васильевича мы встречаемся со странным, но любопытным образчиком человеческой природы. Никто не откажет Грозному в уме и талантливости, но эта талантливость осталась в нем чем-то неудавшимся, чем-то неприложимым, точно капитал, который не умели хорошо поместить... Он много читал и, благодаря своей даровитости, много помнил из прочитанного, но это чтение было беспорядочно и не давало прочных и полезных знаний... Среди придворных интриг и переворотов, в сфере лести, коварства и борьбы своекорыстных интересов люди рано открылись ему с самых непривлекательных и грязных своих сторон. Понятно, что он не научился ценить их. Напротив, встречаясь в окружающем либо с наглым застрашиванием, либо с коварным подслушиванием, он скоро пришел к убеждению, что людей можно только бояться и презирать».

Натура одаренная, Иван, испытывая чувство пустоты и недовольства, искал более разумной и более удовлетворяющей жизни, но все, что «отзывалось напряжением и борьбой, что требовало ряда опытов и наблюдений, т. е. все, что составляет существеннейшую часть всякой человеческой деятельности, он склонен был предоставлять другим... С течением времени он убеждался, что весь запас его энергии потрачен был только на то, чтоб отказаться от инициативы дела и занять какую-то второстепенную, хотя и почетную роль. А он искал не того: он искал роли передового, направляющего деятеля».

Такое положение его не удовлетворяло; желая отделаться от посторонних влияний, он брался сам за дело, но «только открывал путь новым влияниям, создавал новые могущества. Это мучило и раздражало его. Но он не винил себя. Напротив, он тем скорее подставлял под это недовольство других, чем больше отучался ценить людей, чем чаще слышал доносы и обвинения, которыми окружающие его чернили один другого. Нужно, впрочем, прибавить, что, как ни росла мнительность Ивана в отношении к людям, ее зерно, ее глубочайшая причина — недовольство собою — не умирало; оно ясно сказывалось в той раздражительности, которую постоянно выказывал Иван. Лишь только случалось ему заговорить о чем-нибудь, касавшемся его царственной роли, его самодержавия (принципы которого он постоянно смешивал со своим личным житейским опытом), как он тотчас начинал горячиться, как будто с кем-то спорил, в чем-то оправдывался» (Сочинения, I, 166, 205—209)-

18. П. И. Ковалевский, профессор-психиатр (1883). Иван Грозный, по его мнению, «представляет собою замечательный образец параноика», с «психопатологической наследственностью и семейным предрасположением к заболеванию душевными и нервными болезнями» (59, 60). Паранойя, или мономания — это первичное, или однопредметное помешательство. Параноик ничем не отличается от обычного человека: у него те же знания, та же точность их выполнения, вполне правильное и сознательное восприятие и переживание текущей жизни — «и в то же время в область этой здоровой обычной жизни врывается бред преследования» (39, 202).

Автор обрисовывает личность Грозного на фоне освещения, данного Костомаровым. «Это был ум крайне поверхностный, неустойчивый и неопределенный. Одну минуту он думал одно, другую — другое, а третью — третье. Он не имел своих убеждений, а поступал так, как ему внушали другие. Узкий и недалновидный во взглядах, он не замечал, как ему окружающие внушали» (93).

«Иоанн, по характеру, была трость, колеблемая ветром. Трость крайне крепкая и упругая, но поддающаяся ветру. Это был человек с чрезмерной энергией, сильной волей и бесконечной деятельностью, но без определенных убеждений и стойкого характера. Он быстро увлекался и еще быстрее приводил в исполнение свои увлечения, хотя бы ему после того приходилось и каяться» (111). «В его душе не было ни Бога, ни любви к родителям, ни любви к детям, ни любви к ближним, ни любви к родине» (112). «Эгоизм и абсолютное бессердечие» (200) царил в его душе.

Разврат, пьянство, бессонные ночи, истощение содомией развивают у Иоанна бред преследования в полном смысле слова (129). «Подозрительный, бредящий врагами, трусливый и малодушный, Иоанн создает опричнину, коей назначение — охранять его и изводить ворогов Иоанновых» (197). «Только фантазирующий параноик может превратить царя в игумена, палача Малюту Скуратова — в келаря, а остальных опричников в братию. Собственно говоря, это великое кощунство, которое Иоанн совершил, однако, по болезненному недомыслию, в глубоком и искреннем убеждении в правоте и праведности» (Иоанн Грозный и его душевное состояние. Харьков, 1883).

19. Я. Чистович (1883). Опираясь на данные, как они собраны и изложены в ИГР Карамзина, и, подобно ему, деля жизнь Ивана Грозного на два периода — светлый и мрачный, автор приходит к выводу, что царь, после смерти царицы

Анастасии, во второй период, психически заболел и страдал «неистовым умопомешательством (*mania furibonda*)», последствием «яростного сладострастия и распутства», какому он отдался с той поры. «Обвиняя бояр в злых намерениях, в вероломстве, он делался боязлив и подозрителен, везде видел врагов». Начались казни, однако не непрерывные: за приступами гневной ярости наступали кратковременные перемирия. «При начале каждого приступа царь жаловался на бессонницу и мог несколько суток оставаться без сна».

«Ему непрерывно мерещились измены бояр, заговоры, покушение на жизнь его, попытки извести его чародейством, порчею. С трепетом гнева он непрерывно ощущал трепет боязни за свое собственное существование и утишал этот трепет новыми убийствами... За приступом иступления и зверства наступал период успокоения и физического ослабления. Царь как будто приходил в себя, сознавал свое безумство, смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя гнусным убийцею невинных, приказывал молиться за них, но утешался надеждой, что истинное раскаяние будет ему спасением».

«Но чем больше развивалась болезнь, тем короче становились светлые промежутки. Новгородские убийства продолжались непрерывно около шести недель и перемежались только несколькими часами в сутки... Начались галлюцинации, обманы чувств, очарование страхом и видениями. Тени убитых им бояр мечтались воображению Иоаннову среди могил новгородских, наполненных жертвами его иступления».

«Последняя фаза болезни Иоанновой выразилась тем, чем обыкновенно выражается истощение организма чрезмерным сластолюбием, а именно: малодушием, унынием, робостью в намерениях и сознанием явного ослабления физических и нравственных сил. Иоанн, всегда твердый в делах внешней политики и гордый постоянными успехами в ней, не постыдился, отправляя послов к Стефану Баторию, велел им «не только быть смиренными, кроткими в переговорах, но даже терпеть и побои» (Душевная болезнь царя Ивана IV Васильевича Грозного. Приложение к книге «История первых медицинских школ в России». СПб., 1883. С. LV—LX).

20. Е. А. Белов (1886) следит за борьбой Грозного с боярством, хотя и приниженным при Иване III и Василии III, но еще настолько сильным, что в торжестве своем отчаиваться оно не могло (62). На этой исходной точке зрения Белов строит свою защиту Грозного, оправдание его жестокостей как неизбежных и необходимых, что же до эксцессов (с которыми,

конечно, и он, человек XIX века, примириться не может), то он считает их преувеличением со стороны иностранцев-современников, писавших о Грозном. См. Спорный вопрос № 11, сказанное там Беловым об опричнине.

Белов оспаривает взгляд Самарина на Ивана IV и находит, что Бестужев-Рюмин, разделяя его, впадает в противоречие с некоторыми своими частными замечаниями (126—128).

Статья Белова вызвала возражения со стороны Иловайского (см. ниже), на которые Белов отвечал в ЖМНПр., 1889, март («Ответ моим критикам»), доказывая, что Иловайский неправильно понял и по-своему истолковал его слова и заявления.

21. Д. И. Иловайский (1890) видит в Иване IV «резкий образец государя, щедро одаренного от природы умственными силами и обнаружившего недюжинные правительственные способности, но нравственно глубоко испорченного, вполне поработанного своим страстям». Сильную власть, унаследованную от предков, он превратил в орудие жестокой и нередко бессмысленной тирании. Самодержавие свелось при нем к азиатской деспотии. Он подготовил Смутное время, ослабил влечение Литовской Руси к воссоединению с Московским государством, помог делу Люблинской унии. После освобождения от татарского ига русское просвещение начало было подвигаться вперед — эпоха казней и опричнины совсем заглушила его. Деспотизм и тиранство Ивана были ярким отражением татарщины, вредно влияя на народные нравы, развивая раболепие, а не гражданское чувство (РИ, III, 330).

Еще раньше, до выхода в свет 3-го тома своей ИР, Иловайский поместил в Р. архиве, 1889, февраль (перепеч. в «Историч. Сочинениях», II, 67) заметку «Некоторые суждения о тиранстве Ивана Грозного» — оценку и (большей частью) опровержение высказанного о Грозном Соловьевым, Аксаковым, Б.-Рюминим, Ключевским и, особенно, Беловым, который «старается не только обелить Грозного, но и возвести его в великие люди, и для сего не стесняется в толковании фактов действительных и в измышлении небывалых», и под пером которого «во всех бедствиях и тиранствах виновата боярская партия, а Иван IV является невиновен и велик». Антикритика Белова (ЖМНПр, 1889, март, см. выше) вызвала новую краткую отповедь Иловайского: «Моим возражателям» (Р. архив, 1889, май, перепеч. там же, II, 77). В ней он указывает на фактические ошибки, допущенные Беловым. Статьи «Р. архива», в части, касающейся Ивана Грозного, вошли потом в примечание 54 3-го тома РИ, с. 643—647).

22. А. Н. Пыпин (1894) расценивает Грозного как личность и как государя.

1. КАК ЛИЧНОСТЬ. Пыпин с сочувствием воспроизводит характеристику Грозного, данную Конст. Аксаковым, который в характере Ивана IV указывал известную черту художественности. Пыпин признает в Грозном «желание придать известную если не поэтическую, то риторическую окраску событиям и своим речам, любовь к царственной торжественности, к высокопарному языку. Никто из московских государей прежнего времени не выступал на всенародную сцену, как Иван Грозный, никто не искал, как он, того, что можно назвать эффектом; ни у кого государственное дело не принимало такого показного вида и не облекалось в такие выдумки, как удаление в Александровскую слободу, послания к московскому народу, монашеское переодевание и т. п.; одной из таких выдумок была опричнина, и новейшие историки оправдывают ее учреждение как ловкий шахматный ход, целью которого было окончательно разбить удельную традицию и поставить боярство в прямую зависимость от царской воли. Дело в том, однако, что царский авторитет был уже так силен давно, что едва ли была надобность в театральном эффекте, и мнимая государственная польза опричнины сопровождалась известными деяниями опричников, являвшихся как бы специальными слугами царя, деяниями, которые вместе с другими однородными фактами должны были оставить самый печальный след на народном характере: на этой стороне деяний Ивана Грозного историки останавливались, к сожалению, мало. Они мало останавливались и на другой черте его характера. Среди государственных планов слишком выдается грубое и коварное себялюбие. Эта черта была уже замечена по его собственным признаниям в послании к Курбскому, когда он говорил о преследовании бояр: он мог «за себя стать», но в личном мщении совсем забывалось и христианство, на которое он постоянно ссылался, и государство, как забывалось государство и тогда, когда он собирался покинуть Россию и бежать в Англию, или когда в разговорах с иноземцами он бранил русский народ, для просвещения которого он ничего не придумал сделать, а для нравственной порчи сделал очень много» (765).

2. КАК ГОСУДАРЬ. «Новейшие историки ревностно защищают его память во имя его великой государственной заслуги: он завершил создание Московского государства, увеличил его могущество, наметил будущие задачи; но для верной оценки его собственной заслуги необходимо вспомнить предшествую-

шую историю. Мы увидим, что его личная инициатива в очень сильной степени опиралась на предыдущее, часто была только последовательным, как бы вынужденным продолжением старого, и, быть может, более внимательное изучение значительно ограничит размеры этой собственной инициативы» (763—764). «В политической жизни Московского государства, внешней и внутренней, Иван Грозный тесно связан с делами и стремлениями своих предшественников. Падение татарских царств близилось уже само собой... независимость Новгорода и Пскова подорвана была задолго до Грозного... Возвеличение власти было одной из главных забот Ивана Грозного, но и в этом отношении он только довершал давно начатое дело. Приблизительно со второй половины XV века, лет за сто до Грозного, идея Московского царства уже созревала» (766).

• Таким образом, в основании царства Иван IV исполнял завет предшественников. Он укрепил старые приобретения, закончил давно сооружавшееся здание и этим, без сомнения, сообщил большую силу государственному организму. Но мы напрасно стали бы искать в этом деле той параллели с делами Петра Великого, какая не однажды указывалась. Как бы высоко мы ни ставили заслугу Ивана IV в централизации государства, общий характер его деятельности в сущности не имеет ничего общего с реформаторским духом Петра: в то время как последний делает все усилия к тому, чтобы вывести Русское государство и русский народ из состояния умственного застоя и поставить их достойным образом в ряд просвещенных народов Европы, Иван IV стремится исключительно к охране неподвижного преданья. Петру можно было продолжать дело Ивана Грозного только в одном — во внешнем расширении государства; в остальном, в развитии умственных и культурных средств народа, Петру приходилось, напротив, разрушать то предание застоя, которое укреплял Иван IV и которое продолжали его преемники до самого конца XVII века» (774: Итоги старого Московского царства. Вестник Европы, 1894, август).

23. И. Е. Забелин (1895). Стенная роспись Кремлевского дворца после пожара 1547 г. • бытейским письмом» (притчи и аллегории в лицах), произведенная под наблюдением попа Сильвестра и вызвавшая, как известно, жестокое порицание дьяка Висковатого, наводит автора на мысль, что под просветительным руководством митр. Макария • библейская история послужила молодому государю во многом путеводным светочем. В ее повествованиях он изучал идеалы ветхозаветной царской власти, так как воцарившемуся русскому государю было необходимо

знать, как жили и как поступали древние цари, дабы устроить по их образцу и свою русскую царскую жизнь. Библейские повествования о воинских делах, в особенности в истории Иисуса Навина, должны были оставить глубокие следы и в воззрениях молодого царя на свои царские обязанности как первого воина и оборонителя своей земли. Воспитанный этими сказаниями новый царь не сомневался в своем призвании без пощады истреблять врагов, где бы они не появились: на бранном поле или в комнатах дворца. Это была истина старозаветная у всех народов древности, но в библейских сказаниях она являлась истиной религиозной и потому в сознании молодого царя получала особую святость».

Именно этими идеалами ветхозаветных сказаний о царской власти и о беспощадном истреблении врагов склонен автор объяснять последующие бесчеловечные деяния Грозного: беспощадные казни домашних врагов, свирепый разгром Новгорода в 1571 году и проч. Время Ивана IV было еще богатырской эпохой; новорожденная царская власть, нашедшая воплощение в личной воле, да еще в таком даровитом человеке, неизбежно должна была выразить себя в богатырских подвигах. «Наш Грозный царь, в сущности, был эпический богатырь, чудовищный, совсем непонятный для нашего времени и объяснимый только живыми еще в самом народе эпическими идеалами и эпическим складом понятий его века. На наши понятия это был своего рода богатырь Дон-Кихот» (Дом. быт рус. царей, I, 149—160).

24. Н. К. Михайловский, талантливый публицист (1891). Усматривая большую разногласию в суждениях об Иване Грозном, он выносит суровый приговор в их адрес. «Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайною осмотрительностью, на этом пункте (т. е. в суждениях о Грозном) делают смелые и решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а даже прямо вопреки им, умные, богатые знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными буквами по белому полю» (186—187).

Обвинение, разумеется, очень серьезное; но вызвано оно, может быть, не столько «расхождением со здравым смыслом», сколько расхождением в исходных точках зрения критика с критикуемыми им историками, в ином понимании самих фактов, подлежащих оценке того и этих.

Автор разбирается в мнениях (в наиболее главных — особенно подробно) Щербатова, Карамзина, Погодина, Полевого, **Явлинского**, Кавелина, Самарина, Хомякова, Соловьева, К. Аксакова, Костомарова, Бестужева-Рюмина, Ключевского («Боярская дума»), Белова, Ап. Майкова; останавливается на беглых замечаниях Хлебникова, Владимирского-Буданова, Дьяконова, Латкина и дает (неполное) обозрение художественной литературы, посвященной Грозному (Милюков, Мей, Аверкиев, Остювский, Федоров).

Противник апологетов Грозного, Михайловский не считает царя Ивана человеком самостоятельным, не видит никакой государственной идеи в его борьбе с удельными преданиями и олигархическими претензиями бояр (192) и относит «представление о Грозном, как противнике родового начала родовых счетов, к числу самых странных исторических фантазий» (195—196).

«Незачем говорить о какой-то перемене в характере Иоанна во вторую половину его царствования, когда ясно, что дело в перемене советников. Без советников этот человек никогда не обходился. Если Белинский говорит о „железной воле“ Иоанна или Соловьев — о высокой, не по летам, степени развития его воли и т. п., то они отдают невольную дань очень распространенному заблуждению, которое смешивает капризную волю с сильной волей. К. Аксаков совершенно прав, утверждая, что „необузданная воля и отсутствие воли — одно и то же“. Прав в значительной степени и Полевой, строящий все объяснение характера Иоанна на слабости его воли, вследствие которой он легко подчинялся самым разнообразным влияниям, легко „повиновался“, но грозно возмущался против всякого нравственного давления, когда какой-нибудь случай открывал ему глаза и он доходил до сознания своей подчиненной роли. Наставление Вассиана Топоркова не держать советников умнее или вообще сильнее себя непременно должно было прийтись по душе Грозному, потому что оно и без того бледными штрихами бессознательного чувства было начертано в самой душе Иоанна. Всякий мог хозяйничать в этой душе, но под условием, чтобы Иоанн не замечал этого, чтобы, следовательно, хозяйничающий был достаточно умен или просто ловок, хитер, пронырлив. Достойно внимания, что эту слабость воли так или иначе вынуждены признать даже те из историков, которые наиболее настаивают на самостоятельности Грозного. Так, Соловьев совершенно голословно отрицает посторонние влияния, будто бы управлявшие Иоанном, но тут же говорит о „каком-то бессилии

и непостоянстве его воли". Соловьев, пользуясь каждым случаем подчеркнуть самостоятельное и сознательное служение Иоанна идее государства, но уже по обилию фактов, с которыми ему приходится иметь дело, не могущий вовсе отрицать посторонние влияния, говорит между прочим о „женственности" характера Иоанна... Слабость воли Грозного маскировалась теми взрывами бурного и жестокого негодования, которым он предавался, когда замечал, что на него хотят иметь влияние. Ему можно было до поры до времени и с соблюдением известных предосторожностей „шептати во ухо" все, что угодно: можно было нашептать и Земский собор, и опричнину, и составление Судебника, и полную бессудность всей Руси. Но чем слабее был Иоанн внутренне, тем важнее был для него внешний ореол власти. Без сомнения, очень угодил ему и надолго обеспечил себе влияние на него тот, кто вывел его родословную от римских цезарей (может быть, это был Макарий). А Филипп, желавший сначала только „печаловаться" перед царем за невинных, погиб, и не спасли его ни высокий сан митрополита, ни святость жизни, ни высокое благородство характера. „Печаловаться" — это уже казалось Иоанну покушением на его власть. Он знал одно: жаловать своих холопей мы вольны и казнить тоже вольны. И когда нам говорят, что Иоанн спас Россию от какой-то страшной будущности, то одной невинной крови Филиппа достаточно для того, чтобы забрызгать эту страницу русской истории до невозможности прочесть на ней что-нибудь светлое и радостное» (206—207). (Иван Грозный в русской литературе, статья 1891 года. Сочинения, т. VI, 1897, столбцы 127—220).

25. Д. М. Глаголев, доктор медицины (1902). I. Икона Владимирской Божьей Матери в Даниловом монастыре (Москва) с изображением молящегося царя Грозного дает основание автору заметки видеть в этом изображении современный портрет царя, близко передающий черты его лица. Бледно-мертвенный цвет лица, скошенный рот, оттянутая вниз нижняя губа, неравномерно расширенные зрачки указывают на нервное страдание, на больного человека. «Помимо бреда величия, который еще можно объяснить высоким положением, Грозный страдал манией преследования и религиозной манией. Царь Иоанн Грозный был человек помешанный. Помешательство, как известно, не исключает целого ряда и здравых идей» (Подлинный портрет Иоанна Грозного. Р. архив, 1902, февраль, 337).

II. Как и профессор Ковалевский, Глаголев тоже признает наличность паранойи («однопредметного помешательства»). Оно выросло на почве наследственной: «Отец его был стар и мало

способен к продолжению рода. Мать его страдала болью половины головы, т. е. мигренью, и имела хроническую течь из уха. Несомненно, она внесла в кровь Рюриковичей вырождение». Тяжелые впечатления, вынесенные в ранние годы, потрясли детский организм Ивана, сделали его озлобленным, жестоким. Грозный страдал манией преследования; всюду чудится ему измена, козни бояр. Воображение получило развитие в ущерб рассудку.

Склонность к насилию и буйству; притупленность нравственного чувства; извращение полового чувства; резко выраженная склонность к резонерству — все то, чем страдал Иван Грозный и что носит название «дегенеративной психопатии» (Душевная болезнь Иоанна Грозного. Р. архив, 1902, № 7, с. 500—515).

26. Н. П. Лихачев (1903) находит, что картина психиатрических признаков, найденных Глаголевым на иконе Владимирской Божьей Матери, не более как «плод пылкого докторского воображения. Всякий, кто только знаком с иконописью XVI столетия, априори скажет, что никакой мастер не написал бы живописного царского портрета и не смог бы изобразить столько признаков психической ненормальности на лице чело-веческой фигуры не более 3—3¹/₂ вершков величиною. Измерять точки, которыми изображены на иконах мелкого письма зрачки глаз, дело безрезультатное», тем более что епископ Амфилохий, палеограф и археолог, изучавший эту икону (см. его статью «О древних иконах в Моск. Даниловом монастыре». Чтение в Моск. Общ. Любит. Дух. Проев., 1871, январь), находит в изображении «царя» лицо, лишь «по типу похожее» на Грозного, т. е. возможно, и всего вероятнее, что на иконе изображен был совсем не его портрет (197—198).

Особенно подробно анализу подверг Лихачев вторую статью Глаголева и пришел к выводу, что заключения наших психиатров о личности Грозного обоснованы еще недостаточно. Глаголев признает царя Ивана слабоумным, но именно «прогрессирующее слабоумие Грозного и есть тот спорный пункт, который психиатрам предстоит обосновать более солидным образом» (221). Приводимые Глаголевым доказательства наследственного вырождения (хроническая течь у матери из уха) не соответствуют действительности (222). Кроме того, «царь Иван Грозный человек своего века, и, обвиняя его в ненормальности, надо предварительно стать на точку зрения его современников и его самого. Иначе недоразумения могут произойти из-за каждой неясной фразы» (227). «Подозрительность Грозного и его

жестокость в значительной мере покоятся на точном знании предшествовавших событий» (229).

Ключ к выяснению поведения Грозного Лихачев ищет в религиозности царя. «Монастырский обиход от терзаний совести, еженощное сознание глубокой непростительной греховности и ежедневное торжество плоти, и притом плоти пресыщенной, ищущей новых, страшных возбудителей, — вот объяснение той легкости, даже радости, с которой царь избавился лютыми казнями от своих приближеннейших людей. Отметались орудия и источники соблазна. Постаревший царь Иван стих и сократил свои бешеные оргии».

«Иван Грозный давно уже полное достояние истории — злой от природы, склонный к издевательству над людьми, безжалостный эгоист, — он весьма мало привлекателен как нравственный образ, но как исторический деятель он приковывает и всегда будет приковывать внимание исследователя. По воспитанию, перенесенным потрясениям, необыкновенно бурной жизни царь Иван не мог не быть человеком глубоко расстроенным в нервном отношении. Но то, что он был от природы слабоумен и всю жизнь действовал под чужими влияниями, — это еще надо доказать более убедительно, чем это сделано до сих пор» (232. Дело о приезде Антония Поссевина. Летопись занятий Археогр. Комиссии, вып. XI, СПб., 1903).

27. В. О. Ключевский (1906).

1. ИВАН-ЧЕЛОВЕК. «От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых протекло детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие... Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось и всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенности, одиночества, о чем он твердил при всяком случае: «родственники мои не заботились обо мне». Отсюда его робость, ставшая основной чертой его характера. Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с годами превратилась в глубокое недоверие к людям».

«Безобразные сцены боярского своеволия и насилий, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с годами развилась склонность преувеличивать опасность, образовалось то, что называется страхом с великими

лазами. Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе печальную склонность высматривать, как плетется вокруг него >есконечная сеть козней, которою, чудилось ему, стараются путать его со всех сторон. Это заставляло его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла на него бродит недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. Все сильнее работал в нем инстинкт самосохранения. Все усилия его бойкого ума были потрачены на разработку этого •рубого чувства».

«Ранняя привычка к тревожному уединенному размышлению про себя, втихомолку, надорвала мысль Ивана, развила в нем болезненную впечатлительность и возбуждаемость. Иван >ано потерял равновесие своих духовных сил, умение направлять их, когда нужно, разделять их работу или сдерживать одну противодействием другой, рано привык вводить в деятельность ума участие чувства. О чем бы он ни размышлял, он подгонял, подзадоривал свою мысль страстью».

Он был нравственно неровен; высокие подъемы духа чередовались с самыми постыдными падениями. Этим чередованием объясняется и государственная деятельность Ивана. «Царь совершил или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал еще больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и отвращения для современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа, безобразия с опричниками в Москве и в Александровской слободе — читая обо всем этом, подумаешь, что это был зверь от природы». А между тем он не был таковым, но лишенный устойчивого нравственного равновесия царь Иван при малейшем житейском затруднении «охотнее склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно можно было ожидать грубой выходки, он не умел сладить с малейшим неприятным случаем».

2. ИВАН-ГОСУДАРЬ. В противоположность Карамзину, Погодину, Костомарову и Иловайскому, Ключевский не отказывает Ивану в положительных заслугах перед государством, но удельный вес этих заслуг считает довольно ничтожным.

• Политическое значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь больше задумал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих

современников, чем на современный ему государственный порядок. Жизнь Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него, и ровнее, чем она шла при нем и после него, важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены».

«Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец. Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка. Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана, — одно из прекраснейших по началу, — по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени. Вражде и произволу царь жертвовал и собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели» (РИ, II, лекция XXX).

28. Б. Р. Виппер (1922). В его оценке Иван — человек неразрывно сливается с Иваном — государем. «В ответном письме к Курбскому сказался весь Грозный: умный, талантливый, человек кипучей энергии, но без чувства меры. Какие отчеканенные выражения о власти! какая ясность политической мысли! какая уверенность в своем монархическом призвании! — и как все это беспорядочно загромождено ненужными историческими ссылками, кучей бесполезных имен народов и императоров! сколько лишнего, сколько повторений! какой переизбыток бранных эпитетов, неправдоподобных обвинений! Перед нами встает во весь рост могучая фигура повелителя народов»: русским государством изначала владеют русские самодержцы, отнюдь не бояре, не вельможи, тем более не духовные лица, не Сильвестр и те, кто с ним!

«В годы вынужденного бездействия и подчиненности у него сложилась целая теория в осуждении господства священников как строя неразумного, неизбежно несущего государству гибель, потому что „попы“ невежи», т. е. несведущи в государственных делах. Теория обставлена множеством исторических примеров.

Самый недавний — падение Византии, ослабевшей под влиянием церкви. В истории Израиля счастливы те времена, когда духовная и светская власть были разделены; бедствия немедленно наступили, „егда Илия жрец взя на ся священство и царство“. Распадение Римской империи — результат того, что в одном лице соединились две власти. Вывод ясен: „не подобает священником царская творити“».

«Мысли, высказанные в письме, глубоко обдуманы и выстраданы. Способный и восприимчивый ученик Макария, Иван IV незаметно покорился воздействию духовенства, благодарный тем, кто освободил его от засилья Шуйских. Но в той самой литературе, в которую его посвятили учителя, он нашел полемику против теократии и доказательство в пользу „самодержавства“ мощной и передовой светской власти; увлекшая его новая теория постепенно слилась с нарастающим чувством своего великого жизненного назначения, с раздражением против тех, кто связал его по рукам и ногам, кто не давал его таланту найти себе приложение. Развитие ума и воли Грозного вообще запоздало и замедлилось: тем сильнее, тем увереннее выражает он потом свои новые убеждения».

«И никогда не находит он равновесия, спокойной середины: чувства переливаются через край, страсть бьет пеной, „кротость“ обращается в безграничное слепое доверие, „ярость“ — в бешеную злобу. Он не просто отставляет Сильвестра и Адашева, а желает им зла и гибели, он не ограничивается обвинением их в превышении власти, в раздаче царских сокровищ, а приписывает им „бесовские“ умыслы. Таков Грозный во всем: не только в преследовании умалителей царской власти, изменников и нерадивых, но и в своих фантазиях, в своих бурных потехах, в игре с монастырским обычаем, в шутовском пародировании самой царской власти» (52—53). «В его богато одаренной натуре уживались, вернее сказать, бурно сталкивались очень противоречивые качества, чувства и понятия» (78).

«Среди московской дипломатической школы в качестве первоклассного таланта выделяется сам Иван IV. Международные дела он считал своей настоящей сферой; в этой области он чувствовал себя выше всех соперников. Недаром Грозный любил выступать лично в дипломатических переговорах, давать иностранным послам длиннейшие аудиенции, засыпать их учеными ссылками, завязывать с ними споры, задавать им трудные или неожиданные вопросы; он чувствовал себя в таких случаях настоящим артистом по призванию. В смысле непосредственного ведения иностранной политики вплоть до выступления в

качестве оратора и полемиста Иван IV занимает единственное место среди государей того времени».

«В политическом таланте Грозного замечаются, однако, те самые шероховатости и излишества, которые видны и в его литературной манере, в развлечениях его повседневной жизни: неуравновешенная натура легко увлекает его к резкостям, к заносчивости. Он никогда не может отказать себе в удовольствии посмеяться над корреспондентом, отметить злым словечком какую-нибудь слабую сторону его. Ирония московских дипломатов обращается у него в дерзкие нападки. Отсюда совсем уже не дипломатичные, иногда бестактные его выходки по отношению к государям второстепенным или пользовавшимся ограниченной властью»: он удивляется, почему Сигизмунд III назвал шведского короля «братом», когда дом Вазы происходит от водовоза, он отказывается в этом титуле и датскому королю; английской королеве бесцеремонно заявляет: государством своим не ты владеешь, а «мужики торговые», корит Стефана Батория тем, что он выбран на королевство «мятежом человеческим» (77, 95).

«Его сама судьба наделила исключительными данными выдающегося правителя и воителя. Его вина или несчастье состояли в том, что, поставивши громадную цель превращения полуазиатской Москвы в европейскую державу, он не мог вовремя остановиться перед возрастающим врагом, что он растратил и бросил в бездну истребления одну из величайших империй мировой истории. Опять-таки оправданием или объяснением этой невольной трагедии может служить его личная судьба, так же, как он быстро исчерпал средства державы, он вымотал свой могучий организм, истратил свои таланты, свою нервную энергию» (105).

«Если бы Иван IV умер в 1556 году, историческая память присвоила бы ему имя великого завоевателя, подобного Александру Македонскому. Вина утраты покоренного им Прибалтийского края пала бы тогда на его преемников; ведь и Александра только преждевременная смерть избавила от прямой встречи с неминуемой гибелью и распадением созданной им империи. Грозному также простили бы его опричнину и казни, как прощаются Александру злые убийства сподвижников, причуды и бред величия. Несчастье Ивана IV в том, что ему пришлось пережить слишком ранние свои успехи; слава его как завоевателя померкла, дипломатические и организаторские таланты его забылись, он попал в другую историческую рубрику под титул „тиранов“, присоединился к обществу Калигулы,

Нерона, Людовика XI и Христиана II, в проблеме его личности психиатрические мотивы выступили чуть ли не на первое место» (106).

• Исторический приговор об Иване Грозном во всяком случае не должен быть строже, чем о Петре I, принимая во внимание, что условия, окружавшие московского царя XVI в., были несравненно более тяжелыми. И уж если осуждать Грозного, то придется поставить ему в вину или самую идею войны, или, по крайней мере, то, что он не смог вовремя бросить неудавшееся предприятие, что он сокрушал в Ливонии лучшие силы своей державы. Но чем больше мы будем настаивать на обвинениях такого рода, тем дальше бы уйдем от характеристики Ивана IV как капризного тирана. Если Грозный заблуждался относительно возможности приобретения Балтийского побережья, то во всяком случае не легкомыслием и не прихотью веет от железной настойчивости, с какой он ведет борьбу, отправляет год за годом в бой свои военные громады и запасы, пускает в ход свое административное и торгово-политическое искусство, действует угрозой и лаской, неотступно и на десятки ладов на население вновь приобретенной колонии, старается привлечь иностранцев, усилить энергию русских промышленников» (Иван Грозный. 1922. С. 111—112).

29. С. Ф. Платонов (1924). Автор отказывается дать «цельную характеристику Грозного», воссоздать его законченный образ, не веря, «чтобы это сделать было вообще возможно» — он с особою силою подчеркивает и развивает главную свою мысль: Личность Грозного сама по себе, а основной ход событий сам по себе: как события эти сложились еще до Ивана IV, так в том же направлении и духе продолжали они развиваться и теперь. И начало, и конец царствования Грозного характеризуются одними и теми же чертами.

«Вокруг Грозного менялись лица и могли меняться их влияния, сам Грозный мог жить добродетельно или порочно, — все равно свойства московской политики оставались при нем одинаковыми. Это была политика большого размаха, отмеченная всегда отважным почином, широтою замыслов и энергией выполнения задуманных мер. Очевидно, что эти черты вносились в жизнь самим Грозным; они не приходили с Сильвестром и не уходили с Басмановым и Малютой Скуратовым. И Грозный во втором периоде своих реформ, в опричинской ломке аграрно-классового строя, совершенно тот же, как и в первом периоде церковно-земских преобразований. Он — крупная политическая сила».

«Теперь нет ни малейшего сомнения в том, что Грозный принадлежал к числу образованнейших людей своего века, получив свои знания и образовав свои умственные интересы в кружке митрополита Макария. Нет сомнения в том, что реформы 50-х годов XVI века представляли собою систему мероприятий, охвативших многие стороны московской жизни... Нет теперь спора о том, что Ливонская война Грозного была своевременным вмешательством Москвы в первостепенной важности международную войну за право пользования морскими путями Балтики. Упразднился старый взгляд на опричнину как на бессмысленную затею полоумного тирана... Обнаружилась, далее, любопытная и важная черта в деятельности московского правительства в самую мрачную и темную пору жизни Грозного — в годы его политических неудач и внутреннего террора. Это — забота об укреплении южной границы государства и заселение „дикого поля“. Под давлением многих причин правительство Грозного начало ряд согласованных мер по обороне своей южной окраины и, как всегда, проявило широкий почин — деловую энергию и умение согласовать усилия администрации с содействием земских сил. Вместо старых представлений о последних годах жизни Грозного как о времени унылого бездействия и безумной жестокости перед историками развернулась картина обычной для Грозного широкой деятельности. Наконец, выяснение причин и проявлений социального кризиса, вызвавшего опустошение московского центра к 80-м годам XVI века, сняло лично с Грозного обвинение в том, что он по своей будто бы трусости и ничтожеству дал торжествовать над собою талантливому врагу Стефану Баторию. Выяснилось, что быстро развернувшийся кризис лишил Грозного всяких средств для продолжения борьбы и что его личное воздействие на ход событий вряд ли здесь допустимо».

Разделяя основной взгляд проф. Виппера на Ивана IV и считая его книгу «не только апологией Грозного, но его апофеозом», Платонов полагает, что это «последнее слово нашей исторической литературы, навсегда устранив возможность презрительного отношения к личности Грозного, быть может, несколько перетянуло весы в другую сторону, и дальнейшая задача исследователей — найти точное равновесие между крайностями субъективных оценок» (Иван Грозный. «Обелиск». Берлин, 1924. С. 18—21).

Отказываясь дать «цельную характеристику Грозного», автор, однако, отметил несколько ярких черт, действительно характерных для нее. У царя Ивана, говорит Платонов, можно

проследить зачатки душевной болезни — мания преследования; но у Грозного «она не обратилась в определенную душевную болезнь. До конца своих дней он продолжал правильно воспринимать впечатления, хорошо понимать сложную обстановку современной политической жизни и разумно отзываться на ее запросы. Только в данном пункте он терял душевное равновесие, легко отдавался страху и подозрениям и яростно защищал себя от мнимых покушений и нападений. На этой почве выросла опричнина с ее насилиями и казнями и началось скитание царя „по странам" вместо оседлого пребывания в Москве. На этой же почве, как подмечено вообще над маньяками, выросла столь характерная для Грозного болтливость и склонность к шутке и насмешке. Грозный последних лет его деятельности не умалишенный человек, но человек, лишенный душевного спокойствия, угнетаемый страхом за самого себя и своих близких. Это одна сторона его „ненормальности". Другая, близкая к тому, что называется „сализмом", т. е. соединение жестокости с развратом. Эта черта в натуре Грозного, воспитанная его несчастным детством, к старости усилилась до чрезвычайных проявлений. Его жертвы погибали в утонченных истязаниях, и погибали сразу сотнями, доставляя тирану своеобразное удовольствие видом крови и мучений» (130).

«Однако гнусными проявлениями жестокости и цинизма не исчерпывались духовная жизнь и деятельность Грозного в эти мрачные годы. До самой смерти он хранил в себе добрые уроки времен Избранной рады, ее метод широкой постановки очередных тем управления и способность систематического выполнения их на деле. Как ни судить о личном поведении Грозного, он останется как государственный деятель и политик крупной величиной» (131).

№ 14. С КАКОЙ ПОРЫ МОЖНО НАЧИНАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ ИСТОРИЮ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ?

NB. Для разрешения этого спорного вопроса с наибольшей полнотой и отчетливостью необходимо привлечь данные, собранные в Спорных вопросах № 16, 17, 20 и 32: «Как состоялось признание Константинопольскою церковью царского титула за Иваном Грозным?», «Как сложилось московское самодержавие?», «Как сложилось представление о Москве как Третьем

Риме?» и «Как возникла автокефальность Московской митрополии?».

Спор идет о том, начинать ли историю общественного русского самосознания с Киева или с Москвы. В. А. Мякотин начинает ее с Киева, П. Н. Милюков с Москвы.

В. А. Мякотин, разбирая «Очерки» Милюкова, часть I, упрекает его в игнорировании существования веча, которое, однако, «существовало не только в Киевской Руси, но и в Ростове, Суздале и Владимире, а отголоски его слышались порой и в самой Москве». «Москва, — говорит он, — в смысле совокупности известных государственных учреждений, сложилась не на пустом месте. Государственный порядок, предшествовавший ее появлению, вовсе не ограничивался в сущности пределами южнорусских земель, но распространялся и на северо-восток, и борьба с этим порядком Москвы, возникшей на его развалинах, оставила слишком глубоко следы в дальнейшем ходе истории, чтобы можно было совсем обойти ее. Удельный период — воспользуемся уже этим не совсем точным названием — с его вечевыми собраниями и вольными слугами князей передал московской эпохе и некоторые традиции, и некоторые учреждения, причем кое-какие из них оказались довольно живучими» (Курс р. истории П. Н. Милюкова. Русское Богатство. 1896, № 11. С. 17).

П. Н. Милюков оспаривает это мнение, относя начало истории национального самосознания к концу XV века, не раньше, так как, по его мнению, элементы самосознания и критики, присущие удельно-вечевому периоду, «совершенно переродились»; социальный строй объединенных Москвою северо-восточных земель был иной, чем тогда, между тем «каждый общественный строй создает свое общественное самосознание, совершенно от него неотделимое и вместе с ним изменяющееся».

Автор «Очерков» готов даже допустить, что сам Иван III, без указания со стороны (Венеции в 1473 г. — на возможность стать наследником византийской короны; Андрея Палеолога — дважды посетившего Москву и готового продать права на это наследство), не отдал бы себе «ясного отчета во всех тех преимуществах, которые он получал в глазах Европы» от брака с Софьей. С другой стороны, в 1486 году Поппель «подсказывает» Ивану мысль о том, что русское население в Польше захочет видеть его своим государем (другими словами, подсказывает идею Зарубежной Руси). «Если москвичи забыли, что южная Русь когда-то тоже принадлежала великому князю киевскому и что последнего можно тоже рассматривать как „прародителя“,

а его владения как московскую „отчину“, то теперь император и папа должны были им об этом напомнить. Вот почему Иван, отвергнув королевский титул, так энергично ухватился за сделанные ему намеки на возможность претензии с его стороны — владеть всею Русью... В 1493 году он формально принимает титул, подсказанный историческими прецедентами и так кстати освеженный в памяти дипломатами папы и императора: титул государя всея Руси» (Очерки. Т. III, 24—26, 34—36).

Новейшее издание «Очерков» дает Мякотину В. А. повод снова вернуться к спорному вопросу:

«Начать с того, что Московское государство к концу XV века объединяло не только северо-восточные, но и северо-западные земли — в его состав входили ведь и земли новгородские. И самому же П. Н. Милюкову, когда он говорит о религиозном сознании этой поры, приходится указывать на влияния, шедшие в этой области из Новгорода в Москву. Уже одно это обстоятельство указывает, что начальный момент исследования нельзя ни ограничить русским северо-востоком, ни приурочить к концу XV столетия. С другой стороны, и на самом северо-востоке не все элементы удельного периода совершенно переродились к концу XV века, ибо и социальный строй этого последнего столетия не так уж сильно отличался от порядков предыдущего века. В частности, боярская оппозиция XV—XVI вв. была явлением, корни которого уходили в удельные порядки, и, борясь с этой оппозицией, Иван Грозный в значительной мере боролся с удельной стариной. Этому нисколько не мешало то, что в XVI в. данная оппозиция осложнилась новыми идеологическими построениями. В дальнейшем эти построения так же отошли в область прошлого, как и предшествующее им понятие „вольных слуг“, но в свое время и то и другое было моментами развития русского общественного самосознания. Нельзя, наконец, забывать и того, что в этом самосознании задолго до образования Московского государства сложилась и выросла идея если не единого русского народа, то единой русской земли, — идея, которой позже воспользовались московские политики. П. Н. Милюков оставляет этот факт в стороне. Он как будто даже склонен думать, что притязания Ивана III как на свою «отчину» на русские земли, находившиеся под властью великого князя литовского и короля польского, были внушены своего рода подсказами со стороны римского папы и случайно захватившего в Россию немца Николая Поппеля. Но, конечно, это не так! В Москве XV столетия и без всяких подсказов со стороны знали и помнили старых суздальских князей с их претензиями

владеть и распоряжаться Киевом» (Совр. Записки. Кн. 43, 1930. С. 512; рец. на «Очерки» Милюкова, т. [II]).

Москву конца XV века Милюков представляет своего рода *tabula rasa*, на которой посторонняя рука пишет, что ей угодно. Такое представление о ней отразилось и на его концепции о происхождении идеи «Москва — Третий Рим»: никто из тех, кто считает за первоначальный источник этой идеи пересадку в Москву южнославянских представлений о «Новом Царьграде», не выражал эту мысль так заостренно, утверждая, что сознательное национальное чувство пробудилось в москвичах впервые под воздействием посторонних элементов (см. Спор. вопр. № 20). Мякотин чувствует несправедливость этого взгляда, указывая на «старых суздальских князей с их претензиями владеть и распоряжаться Киевом».

№ 15. БЫЛ ЛИ КОРОНОВАН ВАСИЛИЙ III?

В одном из хронографов находится известие о короновании Василия III, по смерти его отца, на царство «Священному собранию сошедшуся и песнословиша, якоже обычай имать св. и соборная церковь еже царя поставляти Преосвященному же Симону митрополиту возложьшу на в. к. Василия Ивановича животворящий крест и порфиру, и виссон, и златую гривну, и венец Мономахов возложи на главу его и всеми царскими утварьми украси и царем его нарече и с поклонением возвеличил его и рече: благоверному и христолюбивому царю и в. к. Василию Ивановичу Московскому и всея Руси испола эти деспота».

Соловьев, нашедший это известие (т. VII, примеч. 84), поместил его в примечании, для текста же своей «Истории» не использовал. Можно поэтому думать, что на известие хронографа он не считал возможным положиться как на свидетельство, бесспорно отвечающее действительности. Против достоверности Савва, «Московские цари и византийские василевсы», 144, высказал соображения, которые можно свести к следующим пунктам:

1. «Возложил порфиру и виссон» — между тем нам известно, что облекать при венчании на царство русских государей в царскую одежду начали только с Федора Алексеевича (1676).

2. Сомнительно, чтобы венцу, возлагаемому на главу венчаемого уже к тому времени, усвоилось название Мономахова.

3. Многолетия на греческом языке («исполати эти деспота») нововенчанным московским государям не пели.

4. Иван IV официально заявлял полякам, что отец его, как и дед, не венчались (на царство).

5. В 1555 году митрополит Макарий напоминал в грамоте к виленским епископу и воеводе, что имп. Максимилиан послал Василию III (в 1514 г.) грамоту с «титлом царского наименования», хотя Василий и не был венчан.

№ 16. КАК СОСТОЯЛОСЬ ПРИЗНАНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ ЦАРСКОГО ТИТУЛА ЗА ИВАНОМ ГРОЗНЫМ?

В 1557 году, 10 лет спустя после венчания на царство, Иван Грозный обратился к константинопольскому патриарху с просьбою признать за ним право на царское достоинство. Обращение это (царская грамота) не сохранилось; мы знаем одну только ответную грамоту патриаршую (Кн. Оболенский. Соборная грамота духовенства православной Восточной церкви, утверждающая сан царя. М., 1850). Цель этого обращения объясняется различно.

1. Е. Барсов. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство. М., 1883. С. XXIII: «Услышав, вероятно, упреки со стороны Восточной иерархии в незаконности коронования, которое может совершать лишь один патриарх, и желая придать ему раз навсегда формально законный канонический характер, Иван Грозный обратился к восточным патриархам с просьбою о признании этого венчания».

2. Н. Ф. Каптерев. Характер отношений России к правосл. Востоку в XVI и XVII ст. М., 1885: «Царское венчание Грозного, совершенное митр. Макарием, имело, так сказать, только домашнее, чисто внутреннее значение и вовсе еще не определяло международного значения московского царя, — он стал царем только у себя дома и для своих только подданных. Между тем новый русский царь хотел быть царем не только московским, имеющим одно местное значение, но и единым православным Царем в целом мире, имеющим то же значение, какое ранее имели в православном мире греческие императоры; он хотел, чтобы весь православный Восток признал его прямым преемником и наследником византийских императоров, подобно им, представителем, опорю и оберегателем всего вселенского пра-

вославия». «Константинопольский патриарх со своим собором был единственным представителем поработанной греческой братии и, как глава вселенской церкви, единственным правоспособным лицом распорядиться оставшимся наследством — к нему и обращается Грозный за утверждением своего царского венчания... Благословенная патриаршая грамота на царское венчание имела в глазах Грозного особое, чрезвычайное значение. В ней он видел признание себя царем, наследником византийских императоров со стороны всего православного Востока и только после получения утвердительной грамоты от патриарха и всего константинопольского собора считал себя вправе назваться единым православным царем во всей вселенной, признанным всем Востоком за представителя и поборника всего вселенского православия» (26—28). «С этого времени все народы православного Востока стали смотреть на московского царя как на главу и представителя всего православия, как на их единственную и естественную опору и защиту, на нем опочили теперь чаяния покоренных турками народностей о возвращении себе прежней свободы и независимости» (30). Недаром в 1645 г. иерусалимский протопоп Иоанн, вместе с другими иерусалимскими священниками, писал русскому государю: «Кого имеем земным правителем над всеми православными? Истинно иного не имеем, токмо тебя, благочестивого царя» (33).

3. П. В. Знаменский в разборе книги Каптерева (30-е присуд. нагр. Уварова, 1889, 26) в самой основе оспаривает взгляд Каптерева: «Говоря о домогательстве Иоанна Грозного получить с Востока благословение на принятый им сан царя, автор вовсе не упоминает о том, что в грамоте царя, посланной по этому поводу на Восток к 1557 году, Иоанн утверждал свои права на этот сан пока лишь на том, что он покорил царства Казанское и Астраханское. Дело представлено у автора так, будто Иоанн прямо с самого же начала домогался у восточных иерархов признания за ним именно вселенского царского сана, в том самом значении, какое имел сан греческого *ῥαρχία*. (с. 27). Между тем известно, что идею о таком царском достоинстве первые стали развивать в тогдашних сношениях между Россией и Востоком сами греческие иерархи, спеша при этом, кстати, тут же подчинить нового царя своему влиянию через новое, греческое, венчание его на царство и возложить на него поскорее все выгодные для них новые обязанности в отношении к восточным церквам, связанные с достоинством вселенского царя. Отказ Иоанна от предложенного ему нового венчания при таких обстоятельствах имел едва ли не более важный смысл, чем тот, который

выставлен у г. Каптерева, объяснившего этот отказ одним только сомнением Иоанна в чистоте греческого православия» (с. 30).

4. Ф. А. Голубинский. История Русской церкви (далее: ИРЦ). II/1, 845—846: Венчанный на царство своим митрополитом, Иван Васильевич «не находил нужным искать благословения патриарха Константинопольского», к тому же он и «не надеялся получить это благословение, так как для патриарха признать русского государя царем, преемником царей константинопольских, значило как бы отказаться от надежды на восстановление греческого царства в Константинополе». Между тем в 1556 году в Москву приходил от патриарха за милостыню митрополит Евгрипский Иоасаф, и, вероятно, патриарх через него «сам предложил государю утвердить его в сан царя своею грамотой». «Не находя нужной для себя грамоты, но в то же время считая ее весьма бесполезною, Иван Васильевич по совету, как необходимо предполагать, с митрополитом, и поспешил воспользоваться предложением патриарха» и обратился в 1557 году с соответствующей грамотой к патриарху.

5. Вальденберг. Древне-рус. учения о пределах царской власти, 278—281, не давая прямого ответа на вопрос, обращает внимание на различия греческого подлинника и русского перевода, допускающие предположения о преднамеренном изменении текста с тенденциозною целью.

В подлиннике: 1. «После венчания нас просили увенчать царя Иоанна»; 2. «Мы преподаем и присуждаем господину Иоанну быть и называться царем»; 3. «Народ и все подвластное ему привыкли повиноваться благочестивому и православному царю, как началу и непоколебимому основанию...»

В переводе: 1. «Мы постановили благословить и венчать его»; 2. «Мы вознамерились, подавая и утешая царя (дать ему право) быть и именоваться законно и благостно венчанным»; 3. «Яко же и небесные силы и чины един единому повинуются, так же и земные князья в послушание бы истинно пребывали».

Разница существенная: в подлиннике патриарх санкционирует совершившийся факт, подвигнутый к тому просьбою Грозного, в переводе — почин признания принадлежит самому патриарху, причем сказанное патриархом о подданных («народ и все подвластное ему») отнесено к «земным князьям». Последнее выражение в 1562 году, когда была получена патриаршая грамота, должно было означать бояр и княжат, с которыми в ту пору Иван Грозный уже вступил в длительный конфликт.

«Таким образом, если рассматривать перевод соборной грамоты как самостоятельное литературное произведение, то можно сказать, что он весь проникнут одной вполне определенной идеей самостоятельности царской власти, причем эта самостоятельность понимается в том смысле, что царь не получает своих полномочий ни от какой другой власти, и в том, что ни один класс населения не стоит к нему ни в каких других отношениях, кроме отношения послушания» (281).

NB. Отвечая на царскую грамоту, патриарх не упустил представлявшегося ему случая открыто заявить о незаконности акта 1547 года и, кроме того, сделать попытку поставить царя в зависимость от себя. Не только митрополит Макарий (короновавший царя), но и не всякий патриарх, поучал он Грозного, могут совершать коронование на царство — это право предоставлено лишь двум патриархам: римскому и константинопольскому. Посылая теперь свою грамоту в Москву с митрополитом Евгрипским, он уполномочивал последнего, как своего экзарха, повторить коронование, от чего Иван, конечно, отказался — принять предложение патриарха значило бы признать незаконность коронования 1547 года и создать на будущие времена опасный прецедент.

ВЫВОДЫ. Один только Вальденберг оперирует над точными реальными данными, все остальные руководятся догадками, вероятностью, предположениями, иной раз прямо противоположными одно другому. Имела ли для царя патриаршая грамота какое-либо значение? Нет, никакого: она ему была не нужна, хотя и бесполезна (Гол.). Да, она ему необходима, но лишь как простая формальность (Барс). Она имела чрезвычайное значение: без нее русский царь не обладал бы в православном мире тем удельным весом, не завоевал бы себе того влияния и авторитета, каким он впоследствии пользовался среди православных народов после признания Восточной церковью акта 1547 года (Капт.).

Нельзя не видеть, что для Голубинского вся история с патриаршей грамотой лишь простой эпизод, исторический факт: подвернулся случай получить грамоту — прекрасно; а не было бы этого случая — дело и так обошлось бы хорошо. Для Барсова законность венчания тоже вне сомнений, однако он не решается отрицать законности требований и греческой стороны. В анализ переговоров Москвы с Константинополем ни тот ни другой не входят, ограничиваясь изложением одной только внешней сто-

роны фактов. Зато для Каптерева венчание на царство 1547 г. и утвердительная грамота 1561 г. — два акта, органически связанных один с другим: грамота вывела венчание из тесных рамок домашнего дела, превратила его в акт мирового (общехристианского) значения, явилась необходимым звеном в ряду других звеньев, основную точку опоры в выполнении той программы, какую имели в виду царь Иван и митрополит Макарий при короновании. Без грамоты начатое дело не было бы доведено до конца, и потому выхлопотать ее, получить благословение патриарха надо было во что бы то ни стало. Если почин принадлежал патриарху — прекрасно, значит, он шел навстречу желаниям Грозного; но если бы он оставался неподвижен — царь все равно, рано или поздно, обратился бы к нему с ходатайством. Последнего Каптерев не говорит, но такое заключение вытекает из всего сказанного им.

Наконец, исследователю предстоит решить: кто из двух церковных историков вернее понял мотивы, руководившие Грозным: домогался ли он просто признания нового титула и освящения его высшей церковной властью (Знам.), или гораздо большего — признания за собою положения вселенского государя (Капт.)? Как бы ни отвечать на этот вопрос, очевидно, правильно решить его нельзя без предварительного выяснения той исторической обстановки, в какой сложилась самая идея присвоения «великому князю» нового титула «царя».

№ 17. КАК СЛОЖИЛОСЬ МОСКОВСКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ?

По существу, вопрос этот стоит в тесной связи с вопросами: «С какой поры можно начинать непрерывную историю русского национального сознания?» (№ 14), «Как сложилось представление о Москве как Третьем Риме?» (№ 20) и «Как возникло на Руси патриаршество?» (№ 21), и без привлечения данных, указанных в этих трех «вопросах», суждение о настоящем останется неясным и неполным. Поэтому нижеприводимые данные лишены надлежащей законченности и полноты — для таковой необходимо привлечь материал и тех трех «Вопросов».

1. А. Н. Пыпин. (1885, 1894). I. Представление о государе в народных понятиях сложилось «под влиянием образцов византийских. Русский царь является полуфеодалитическим властителем и в полуцерковной обстановке: цари всегда благочестивые, употребляют много времени на церковные службы,

на посещение храмов и монастырей, на богомолье; их одеяние уподобляется церковному облачению. Народные понятия о царе и царской власти приобретают идеальный, почти фантастический характер; воля царя в уме старого русского человека ставилась рядом с волей Бога: «то ведает Бог да государь». Авторитет царя был безграничен: это замечательным образом обнаружилось, например, в Смутное время в успехе не только Лжедмитрия, но самых нелепых самозванцев, принимавших царское имя, и, что, может быть, еще замечательнее, — в том почтении, какое сохранил Петр Великий как царь в умах тех самых раскольников, которые ненавидели его нововведения и считали его самого чуть не антихристом. Что подобное представление о царской власти выработалось в тесной связи с отголосками византийских понятий — это очевидно для всякого беспристрастного наблюдателя» (Московская старина. В. Европы. 1885, январь, 285).

II. Ошибочно мнение, будто брожение старых удельных элементов представляло еще некоторую опасность тому государственному строю, что сложился к середине XVI века. Царями московские государи стали, по существу, еще с Ивана III, а если боярские интриги и разыгрались после Василия III, то потому, что на великокняжеском престоле были то женщина, то ребенок. «Трудно представить себе, в какую форму могло бы сложиться противодействие удельно-боярских элементов, чтобы повлиять на самый характер государственного строя: независимость каких-либо уделов была немыслима; удельно-боярские притязания не шли дальше придворной интриги и придворной борьбы, единственный практический протест мог заключаться только в «отъезде», т. е. бегстве, которому только случайно могло помочь то обстоятельство, что рядом была другая русская страна, хотя и под чуждой властью». Удельный сепаратизм с его эгоистическими интересами уже давно вызвал противовес в стремлении к народному и государственному объединению, и Москва вышла победительницей именно потому, что действовала во имя общего, а не частного блага, «и раз эта общая цель была поставлена, удельное начало было подорвано окончательно и навсегда: с тем содержанием, какое оно заявляло в истории, оно потеряло право на существование. Успех Москвы оправдывался исторической логикой тогдашних условий» (Итоги Московского царства. Вестник Европы. 1894, август, 761).

2. Латкин (1890). Представления о верховной власти, занесенные к нам литературными памятниками из Византии,

практического значения и влияния в удельно-вечевой период не имели и не могли иметь: «договорное начало, легшее в основу всего государственного, гражданского и общественного быта Древней Руси, служило главным препятствием этому влиянию ввиду полнейшего своего несоответствия с византийскими государственными принципами. Нужно было монгольское завоевание со всеми его последствиями в области политических и общественных отношений Древней Руси, чтоб подготовить почву для восприятия византийских идей и для известного влияния с их стороны на государственный и общественный быт России... Не будь многих других факторов, изменивших политический строй удельно-вечевой Руси и создавших власть московского великого князя, то ни Флорентийская уния, ни падение Константинополя не имели бы ни малейших политических последствий в жизни русского государства».

«Иван IV, хотя и был убежденным адептом византийских государственных теорий, но на практике далеко не осуществил их в полном объеме (как думает это Дьяконов), продолжая управлять своим государством в общем „по старине“, столь священной для всякого древнего русского. Грозный царь, несмотря на все свои теории о самодержавной власти, по-прежнему совещался с боярами, мало того, даже во время опричнины, т. е. в период наибольшего развития антагонизма между ним и боярами, предоставил думе управление земщиной, т. е. большей частью государства, требуя, чтобы дума являлась к нему с докладом только по самым важным делам, все же остальные дела разрешала бы вполне самостоятельно. Этот же Грозный царь неоднократно обращался к народу как в форме земских соборов, так и в иной форме... В общем государственный и общественный быт Московского государства далеко не был скроен по византийскому образцу и обладал многими оригинальными и самобытными чертами, являвшимися продуктом долгой исторической жизни русского народа».

«Рост политического самосознания наших предков выражался не в повторении византийских теорий, как у Иосифа Волоцкого и его последователей, а в выработке вполне самобытных политических идеалов на почве национальных и общественных отношений. Так, из анализа содержания памятников антииосифлянского направления мы можем себе составить понятие о власти государя с точки зрения их авторов. Глава государства, по их мнению, не наделен властью византийского автократора, это не какой-то бог на земле, являющийся грозным карателем еретиков и отступников от правоверия; нет, это такой же смерт-

ный, как все остальные, а потому и способный ошибаться, как все, спокойный обладать „величеством" и „высокоумной гордостью" и даже быть лишенным „дарований" вследствие „неполучения" их от Бога. Ввиду этого он управляет государством не иначе как совещаясь со своими „извечными приятелями, князи и бояры" и со „всяких чинов людьми". Таким образом, нам рисуется симпатичный образ земского царя, власть которого основывается на единении с народом, так как этот последний в лице всех своих составных элементов, начиная с бояр и князей, заседающих в думе, и кончая „всенародными человеками", созванными на Земский собор, участвуют в „благом" деле „строения земли", чтоб „государево и земское дело не стало". Очевидно, этот идеал не имеет ничего общего с византийским и вырос исключительно на почве древнерусского государственного быта, вполне гармонируя с его основными началами» (В. Л-н, рец. на книгу Дьяконова: «Власть московск. государей». Историч. вестник. 1890, февраль, 453—457).

3. В. И. Сергеевич. Русские юридич. древности, II (1893), 553: «Митрополит Иона постарался наилучшим образом обставить свое вступление на митрополичью кафедру, ему все же не удалось убедить всех в правильности своего поставления. Пафнутий, известный настоятель Боровской обители, не признал Иону митрополитом и не хотел ему подчиняться... Так были живучи в нашем обществе идеи церковной зависимости от Греции. Самостоятельность или самодержавие русских князей в церковных делах не есть продукт византийских влияний — это плод освобождения от этих влияний».

4. М. А. Дьяконов: «Впервые в новой пасхалии 1492 года Иоанн III был назван государем и самодержцем всея Руси, новым царем Константином новому граду Константина — Москве. С этих пор титул самодержца усваивается московскими государями. Никто не отрицает, что этот титул заимствован у византийских императоров, но почему-то некоторые историки не допускают мысли, что идея самодержавной власти позаимствована из того же источника. Если политические легенды, придуманные московскими публицистами в подтверждение этого позаимствования (сказания о Мономаховых регалиях, о белом клобуке и т. п.), почему-то считаются недостаточно убедительными, то едва ли можно спорить против указаний Степенной книги, где о Мономахе сказано, что он удостоился получить регалии «не от человека, но Божиим судьбам неизреченным, претворяще и преводяще славу греческого царства на российского царя» (Энци. словарь Брок. и Ефр., полут. 74, с. 840.

СПб., 1903). Ср. также предисловие к его книге: «Власть моек, государей» (1889): идея самодержавной власти позаимствована из Византии.

5. А. Е. Пресняков (в оценке книги Виппера «Иван Грозный»). «Не надо забывать, что многое, что можно связать с преданиями древнего и средневекового культурного Востока, приходило на Русь не только (а вернее сказать, и не столько) через татарско-турецкие отношения, но и в византийской переработке, как и сама Турция многое себе усвоила из византийского наследия. С Востоком связывали Московскую Русь и те элементы византийской государственности и византийской культуры, которые сами сложились на восточном корню. Наконец, обаяние грозной турецкой империи настолько сказалось и на Западе, что исследователи писаний Ивашки Пересветова имели некоторый повод искать его источники в западной литературе. Восточные влияния в русском средневековье имеют свои любопытные аналогии в культуре и общественном быту южных славян и Польши. Вопрос о них слишком резко схематизирован в изложении Р. Ю. Виппера. Из разнородных культурных элементов, воспринятых и с Запада, и с Востока, и непосредственно, и через Византию или южных славян, а также через польско-литовские и украинские связи, Московская Русь выработывала свой оригинальный исторический тип и уклад» (Эпоха Грозного в общем историческом освещении. *Анналы*, II, 1923, с. 193).

Титул царя-цесаря явился одним из выражений русского самодержавия и уже с конца XV ст. начинает постепенно входить в употребление, причем характерно, титул этот дают не только сами себе московские государи, но так величают их и государи иноземные. В. С. Иконников собрал относящиеся сюда случаи:

«Уже в договоре России с Данией 1493 г. Иван III называется „totius rutzcie Imperator". (Два посольства при Иване IV Васил. Р. вестник. 1887, № 7. С. 92); в немецкой грамоте императора Максимилиана I (1514) вел. кн. Василий Иванович именуется „Kayzer und Herscher aller Reussen», а в латинской грамоте Альбрехта Бранденбургского (1517) — „Imperator ac Dominator totius Russiae" (Пам. Дипл. Снош, II, 1433—1448). Папа Юлий III обращался к Ивану IV так: „Universorum Ruthenorum Imperatori"; английская королева Мария и супруг ее Филипп писали Ивану IV, а королева Елизавета ему же и сыну его Федору — „Imperatori totius Russiae", „The Emperor of Russia"

(писался так и сам Иван IV), в обращении же своем называла Ивана IV „Lord Emperog" (История титула государей России, А. Лакиера [ЖМНПр, 1847, ч. 56]; О значении царского титула, Д. И. Прозоровского [Изв. Арх. Общ. Т. VIII, 459—460, 463, 474—477]; Россия и Англия 1553—1593, собр. грамот, изд. Ю. В. Толстым. СПб., 1875). Федор Иванович писался иногда „Imperator" (Hist. Russ. Monum., II, 24); но Иван Грозный, постоянно ссылавшийся на свое происхождение от имп. Августа, титуловал себя также „Dominus Caesar" (там же, I, 260). Мало этого: употребление императорского титула распространяется и в обществе. См. письмо итальянца (Р. Ист. Библ. Т. VII. № 8, С. 64 и д.). На Западе принятие Иваном Грозным титула царя отождествлялось с понятием цезаря (Fiedler, Sitzungber. XI, 108—116), а Тактандер свидетельствует о распространении императорского титула между русскими (Два сватовства. Чтения М. О. ист. 1867, IV, пред., с. VIII). (Новые исследования по истории Смутного времени. Киев, 1889. С. 74—75, из Киев. Унив. Изв. 1889, № 7). Отсюда выросли, или, по крайней мере, здесь нашли свое оправдание и позднейшие притязания Лжедмитрия на титул императора.

№ 18. КАК ПОНИМАЛ ИВАН ГРОЗНЫЙ СВОЕ САМОДЕРЖАВИЕ?

1. К. Д. Кавелин (1866). «Грозный впервые формулирует царскую власть как принцип, возводит ее к единственно доступному ему, по тому времени, идеалу византийского императора; но и это кажется ему недостаточным: он производит себя от Августа Цезаря как будто для того, чтоб придать больше авторитета, прочности и силы своей власти. Откуда эти заботы? Неужели Грозному нужно было оправдывать царскую власть чужеземными идеалами и иностранным происхождением перед народом, который молил его возвратиться из Александровской слободы в Москву?» Забота, по мнению Кавелина, проистекала из сознания необходимости противопоставить незыблемость и неоспоримый авторитет царской власти элементам, пытавшимся ограничить ее. (Мысли и Заметки о русской истории. Сочинения, изд. 1897 г., I, 640. См. вышесказанное Кавелиным в «Спорных вопросах» № 13: «Иван Грозный. Суд истории»).

2. И. Н. Жданов (1875) так определяет «идеал царской власти у Грозного»: государство представлялось Ивану IV чем-то

вроде большой монастырской общины, где царь какой-то главный общеземский игумен. Отсюда и отношения государственной власти к гражданам напоминают отношения между настоятелем и братией в общежительных монастырях. Откуда выросло такое сходство?

1. «Идеальное представление государственной власти единой и верховной явилось на Руси давно. Проводником этого идеала были лица духовные или чаще монахи, которые составляли более интеллигентный слой в самом духовенстве... В русском понимании идеала государственных отношений с особенной силой должен был выразиться именно момент уничтожения, безволия и принижения личности, который составляет сущность монастырского быта. Когда московские князья длинным рядом усилий добились того, что их претензия „государствования на всей их воле" могла найти наконец широкое практическое применение, они постарались, конечно, дать этому идеалу самое широкое, преобладающее значение. Нарождался московский царизм. Ко времени Ивана IV понимание этого царизма было уже устанавлено». Иосиф Волоцкий называет московского царя наместником Бога на земле, а новгородский архиепископ Феоодосии заявляет Ивану, что Царь небесный дал ему скипетр земной власти, «по подобию небесной власти». Неудивительно, если получая такого рода внушения, Иван позволял себе говорить: «Тщуся со усердием люди на истину и на свет наставить, да познают единого истинного Бога, в Троице славимого, и от Бога данного им государя».

2. Воспитанный в обстановке вотчинно-государственных понятий и желая сам знать все государские обиходы, Грозный, человек начитанный, натолкнулся в книгах на «монастырскую мораль. Образцом доброго домостройства представлялась все та же монастырская община... Таким образом, представления об отношениях отца к детям и игумена к братии, хозяина к своим рабам и учителя к руководимым им ученикам — все это смешивалось, переплеталось и в таком виде прилагалось к вотчинному строю Московского государства. Получился своеобразный идеал верховной власти, идеал странный и пестрый, какая-то смесь монаха с тем, что зовут деловым человеком, но идеал вполне оправдывавшийся и условиями жизни, и преданиями литературными» (Сочинения, I, 150—154).

3. В. О. Ключевский (1883, 1906). «Самодержавие для него не политический порядок, а простая личная власть или голая отвлеченная идея; она не облекается у него в определенный план государственного устройства» (БД. Гл. XVII, с. 344).

• Он знает одно, что „земля правится Божиим милосердием и родителей наших благословением, а потом нами, своими государями, а не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами"... Самодержавие для Ивана не только нормальный, свыше установленный государственный порядок, но и исконный факт нашей истории, идущий из глубины веков. „Самодержавства нашего начало от святого Владимира; мы родились и выросли на царстве, своим обладаем, а не чужое похитили; русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи". Царь Иван был первый, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие: Древняя Русь не знала такого взгляда. Все его политические идеи сводятся к одному этому идеалу, к образу самодержавного царя, не управляемого ни „попами", ни „рабами". „Этой самодержавной власти Иван дает божественное происхождение и указывает ей не только политическое, но и высокое религиозно-нравственное назначение. Столь возвышенному назначению власти должны соответствовать многообразные свойства, требуемые от самодержца". „Царь — гроза не для добрых, а для злых, ибо царь не зря носит меч, а для кары злых и для ободрения добрых".

Никогда у нас до Петра Великого верховная власть в отвлеченном самосознании не поднималась до такого отчетливого, по крайней мере до такого энергетического, выражения своих задач. Но когда дело дошло до практического самоопределения, этот полет политической мысли кончился крушением. Вся философия самодержавия у царя Ивана свелась к одному простому заключению: „жаловать своих холопей мы вольны и казнить их вольны же", для подобной формулы вовсе не требовалось такого напряжения мысли. Удельные князья приходили к тому же заключению без помощи возвышенных теорией самодержавия и даже выражались почти теми же словами: „Я, князь такой-то, волен кого жалую, кого казню". Здесь и в царя Иване, как некогда в его деде, вотчинник торжествовал над государем» (Курс, II, 209—211).

4. С. Ф. Платонов. (1899). Мысль о коренной реформе отношений между царем и боярством возникла, кажется, только при Грозном. Для него • боярская политика представлялась самым решительным покушением на его власть. И он дал столь же решительный отпор этому покушению... Не одну личную или династическую опасность сулило ему боярско-княжеское своеволие и противословие: он понимал и ясно выражал, что последствия своеволия могут быть шире и сложнее». • «Подвластные» обязаны повиновением царю; кто не выполняет этой

обязанности, тот «изменник», и с такими изменниками надо бороться. «Таким образом, не только собственный интерес, но и заботы о царстве руководили Грозным. Он отстаивал не право на личный произвол, а принцип единовластия как основание государственной силы и порядка». (Очерки по истории Смуты, 137—138).

Кавелин писал почти 70 лет тому назад. В наше время предложенная им мотивировка может по справедливости показаться неправильной: она не туда метит. В самодержавии Грозный видел не средство, пригодное для практических целей, а великое наследие, преемственно доставшееся ему от предков и которое он обязан хранить нерушимым. Гипотеза Жданова не навеяна ли тем кощунственным маскарадом, какой Грозный иногда проделывал со своими опричниками, рядясь в монашескую одежду и изображая собою игумена, окруженного своею «братией»? Совпадение с монастырем, где игумен такой же полновластный хозяин, как царь в своем государстве, чисто внешнее, тем более что идеал царской власти был воспринят царем Иваном через отца и деда и потому едва ли нуждался в книжном воздействии. Расхождение между Ключевским и Платоновым коренное и всецело вытекает из различия в их понимании основных начал государственной деятельности Грозного. Царь, боровшийся «не с порядком, а с лицами», мог весьма дорожить своею властью, но она являлась его личным, не государственным делом, и он пользовался ею, поскольку того требовали его личные интересы, не внося ничего нового в государственный строй. Для Платонова, наоборот, Грозный борется с порядком; своим самодержавием он пользуется в целях коренным образом изменить существующий порядок — изменить доставшиеся ему по наследству отношения между царем и боярством.

№ 19. КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ БЫЛ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН? (ум. в 1406 г.)

Высокопреосвященный Арсений, архиепископ Псковский, в своем отзыве о книге Серебрянского «Очерки из монашеской жизни в Псковской земле». М., 1908 (Отчет о 52 присуждении нагр. гр. Уварова, 1912, 35—36), указав, что митр. Киприан

ошибочно назван сербом, замечает, что Яцимирский (Григорий Цамблак. СПб., 1904, с. 19—24), основываясь на сведениях, собранных им из разных исторических и литературных памятников, показал, что слово сербский может означать только южнославянский.

• Если не ошибаемся, — говорит архиеп. Арсений, — архим. Леонид (А. Л.-в. Киприан до восшествия на Московскую митрополию. Чтения 1867, II, с. 11—14) первый объяснил причины такого странного, на первый взгляд, свидетельства старинных русских книжников. • Киприан прибыл на Афон, — рассуждает Леонид, — в самое развитие там славяно-сербской письменности, ознакомился со всеми произведениями ее, снял верные списки с переводов, сделанных другими, трудился над этим делом и сам. Когда же впоследствии был посвящен в митрополиты единоплеменного ему народа русского, то усвоил ему плоды своих знаний и трудов. Вот чем объясняется усвоение ему сербского происхождения: на Афоне процветала тогда преимущественно славяно-сербская письменность. Болгарин Киприан, живя в сербской Афонской обители и занимаясь списыванием славяно-сербских переводов, осербился и сам по языку разговорному и книжному. Тем не менее русские историки продолжали называть Киприана сербом, и почти через двадцать лет архим. Амфилохию пришлось снова поднять этот вопрос и доказывать, что митрополит Киприан „был болгарин, а не серб, и писал, употребляя в письме правильно и неправильно юсы" (См. доклад архим. Амфилохия на III Археолог. съезде: „Что внес св. Киприан митр, из своего родного наречия и из переводов его времени в наши богослужебные книги". Труды. Т. II. С. 250)».

Между тем • многие ученые называют Киприана прямо сербом — Макарий, Буслаев, Тихонравов, Соловьев, Филарет, Ключевский, Мансветов; другие — полуболгарином, полусербом, например, Соболевский, Пырин и др.» (к этим именам архиепископ Арсений мог бы впоследствии прибавить и имя академика М. Н. Сперанского: История др.-рус. литературы. Московский период, изд. 3-е. М., 1921. С. 103: •родом серб»).

Зато Голубинский без всякого колебания признает Киприана болгаринном: его родиной был стольный город Тырново, семейство, в котором он родился, было знатное болгарское семейство Цамблаков. Он был родной дядя по отцу известного литовского митрополита Григория Цамвлака (ИРЦ, II/1. С. 297)

№ 20. КАК СЛОЖИЛОСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОСКВЕ КАК ТРЕТЬЕМ РИМЕ?

ИСТОЧНИКИ

I. Хронограф редакции 1512 года. Поли. Собр. Летописей. Т. XXI, часть 1-я. СПб., 1911.

1) Рассказав о разорении Рима Гензерихом, королем вандалов (450), назвав последующих римских царей, Хронограф замечает, что последним из них был Ромул, того же имени, что и первый царь, и добавляет в заключение:

«Сия приключишася старому Риму, наш же новый Рим, Цариград, доит и растет, крепится и омлаждается, буде же ему и до конца расти. Ей, царю, всеми царствуй!» (ПСРЛ. Т. XXI, гл. 130. С. 285).

Эти слова являются почти дословным повторением начала текста, вставленного от себя болгарским переводчиком (XIV века) греческой хроники Манассии (XII века):

«И она убо приключишуся старому Риму, наш же новый ,ариград доит и растит, крепится и омлаждается. Буди же ему и до конца расти. Ей, царю всеми царствуй, сицеваго приемшу светла и светоносца царе, великаго владыку и изряднаго победоносца, корене суца Иоанна преизящнаго царе блгаром Асене Александра глаголя прекроткаго и милостиваго и мнихолюбиваго нищим кормителе, и великого царе блгаром, его же державу солнца бесчисленаа да исчетят» (*Радченко*. Религиоз. и литер. движение в Болгарии, 23).

2) Рассуждение по поводу взятия Царьграда турками:

Царьград пал «грех наших ради»; но Господь сказал про-рокам: «Я жестоко покараю вас, отдам на иссечение врагам вашим, но если вы покаетесь и обратитесь ко Мне, то Я отпущу грехи ваши и отжену врагов ваших от лица вашего». Значит, Господь не до конца отвернулся от нас; если Он и предал нас неверным, то не ради их самих («не милую их»), а лишь в наказание нас, дабы обратить нас на путь покаяния! Он оставил нам семя: патриаршие, митрополичьи и епископские престолы, и не только одно это семя, «но и глава православные веры, иже неврежени пребывают по всем градом в священных церквах». А на Гробе Господнем в Иерусалиме Господь проявляет чудеса, устрашая неверных, питая надеждою верующих. В великую субботу из семи кандил, что над Гробом висят, Он невидимо зажигает огонь на (двух) православных кандилах, а

остальных пять «еретических же не зажигает, но сами их зажигают от того же огня, и не толь светло горят, якоже православных, аще и от того же огня».

Эти знамения окрыляют автора светлой надеждой, и он так заканчивает свое повествование:

«Православии же от сего надежду имеют, яко по доволнем наказании нашего согрешение паки всесилный Господь погребеную, яко в пепеле искру благочестие во тме злочестивых властей вождет зело и попалит Измаилт злочестивых царства, якоже терние, и просветит свет благочестия и паки восставит благочестие и царя православные. Сиа убо вся благочестиваа царствия Греческое и Болгарское, и Серпское, Басанское и Арбанаское и инии мнози грех ради наших Божиим попущением безбожнии Турки поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть, наша же Росиская земля Божиею милостию и молитвами пречистыя Богородица и всех святых чудотворец растет и младает, и возвышается, ейже, Христе милостивый, дажь расти и младети и расширяться и по окончании века» (с. 439—440, гл. 208).

II. Послание Филофея, старца Близарьева монастыря, к вел. князю Василию III. Написано в 1510 или в самом начале 1511 года (Малинин, 373). Автор указывает на необходимость устранить такого рода недостатки в церковной и частной жизни, как: неправильное знаменование крестом; содомский грех; нарушение имущественных прав церкви; вдовство новгородской епархии (кафедра ее оставалась вакантною с 1509 по 1526 год), и взывает к вел. князю во имя того высокого положения, какое предназначено его державе:

«Старого убо Рима церкви падеся от Аполлиinarieвы ереси, второго же убо Рима Костянтина града церкви агаряно не внуцы секирами и оскорды рассекоша двери ее. Сия же ныне тратяго Рима державного твоего царствия святая соборная апостольская церкви, иже в концевх вселенный в православней хрестьянстей вере во всей поднебесней паче солнца светитца, и да весть держава твоя, благочестивый царю яко вся царства православный хрестьянский веры снидошася в твое едино царствие и един ты во всей поднебесной хрестьяном святейший и благочестивый имянуешися царь. Сего ради подобает тебе, о царю, содержати царствие твое со страхом Божиим... Внемли, благочестивый царю, яко вся хрестьянская царства снидошася в твое едино царствие. Два убо Рима падоша, а третьей стоит, а четвертому не быти» (Малинин, Прил. 49—56, вторая редакция).

III. Послание Филофея к дьяку Мунехину против звездочетцев и латинян писано, вероятно, в 1524 году (Малинин, 269). Выражение: «девять десять лет (минило) како греческое царство разорися, и несозижется» не может быть принято: 90 плюс 1453 дадут 1543, между тем Мунехин умер в 1528 г. (Мал., 267). В этом послании Филофей пишет (Малинин, Прилож. 45):

«Мала некая словеса изречем о нынешнем православном царствии яресветлейшего и высокостолнейшего государя нашего иже в всей поднебесной единого хрестьяном царя и браздодржателя святых Божиих престол святые вселенские апостольские церкви, иже вместо Римской и Костантинопольской, иже есть в богоспасном граде Москве святого и славного Успения пречистыя Богородица, иже едина в вселенные паче солнца светится. Да веси, христолюбче и боголюбче, яко вся хрестиянская царства приидоша в конец, и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть Росейское царство. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

IV. Послание Филофея к «царю и великому князю Ивану Васильевичу». Малинин, 382, видит (и старается доказать) в адресате не Ивана III, а Ивана Грозного. Время написания неизвестно; речь идет также о церковных нестроениях, о крестном знамени, о содомском грехе:

Жена (церковь Христова) бежала в пустыню: «Бежание жены в пустыню от старого Рима, опресочного ради служения, понеже весь великий Рим падеся и болит неверием Аполлинариевы ереси не исцельно, в новый же Рим бежа, еже есть Костянтин град, но ни тамо покоя обрет соединения ради с латынею на осмом соборе, и отголе Костянтинопольскаяа церкви разрушися, и положиися в поправление яко овощное хранилище, и паки в третий Рим бежа, иже есть в новую великую Русию, се есть пустыня, понеже святыя веры поусти беша, и иже божествени апостоли в них не проповедаша, но последи всех просветися на них благодать Божия спасительная, его же познати истиннаго Бога, и едина ныне святая сборная апостольская церковь восточная, паче солнца в всей поднебесней светится, и един православный великий руский царь в всей поднебесной, якоже Нои вковчезе спасеныи от потопа, правя и окормяа Христову церковь и оутвержаа православную веру».

V. Представление о Константинополе как вотчине московских государей, подсказанное католическим Западом. Данные этого рода указаны в вып. 1, с. 162; их можно дополнить еще одним:

В 1575 г. имп. Максимилиан II указывает Ивану Грозному, что в случае если он вступит с ним в союз против турок, то «много великих княжеств и цесарства Греческого ото всходу солнца со всяким достоинством и честьми и волнностями... достанет» (Пам. Дипл. Снош., I, 529).

Расхождение наших историков сводится к следующему основному вопросу: идея Русского царства, Москвы — Третьего Рима зародилась ли самостоятельно в русских умах или она занесена со стороны, принята нам чужой рукою? Одни, как Каптерев, Жданов, Сперанский, Платонов, Вальденберг, зарождение и развитие идеологии Русского царства и высокого предназначения Московской державы признают, хотя и с разными оттенками, самостоятельным делом русских умов, русской жизни: с привхождением посторонних элементов или без оных. Другие, как Милюков, наоборот, подчеркивают иноземное происхождение этой идеи: непосредственное воздействие болгарской и сербской письменности. Кизеветтер придерживается того же взгляда, причем едва ли справедливо видит в исследовании Жданова опору своему мнению. Особо стоит Успенский, выдвигавший влияние Римской курии. Шахматов занят, главным образом, выяснением происхождения Хронографа 1512 года, где дана формулировка идеи Москва — Третий Рим.

Отрицать участие болгарской и сербской письменности в развитии названной идеи было бы, конечно, совершенно ошибочно, но придавать ей исключительное и — что самое главное — первичное значение было бы, думается, несправедливо. Два крупнейших события в православном славянском мире — Флорентийская уния и падение Константинополя — уже сами по себе вызвали напряженную работу в русских умах; к тому же и почва для соответствующих выводов была подготовлена всем предыдущим ростом великого княжества Московского. Но, не будучи источником первичным, мысли, сложившиеся на почве болгаро-сербской и пересаженные на русскую почву, дали ей законченную формулировку и надлежащую определенность.

Литература указана выше.

1. Ф. И. Успенский. «В Риме создавались политические планы и комбинации, в которых Москве давалось свое определенное место и назначение, гораздо прежде того времени, как великий князь Московский громко заявил о праве своем на царский титул и на константинопольское наследство и, несо-

мненно, раньше, чем в России вошла в сознание живая идея единоверности с христианским населением на Балканском полуострове, томящимся под турецким игом. Изучая историю сношений Рима с Москвой в XVI в., можно прийти к выводам о подъеме национального самосознания в русском обществе именно под влиянием широких политических перспектив, раскрываемых в Москве даровитыми дипломатами, присылаемыми из Рима и Вены» (Успенский называет Герберштейна, Шомберггов: ЖМНПр. 1884, август, 383—384).

2. Н. Ф. Каптерев. Идея третьего Рима зародилась самостоятельно в русских умах, под непосредственным впечатлением событий в Византии. «Власть великого князя московского, выросшая до значения всероссийской и, главным образом, Флорентийская уния и падение Константинополя послужили исходным пунктом, с которого началась новая русская жизнь, под влиянием указанных событий установившая определенный взгляд на свое и чужое прошлое, на свое и чужое настоящее положение, на свое будущее призвание, на свои отношения к иноверным и единоверным народам. Выработка этих взглядов всецело принадлежала русским грамотеям, книжникам, которые руководились в этом случае сильным национальным самосознанием, желанием назначить Москве самую видную и блестящую роль в среде всех других христианских народов, хотя они и понимали эту роль с точки зрения узкого, одностороннего тогдашнего московского благочестия» (Характер отношений России к правосл. Востоку. 1885, 24).

3. П. В. Знаменский к теории Третьего Рима относится скептически и готов сомневаться, «была ли она настолько распространена в свое время», чтобы можно было класть ее в основу своего исследования, как это сделал Каптерев. По поводу вышеприведенной фразы Каптерева: «выработка ее всецело принадлежала русским книжникам» (в такой редакции передает он фразу из «Характера», с. 24), Знаменский замечает: «Не осталась ли она только книжной теорией и потом? Но за недостатком прочных фактов для решения этого вопроса будем верить автору на слово, что теория эта глубоко проникла и в массу народа, была здесь всеми усвоена живо и прочно, не вполне забыта и в настоящее даже время» (Отчет о 30-м прис. наград гр. Уварова, 1889, с. 25).

4. И. Н. Жданов держится того же взгляда, что и Каптерев, но обосновывает его с большею доказательностью и вставляет его в надлежащие рамки. Он не отрицает влияния болгарской и сербской письменности, но видит в нем лишь фактор подсоб-

ный, второстепенный: им лишь воспользовались для лучшей формулировки идей, выросших на родной почве вполне самостоятельно. По поводу грамоты патриарха Антония к вел. князю Василию I (1393), с такой шепетильностью пытавшейся охранить престиж и светского, и духовного главы Второго Рима и не допускавшей, чтобы «некоторые из христиан» усвоили самим себе имя царя (см. вып. 1, с. 150), Жданов замечает: митр. Киприан «мог объяснить москвичам, как возникли и пали югославские державы; он мог рассказать о той долгой и упорной борьбе с Византией, которая проходит через историю сербов и болгар и которая воспитала в них мысль о «царстве» как выражении полной государственной самостоятельности, автократии, равноправности с греческим государством». Однако Жданов тут же замечает, что о подобной же самостоятельности думал и московский князь, когда говорил: «Церковь имеем, а царя не имеем». Жданов признает, что «патриарх догадывался, что русские вступили на ту же дорогу, по которой шли болгары и сербы; мера, принятая русским князем, его непочтительность к «кафолическому царю» могли казаться только первым шагом на этом пути, первым проявлением на Руси «произвола и насилия», для которых уже имелись примеры в деятельности «некоторых христиан».

В старомосковской публицистике, продолжает Жданов, на разные лады повторялось, что «истинное благоверие удержалось только в Москве, что Москва — Третий Рим, а московский князь — наследник власти римских императоров и т. д. В этой публицистике нужно различать ее живой исторический смысл и условную литературную оболочку. Смысл сказаний об Августе и Прусе, о византийском венце, о Третьем Риме представится нам вполне ясным, если припомнить то значение, которое получает Московское княжество при Иване III и Василии Ивановиче. Рядом с московским князем не стало на Руси таких представителей власти, которые могли бы считать себя равными ему, независимыми от него. Силы, которые стояли выше московского князя, исчезали: пала власть византийских царей, пало „иго“ Золотой Орды. Московский князь поднимался на какую-то неведомую высоту. Нарождалось в Москве что-то новое и небывалое. Книжные люди позаботились дать этому новому и небывалому определенную форму, стиль которой отвечал историческому кругозору и литературному вкусу их времени. Придавать их форме самостоятельное значение, видеть в этих сказаниях о Прусе и о Третьем Риме указание на византийское начало, вносившееся в русскую государственную жизнь, утверж-

дать, что московский князь действительно преобразовывался в „кафолического царя“, значило бы придавать слишком мало цены русским историческим преданиям, государственным и церковным. Можно ли думать, что среди русских людей откроется какое-то особенное увлечение византийскими идеалами как раз в то время, когда государственный строй, их воплощавший, терпел крушение, когда византийскому „царству“ пришлось выслушать строгий исторический приговор? Наши предки долго и пристально наблюдали процесс медленного умирания Византии. Это наблюдение могло давать уроки отрицательного значения, а не вызывать на подражание, могло возбуждать отвращение, а не увлечение. И мы видим действительно, что как раз с той поры, когда будто бы утверждаются у нас византийские идеалы, наша государственная и общественная жизнь медленно, но бесповоротно вступает на тот, действительно, новый путь, который привел к реформе Петра» (Русский былевой эпос. СПб., 1895. С. 106, 114).

5. П. Н. Милюков: «Программа для Москвы, новой наследницы Царьграда, была во всех главных чертах намечена югославянскими прецедентами. Намечена была тогда же и там же и самая идеология, пригодная для Москвы в ее новом положении. Отчаявшись в возможности победить своими силами, югославянская интеллигенция перенесла свои упования на соседних государей, до которых доходила очередь борьбы с турками после потери Балканского полуострова. Поочередно балканские поэты и политики, дипломаты и духовные лица возлагали надежды то на венгров, то на поляков. Но время шло, и эти надежды точно так же рушились, как и мечты о национальной державе. Ближайшие соседи оказывались бессильными помочь балканским славянам. Тогда-то ревностные патриоты принялись искать помощи дальше, на севере Европы... Москва должна была явиться в роли, предназначенной когда-то для стольного града Тырнова... Москву сделали „новым Царьградом“ и „Третьим Римом“, а в москвичах впервые пробудили всем этим более сознательное национальное чувство» (Очерки по истории рус. культуры, III, 38—39; юбил. изд. III, 53).

6. А. А. Кизеветтер. «В русской научно-исторической литературе, — в особенности после исследования академика Жданова — установлено с полной отчетливостью, что именно представители южнославянского книжного духовенства познакомили московское общество с тем кругом идей, из которого возникло на Руси в XV ст. учение о Москве как о „Третьем Риме“...

Еще в XIV ст. болгарин Киприан, став в Москве митрополитом, ознакомил русское общество и с образовательным, и с политическим движением, развивавшимся тогда у южных славян... Влияние югославянских литературных образцов и политических концепций продолжалось в Москве и в XV ст. И тогда именно югославянские деятели начинают выдвигать в применении к Москве идею „Третьего Рима"... Теперь нам ясно, откуда черпали свои идеи русские книжники, когда после падения Царьграда они выдвинули учение о Москве как о „Третьем Риме"... Эту идею и выразил московский митрополит Зосима в составленной им в 1492 г. «Пасхалии на восьмую тысячу лет», а «настоящим популяризатором этой идеи явился инок псковского монастыря Филофей» (Россия и южное славянство в XIV—XVII веках. Прослава на освободительную войну 1877—1878 г. София, 1929. С. 4—5. Та же мысль и в его истории Московского государства в коллективном труде: P. Milioukov, Ch. Seignobos et L. Eisenmann, Histoire de Russie. T. I (1932), p. 142.

7. М. Н. Сперанский. Указав на преобладание в летописях московского периода и в Степенной книге идеи государственной, изложив содержание повестей о белом клобуке, Вавилонском царстве, о Шапке Мономаха, о князьях Владимирских, — повестей, которые все развивают идею Московского царства, автор говорит: «Откуда же взялась самая идея Московского царства, и как она вылилась в ту форму, в которой мы видим ее в XVI веке? Возникла она, конечно, главным образом, в связи с внешними условиями политического роста Москвы, ее государственности, из сложившегося к XVI веку абсолютизма: он уже дан в жизни Московского государства и требовал лишь формулировки, чтобы стать политическим догматом... Идеи об исключительной роли Москвы и ее самодержцев в обществе формировались в значительной степени под влиянием старых литературных течений, объединяемых консервативным византийско-московским направлением»: идея Царьграда — Второго Рима проникла уже давно и стала ходячей в русской литературе. «События XV века (падение Константинополя, Флорентийская уния — с одной стороны; возвышение Москвы в качестве политического центра, ее освобождение от зависимости от Константинополя в церковном отношении, падение татарского ига, покорение Новгорода — с другой) сами толкали на тот порядок идей, какой мы видим в Москве в XV—XVI веках. В то же время можно предполагать, что сама формулировка этой идеи слагалась не без влияния югославянства, которое несло материал для этой

формулировки и самый метод обработки его в определенную литературную форму».

Выходцы с юга: митр. Киприан, Григорий Цамвлак, Пахомий Логофет *эти-то лица могли помочь нам обработать наш материал в ту типичную горделивую форму, в которую (конечно, идейно) отлились наши патриотическо-политические воззрения (История др.-рус. лит-ры, изд. 3-е, 94—97).

8. Вальденберг. «Связь учения о Руси — Третьем Риме со старыми русскими идеями о царской власти может отчасти служить материалом для решения вопроса, было ли это учение перенесено в русскую письменность извне или оно явилось выражением собственного, национального сознания». При этом автор ссылается на «противоположные мнения П. Милюкова». Очерки по ист. рус. культуры, III, 37—43, и Н. Кириллова. Третий Рим. 1914. С. 3—4 (Древнерусские учения о пределах царской власти, 272).

9. Платонов оспаривает мнение Милюкова, опираясь на Жданова (*Histoire de la Russie*. Paris, 1929. P. 195—196).

Ср. еще А. В. Соловьев. Святая Русь. Сборник Рус. Археол. Общества в королевстве СХС. Белград, 1927. Кн. I. С. 85, приведя выдержку о предсказании, что «русский род» победит Измайлта и возьмет Седмихолмный, автор добавляет: «Мы не будем касаться вопроса о том, заимствованы ли эти идеи у греков или у болгар (как указывает П. Милюков в „Очерках по истории культуры“, III). При нашем подходе к теме нам важен не вопрос о рецепции данной идеи, а о динамичности ее, о значительности ее в русском сознании (безусловно, большей, чем в болгарском)».

А. А. Шахматов. Путешествие М. Г. Мисюря Мунехина на Восток и Хронограф редакции 1512 года. Известия отд. р. яз. и слов. Имп. Акад. Наук, т. IV (1899), кн. I: послание Филофея к Мунехину написано, «по-видимому», в 1517, а к Василию III ранее 1526 года. Редакция 1512 г. Хронографа принадлежит, «вероятно», Филофею. Вот доказательства:

1. Основная идея посланий Филофея — идея о Москве — Третьем Риме. «Почти та же мысль высказана в последней главе хронографа редакции 1512 года: „Сия убо вся благочестивая царствия: Греческое (и Болгарское) и Сербское, Басанское и Арбаназское и инии мнози грех ради наших Божиим поущением безбожнии турци поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть. Наша же Российская (Русская) земля, Божию милостию и молитвами Пречистая Богородица

и всех святых чудотворец, растет и молодеет и возвышается (и распространяется)"» (214).

2. Филофей не только знаком был с Хронографом, но и в хронологии своих посланий пользовался им (214). «В послании к Мунехину читаем: „Девятьдесят лет, како греческое царство разорися и не созиждется; понеже они предаша православную греческую веру в латынство». Хронограф 1512 года определяет время отступления греков от православия (унии) 1427-м годом: „В лето 6935 в третье лето царства своего сей царь Калуюян... пойде в Рим к папе Евгению, еже обратити латынь в православную веру, и соединити церковь, и заедино стояти на туркы... И многи от православных соппротив глаголавше отоидоша, неции же прелстившаяся и веру соединиша и быша единомыслени латыном". Ниже читаем у Филофея: „Беша с нами во единстве уо лет, егда отпадоша от православный веры \\iXe лет, во аполинариеву ересь впадше, прелщени Карулом царем и папою Фармосом". Я читаю вм. VJ/O — ѱi (790), так как время отступления латинян определяется в Хронографе временем царствования Константина и матери его Ирины (ср. главу 159 Хронографа), начало же царствования их по Хронографу той редакции, на основании которой составлена редакция 1512 года, относится к 6289 году (Толст, сп.: „црство ирины и Константина в лето 6289"), откуда, за вычетом 5500 (так считал Хронограф) лет до Р. Х., следовало, что латиняне отступили от православных через 789—790 лет после Р. Х. С этого времени протекло, по словам Филофея, 735 лет, следовательно, он писал в 1525 г. после Р. Х., а после С. М. (по расчету 5500 л.) в 7025 г. или, что то же, в 1517 г. (по расчету 5508 л.). Та же цифра получится от прибавления 90 („девяьдесят лет") к 6935 (ср. выше): 7025, т. е. 1517 г.» (208—209).

О том, как слагалась идея «Москва — Третий Рим», и в частности, о Филофее как предполагаемом составителе Хронографа 1512 года см. ценную работу г-жи н. Schaefer, *Moskau das Dritte Rom*. Hamburg, 1929, особенно с. 47—59.

№ 21. КАК ВОЗНИКЛО НА РУСИ ПАТРИАРШЕСТВО?

Ответ, по существу, уже дан выше, вып. 1-й, с. 171—173. Толкования наших историков в основе, за небольшим исключением (Барсов), представляются почти тождественными:

1. С. М. Соловьев. ИР, VII, гл. IV, в конце ее, так объясняет мотивы, побуждавшие московское правительство домогаться учреждения патриаршества: еще раньше «северо-восточная Русская церковь получила на деле самостоятельность от церкви Константинопольской, хотя самое название главного пастыря ее — митрополит, обличало номинальную зависимость ее от патриарха. Взятие Константинополя турками, зависимость восточных патриархов от султана должны были возбудить в Москве желание приобрести самостоятельность совершенную; а в патриархах уничтожить сопротивление исполнению этого желания; возвышение северо-восточной Русской церкви, как самостоятельной и цветущей, требовало, по крайней мере, уравнения ее со старшими церквами, которые страдали под игом неверных, нуждались в ее помощи, в Москве возникло даже мнение, что опасно иметь единение с людьми, рабствующими неверным, мнение, против которого должен был вооружаться Максим Грек. Желание полной самостоятельности должно было еще более усилиться, когда обнаружилось враждебное движение католические, когда иезуиты главною укорю Русской церкви ставили зависимость ее от раба султанова. Необходимо было, следовательно, для Русской церкви иметь своего патриарха, выгодно было иметь его для Москвы, ибо этим наносился удар делу Витовтову. Москва брала неоспоримое преимущество пред Киевом, и глаза православных в Литве не могли не обращать к патриарху Всероссийскому».

2. Митр. Макарий. История Русской церкви. Т. X, 12, 51—53, также говорит, что мысль о патриаршестве давно уже гнездилась в умах книжных и образованных людей, «которые ясно видели высокое значение своего отечества, своего государя и своей церкви среди всего христианского православного мира»; но кроме того он указывает еще и на последствия, какими ознаменовалось учреждение патриаршества:

«Патриаршество не возвысило и не увеличило власти русского первосвященника, и, сделавшись патриархом, он остался с тою же самою властью по отношению к подведомой ему церкви, какую имел, когда был митрополитом. Но патриаршество возвысило самого русского первосвященника и Русскую церковь пред лицом всего христианства. Он взшел на такую степень, выше которой нет в православной церковной иерархии, и из подчиненного цареградскому патриарху сделался совершенно равным ему и прочим патриархам по достоинству. А Русская церковь, считавшаяся доселе только одною из митрополий

константинопольского патриарха, сделалась сама независимым патриархатом и самостоятельной отраслью церкви вселенской».

3. Свящ. П. Николаевский. Учреждение патриаршества в России. СПб., 1880, в числе мотивов выдвигает политический рост Москвы, рост национального сознания. «Падение Византийской империи и разорение Константинопольской патриархии, повлекши за собою уничтожение непосредственной зависимости Русской церкви от Константинополя, вызвали в умах русских патриотов, кроме недоверия к православию греков, другую решительную мысль о возможности и необходимости перенесения царского величия и патриаршего достоинства в Русскую землю. Мысль об этом появилась и настойчиво проводилась у нас уже с первой половины XV в.». Сами греки своими действиями косвенно поддерживали ее. «Во всех патриарших грамотах, присланных с Востока и утверждавших у нас патриаршество, бедствия восточных церквей под игом мусульманским, величие Русского царства и стойкость в нем православия выставляются главными причинами утверждения в России и царского титула, и патриаршего сана. Учение о трех царствах, изложенное в послании Филофея, буквально повторялось и в речах патриарха Иеремии, и в других письменных актах, присланных с Востока».

Патриаршество было учреждено, однако не в том виде, как этого домогалась Москва, полагавшая, что, став «Третьим Римом», Русское царство имеет право и для своего патриарха на третье же место в ряду прочих патриархов православного Востока: предоставленное ему пятое, последнее, место поэтому ее не удовлетворило (29, 34, 134).

4. Е. В. Барсов. Древнерусск. памятники свящ. венчания царей на царство. Чтения. 1883. Кн. I. С. XXVI: «Едва ли не упреки со стороны Востока в незаконности венчания на царство первого русского царя Ивана Васильевича дали понять русским, что у них недостает одного важного лица для полноты наследия греческой империи, чтобы освободиться от зависимости последней, — недостает патриарха».

5. Н. Ф. Каптерев. Характер отнош. России к Правосл. Востоку, 38 след., отказывается видеть в действиях русского правительства хитрую проделку, ловкий обман: оно вовсе не выманивало у доверчивого патриарха Иеремии согласия на учреждение патриаршества, а искренно желало, чтобы Иеремия остался в Москве — «тогда русское царство вполне бы совместило в себе прежние православные христианские царства, заключило бы в себе не только единого православного царя, но

и старейшего представителя и начальную главу всей православной церкви — вселенского патриарха; тогда Москва не только в политическом, но и в церковном отношении, безусловно, заняла бы место Византии, поистине стала бы Третьим Римом». Однако в Москве испугались мысли: «можно ли грека сделать действительным главою и управителем Русской церкви? Если русские дорожили почетным положением своей церкви в ряду других православных церквей, то они еще более дорожили чистотою и полнотою своего истинного христианского благочестия, главными представителями и единственно надежными хранителями которого они теперь, после падения Византии, считали себя». Опасение потерять свое исконное вековое благочестие привело к компромиссу: Иеремию посадить во Владимире, как титулярного патриарха, окружить его всеми почестями и преимуществами вселенского патриарха, но фактически держать в стороне, передав управление русской церковью в руки наместника из русских иерархов. Иеремия отказался от такой комбинации, и «русские предпочли иметь у себя патриарха, хотя и не вселенского, но зато русского, воспитанного в русском благочестии и неизменно преданного ему».

6. П. В. Знаменский. Отчет о 30-м присуждении наград гр. Уварова, 1889, с. 27, полемизируя с Каптеревым, полагает, что патриаршество выросло далеко не из одного только дальнейшего развития идеи Третьего Рима; Каптерев, указывает он, не принял во внимание и другой стороны — «национального стремления России к устроению у себя своей самостоятельной независимой церкви» — стремления, начавшегося задолго до возвышения Москвы. «При возвышении Русского государства это стремление должно было завершиться учреждением особого русского патриаршества, надобно думать, даже и в том случае, если бы цел остался и Второй Рим, — явились же особые патриаршества у болгар и сербов».

7. К. Н. Бестужев-Рюмин. Обзор события. ЖМНПр. 1887, июль, 79. «Учреждение патриаршества было естественным последствием царского венчания и главной мысли того века, что Русское царство — единственное независимое православное царство — должно заменить собою погибшую Византийскую империю. Собственно, еще со времени избрания в митрополиты св. Ионы на место Исидора митрополиты московские избирались и оставались в Москве без поездки в Царьград. Но в Москве не довольствовались тем, что митрополит был на деле независим: стремились к тому, чтоб он был независим и по праву и чтоб

эта независимость скрепилась новым титулом, который соответствовал бы достоинству нового царства».

8. Д. И. Иловайский. ИР, III, 345, в указании мотивов идет вслед за Соловьевым, пополняя их лишь указанием на то, что «Москва считала себя Третьим Римом, в чистоте сохранившим древнее православие, и, естественно, желала, чтобы ее архипастырю было присвоено звание, равное старейшим греческим иерархам».

9. С. Ф. Платонов. Борис Годунов (1921), 60: «Уже при Грозном созрела мысль, что раз московский государь заступил для всего „православия“ место греческого царя, он должен был иметь при себе и патриарха, как имел его и византийский император. По словам проф. Шпакова, „цветущее состояние и высокое положение нашей церкви, ее отношения к константинопольскому патриарху — делали учреждение патриаршества неизбежным“. Действительно, „все вершины московского общества мечтали об установлении в Москве патриаршего сана. К этому вел идеал единого православного христианского царства, который был создан в Византии и требовал, чтобы честь царская и патриаршая стояли вместе и неразлучно, помогая одна другой“».

Сочинение проф. Шпакова об учреждении патриаршества (Одесса, 1910—1912) осталось нам недоступным.

№ 22. КОГДА И КАК ПРОИЗОШЛО ПРИКРЕПЛЕНИЕ КРЕСТЬЯН К ЗЕМЛЕ?

Вопрос о прикреплении тяглого населения, крестьян, живших на владельческих землях, — о том, как совершился процесс превращения их из свободных в несвободных, к какому времени следует приурочить момент прикрепления, — все еще остается научно недостаточно выясненным, и, в частности, по вопросу кто или что прикрепило крестьян даются и поныне неодинаковые ответы.

1. Вплоть до середины XIX столетия господствовало мнение Татищева: основываясь на тексте указа 24 ноября 1597 г. (он сам открыл его в дополнениях к царскому Судебнику), Татищев утверждал, что крестьяне прикреплены были правительственной властью, именно указом 1592 года. Его мнение о решающем значении в этом деле правительственной власти разделили Карамзин, Беляев, Чичерин, Костомаров.

2. Погодин (1858) занял иную позицию: он отрицал существование указа 1592 г. и даже более: отрицал вообще участие правительства. По его мнению, крестьян прикрепил сама жизнь: закрепощение «образовалось само собой, вытекая из обстоятельств народной жизни».

3. Среднее положение занял Конст. Аксаков (1859): он признавал, что некоторые разряды крестьян были прикреплены еще до 1592 г., зато другие оставались свободными даже и после 1597 года.

4. Несколько особняком стоит мнение Энгельмана (1884): хотя он примыкает к татищевской группе и признает воздействие правительственное, но не в форме единовременного распоряжения, а в форме частных распоряжений, которые постепенно, но неуклонно, из года в год, вели и привели к полному закрепощению крестьянина.

5. Мысль Погодина получила дальнейшее развитие в трудах Ключевского (1885 и след.), Владимирского-Буданова, Дьяконова, Лаппо-Данилевского, Михайлова и др.: крестьянская задолженность (взятая ссуда) свела крестьянина на положение кабального холопа (Ключевский, Дьяконов); продолжительное сидение делало его «старожильцем», приучало видеть в нем человека, который уже не может передвигаться и должен сидеть на месте (Владимирский-Буданов). К тому же старожильство было не одно только вынужденное, но и добровольное, как и то, оно также, в силу давности времени, вело к прикреплению (Михайлов).

6. Первоначальный взгляд на решающую роль правительства продолжал и после Ключевского находить себе последователей, и притом очень авторитетных. Сергеевич, вслед за Татищевым, Карамзиным и Костомаровым, утверждал, что прикрепление крестьян (крепостное право) создано правительственным указом, только указ этот он относил не к 1592 году, а на 7—8 лет ранее: к первому или второму году царствования Федора Ивановича (1584—1585). Расходился Сергеевич с Ключевским и Дьяконовым также и во взгляде на ссуду: те двое видели в ней обязательство, которое вело крестьянина к кабальному холопству; по Сергеевичу же, ссуда не есть долг: юридически она отнюдь не могла помешать уходу крестьянина; но последний, конечно, хорошо знал, что с его уходом владелец получал право искать на нем эту ссуду по суду.

7. Взгляд Сергеевича на ссуду разделял и Владимирский-Буданов; но по основному вопросу он примыкал к тезису Погодина. Ссуда, говорит он, разумеется, затрудняла выход; крес-

тьянин, не будучи в состоянии воспользоваться правом перехода в течение долгого времени, «становился историческим и терял это право навсегда». Эта-то давность (*старожильство») и привела к прикреплению. Иные старожильцы живут на землях одного владельца 15, 20, 50, даже 100 лет. Вообще, «мысль о бродячем характере сельского населения в Древней Руси есть крупное заблуждение». К тому же еще вопрос: «были ли побуждения у крестьян в более раннюю эпоху дорожить особенно правом перехода»? В большинстве, конечно, нет. Никакие иные права, кроме этого, не терялись у старожильца: он был такой же свободный гражданин, как и всякий другой. Сверх того он дорожит насиженным отеческим гнездом и вековой связью с родом владельца и землей. Владельцы иногда жаловали заслуженным крестьянам целые деревни. На обширных вотчинах сильных владельцев крестьяне составляли такие же самоуправляющиеся общины, как и в черных волостях, распоряжаясь сами раздачей земель; сверх того, от податных тягостей государственных они закрывались могущественною защитой сильных бояр и монастырей. Дело весьма изменилось в XVI в., когда, с наделением дворян землей, главным типом землевладения сделалась не боярская, а мелкая дворянская вотчина и поместье. К тому же времени относится огромная масса новооснованных мелких монастырей» (Обзор, 145). Так «путем давности устанавливается прикреплению при отсутствии общего закона о прикреплении». Указ 1597 г. есть общий закон о давности исков — не больше; и лишь Уложение 1649 г. стало общим законом о прикреплении.

Таким образом, погодинский тезис в дальнейшем развитии выразился в двух направлениях, существенно отличных одно от другого в понимании основных причин юридического прикреплении крестьян.

1. Задолженность, обязательства частного-правового характера не позволяли крестьянину покинуть землю и свели его с положения свободного на положение кабального холопа (Ключевский, Лаппо-Данилевский).

2. Старожильство, время превратили действительный факт в факт юридический (Владимирский-Буданов, Михайлов).

3. Несколько особняком стоит мнение Дьяконова. Он признает старожильство видным фактором прикреплении: «крестьяне, лишенные возможности воспользоваться правом перехода, стали рассматриваться как утратившие это право в силу давности, или старины»; старожильцев он называет «первыми нашими крепостными крестьянами» (см. ниже); при всем том

он сильно подчеркивает значение задолженности, говоря, что

- старожильство само по себе не было основанием крестьянского прикрепления».

Платонов, не отрицая значения реальных экономических факторов, игравших известную роль в прикреплении тяглого крестьянина (Очерки, Лекции), однако в понимании основного процесса ближе стоит к старой, татищевской точке зрения («Борис Годунов»). «Еще при Грозном, — говорит он в этом последнем труде, — Московская власть сочла необходимым вмешаться в „крестьянскую возку“: Грозный дал какое-то, точно нам неизвестное „уложение“ против вывоза крестьян и установил „заповедные лета“, в течение которых был запрещен вывоз и выход крестьян и посадских тяглецов. Какой срок (или какие сроки) разумело „уложение“ Грозного, неизвестно. Оно действовало в 1584 году... Установленное при Грозном ограничительное „уложение“ признавалось временным („до нашего указа“), но было длительным и простирало свою силу на целый ряд лет... Правительство Бориса, стало быть, наследовало от Грозного его ограничительные меры и продлило их действие; но вместе с тем оно внесло в них и некоторые новости. В 1597 году последовал знаменитый указ об установлении пятилетней давности для исков на „выбежавших“ крестьян... Установление давности, очевидно, смягчало применение меры, установившей „заповедные лета“... В 1601 и 1602 годах последовали новые указы в ограничение, по-видимому, тех же „заповедных лет“. Царь Борис... дал разрешение на выход... Впрочем, эта льгота дана была не непосредственно крестьянам, а их землевладельцам» (мелкопоместным)... «Смягчение „заповедных лет“ получилось неполное: жалуя крестьян „от налога и от продаж“ восстановлением выхода, царь Борис стремился явно не к свободе крестьянского передвижения, а к удобству и выгодам поместного служилого класса, обеспечивая его от покушений на закрепленный за ним крестьянский труд со стороны крупных и сильных землевладельцев, а также и от бродяжничества самих крестьян» (76—78).

Разбирая последнюю книгу Платонова, Гейман говорит:

«Легко усмотреть, что приведенная конструкция акад. Платонова, порывая с путями, почти общепризнанными за последнее время в исторической науке, возвращается, в сущности своей, к старой теории об указном прикреплении крестьян. Но плохо обоснованная ее последователями и потому представлявшаяся произвольной теория эта получает в новом освещении акад. Платонова совершенно неожиданную убедительность. Вскрывая процесс закрепощения крестьян путем привлечения

данных о заповедных летах, акад. Платонов дает, наконец, вполне приемлемое объяснение доставившему ученым столько хлопот термину „беглый" и подводит твердое основание под также до сего времени не совсем ясные указы 1601 и 1602 годов».

Слабая сторона платоновской конструкции — недостаточность материала, находящегося в нашем распоряжении, о заповедных летах; «вся картина сложена автором из осколков, иногда даже только из одних намеков», а «потому нет уверенности в прочности ее». Между тем работы Дьяконова о «заповедных летах» дают основание видеть в ограничительном указе Ивана Грозного меру не общегосударственного значения, а лишь местного, что «заповедные лета» применялись не на всей территории Московского государства, а только в северных и северо-западных областях.

«Увлекательная гипотеза, выставленная акад. Платоновым, должна будет претвориться в неоспоримый исторический факт или, наоборот, поблекнуть, в зависимости от дальнейших находок и опубликования касающихся этой гипотезы материалов» (Новое освещение вопроса о прикреплении крестьян. Р. историч. журнал, кн. 8-я, 1922, 292, 294).

В. Пичета: указом 24 ноября 1597 г. «устанавливалась пятилетняя давность для исков о беглых крестьянах. Не внося ничего нового в юридическое положение крестьянина, указ 1597 года, гарантируя свободу давнишним беглецам и регулируя судопроизводство о беглых, давал возможность владельцу судом искать своего крестьянина. Впрочем, большого практического значения указ не имел. Бегство крестьян на окраины и земли крупных землевладельцев продолжалось по-прежнему. Параллельно этому усиливался своз крестьян, столь губительный для среднего и мелкого землевладения» (Смутное время в Моск. Гос-ве. М., 1913. С. 57).

Ю. В. Готье. «Вторая половина XVI столетия очень бедна правительственными распоряжениями касательно крестьян. С царского Судебника до 90-х годов нам доселе неизвестно никаких общих указов о крестьянах. Только 24 ноября 1597 года был издан указ, значение которого, несмотря на критику, которой он подвергался в специальной литературе, остается очень важным... В указе этом только устанавливается 5-летний

¹ См. его: 1) «Заповедные лета» и «старина». Сборник статей, посвящ. М. Ф. Владимирскому-Буданову; 2) О заповедных летах. Истор. Обзорение. Т. XVI, 3) Заповедные и выходные лета. Известия Петроград, политех, института. 1915. Т. XXIV.

срок для сыска беглых крестьян; на первый взгляд, это немного: указ не устанавливает, как многие думали раньше, крепостного права; но при ближайшем рассмотрении значение его растет, потому что это первый указ, который регламентирует уже существующее и развивающееся из зародыша крепостное право. Задолженность крестьянина-земледелца тому, на чьей земле он сидел, уже успела обратиться в хронический недуг. Правительственное стеснение крестьянского перехода, проведенное еще судебниками, сделалось в значительной мере анахронизмом, потому что переходы, как нормальное явление крестьянской жизни, уже исчезли. Их место на практике заступал самовольный выход крестьянина без расчета с землевладельцем — выход, который постепенно получал по существу дела вполне подходящее название побега: уход с нарушением долговых обязательств — побег; крестьянин, ушедший не уплатив долга, — беглый; вот к чему приходило сознание людей конца XVI в. Указ 1597 г. — ясное свидетельство того, что взгляд этот нашел себе отголосок и в законодательстве. Так, к исходу столетия тихо и незаметно суживается крестьянская свобода, и неисправный должник превращается в беглого, подлежащего водворению на старое место совершенно независимо от вопроса о погашении долга» (Очерк истории землевладения в России. Сергиев Посад, 1915. С. 73—74).

Так обстоит дело по настоящее время. Погодинский тезис является преобладающим в ученой литературе; он завоевал себе значительное число сторонников; однако и старый, татищевский, взгляд не уступает своих позиций, отказавшись от 1592 года \ приняв многие из данных, раскрытых и указанных по-

¹ Сергеевич, сторонник старого взгляда, идет даже дальше Татищева: прикрепление крестьян он считает возможным относить ко времени еще более раннему, именно «к первому или второму году царствования Федора Ивановича», полагая, что «уже в 1585—1586 году можно было бить челом о возвращении беглых крестьян». См. оценку этой гипотезы, сделанную С. А. Котляревским: *Формально-юридическое истолкование исторических событий, особенно опасное в применении к прошлому России, «где так много определялось бытом и так мало юридической рефлексией», обусловило «основную психологическую ошибку» Сергеевича, который «постоянно переносит в эпохи, о которых говорят его «Русск. юрид. древ.», стремление к юридической точности, присущей современному государству и обществу. От него как-то ускользает постепенность в нарастании обычных норм. Нет в этом смысле ничего более характерного, чем тщетные поиски Сергеевича отыскать потерянный акт, устанавливающий закрепощение крестьян» (Историзм и юридич. образование. Сборник статей в честь М. К. Любавского. СПб., 1917. С. 44—45.)*

следователями погодинской теории, он все же решающее значение в ходе событий признает не за «жизнью», а за «правительственной властью». Вот почему следует предупредить, что попытка в нижеследующих строках хронологически проследить процесс закрепления крестьян может в некоторых частях своих все еще вызвать возражения.

I. 1550 г. Царский Судебник еще признает за крестьянином полную свободу передвижения: «А крестьяном отказыватися из волости в волость и из села в село один срок в году — за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего» (ст. 88-я); иными словами: сам по себе ты свободен; переходи, куда хочешь, но не оставляй хозяина земли, не давай ему закончить полевых работ; и если уж сел на землю, хотя бы только на год, т. е. если принял на себя известные обязательства, — а таковые определялись годовым севооборотом, — то предварительно выполни их. Осенний Юрьев день — 26 ноября.

II. 1550—1597 гг. За это время:

1. Военные нужды (государственная оборона страны на западных, южных и восточных границах) вызвали чрезвычайно быстрое развитие поместной системы, т. е. обеспечение служилого класса землей и крестьянским трудом. В этом обстоятельстве следует видеть основную причину того, что крепость крестьян к земле в глазах правительственной власти стала явлением желательным, которое следует поощрять, а то и прямо регламентировать законом.

2. Опричнина с ее земельной перетасовкой выбросила значительную часть крестьянства из обычной колеи, побудила земледельца бежать на окраины, искать свободных земель.

3. Это «искание», зачастую сводившееся к простому бродяжеству, шло вразрез с тенденцией, вложенной в поместную систему, и должно было побудить правительство изыскивать меры для предотвращения его.

4. Одною из мер прикрепления явились в последние годы Ивана Грозного т. н. «заповедные лета»: выход и вывоз крестьян временно стал запрещаться. Фактически, однако, временная мера по длительности своей стала превращаться (не *de jure*, но *de facto*) в постоянную. «Крестьянский выход и правила о нем Судебника так и умерли без законодательной их отмены» (Дьяконов). Распространялись ли «заповедные лета» на все государство, как думают одни (Дьяконов), или только на известную часть его, носили местный характер, как думают другие (Михайлов), — в том и другом случае это была первая

(пускай юридически временная) приостановка закона 1550 года о Юрьеве дне.

5. Одновременно с давлением правительственным на закрепление крестьян оказывала давление сама жизнь, экономическое положение крестьянства: задолженность крестьян фактически прикрепляла их землевладельцу, без какого-либо участия и внешнего воздействия закона. Задолжавший крестьянин с положения свободного гражданина постепенно спускался по наклонной плоскости, которая вела его к кабальному холопству. Правительство смотрело на это сквозь пальцы, заботясь лишь о том, чтобы «тяглый крестьянин, став крестьянином, не переставал быть тяглым и способным к тяглу» (Ключевский). «Простой факт, многократно повторенный, мог дать начало обычаю, т. е. превратиться в право. Именно таким путем крестьяне старинные, или старожильцы, образовали первую группу владельческих крестьян, утративших право перехода в силу давности, или старины. Это первые наши крепостные крестьяне» (Дьяконов). «Огромная масса тяглых крестьян уже не пользовалась правом перехода не потому, что это право было отменено общим законом, а потому, что сами крестьяне лишились или частными мерами были лишены возможности им пользоваться. Это лишение было делом продолжительного и сложного процесса, в котором и завязались основные, первичные условия крепостного права» (Ключевский).

6. Помимо того, та же жизнь создала новые мотивы к закрепощению: фактически закреплялись за затею не только старожильцы-бедняки в силу невозможности выйти из экономической кабалы, но и старожильцы состоятельные («прожиточные», «домовитые»): они «застаревали» на своем месте потому, что ничто не побуждало их менять свои гнезда, потому что им хорошо жилось, и там они жили по пословице «от добра добра не ищут» (Михайлов).

7. Таким образом, с одной стороны, задолженность и невозможность уйти, с другой — довольство насиженным местом и нежелание уходить превращали крестьян в том и другом случае в старожильцев и давали основание видеть в них людей, действительно, крепких земле, а это, рано или поздно, должно было привести и к закреплению юридическому. Нечто подобное (только не в применении к лицу, а к вещи) представляет т. н. «десятилетняя давность» в нашем позднейшем законодательстве: владение недвижимой собственностью, не оспоренное в течение 10 лет, давало лицу, владевшему ею, юридические права на нее. Такую десятилетнюю давность создава-

ли в XVI в. и крестьяне: одни вынужденно, другие добровольно.

III. 1597 г. Указ 24 ноября 1597 года «давал суд» на тех «беглых» крестьян, которые «выбежали за 5 лет» до издания этого указа. Это значило: бежавшие в течение последних пяти лет преследовались, подлежали суду; помещик имел право требовать их возвращения (как людей уже прикрепленных к земле — объясняют одни; за невыплату ссуды, вообще за невыполнение своих долговых обязательств — поясняют другие); те же, кому удалось пробыть в бегах свыше 5 лет, кому удалось укрыться от глаз правосудия, — на тех новый закон как бы махал рукою, того уже оставляли в покое, и землевладелец уже лишался права домогаться его возвращения. С этих пор можно считать и отмену Юрьева дня, т. е. перехода с одной земли на другую.

Откуда вырос пятилетний срок в указе 1597 года? Был ли этот срок произвольный или имелось какое основание держаться именно его? — Устанавливая пятилетнюю давность, законодатель опирался на перепись, произведенную в 7101 (1592—1593) году: крестьянин, записанный за землевладельцем в писцовые книги этого года, считался юридически прикрепленным к нему, хотя формального закона постановлено и не было.

IV. Характерно выражение указа 1597 г.: «беглые крестьяне». Оно наглядно свидетельствует о крупной перемене, происшедшей на протяжении второй половины XVI века в положении крестьянства: наряду с свободным крестьянином успела вырасти особая категория несвободных.

V. 1601 г. Указ 1601 г. восстанавливал право крестьянского перехода в Юрьев день и неделю спустя после него, но в чрезвычайно ограниченных пределах: он применялся только к мелкому служилому землевладению; все же остальные земли, не мелкопоместные — земли черные; дворцовые вотчины; вотчины церковные; вотчины высшего служилого класса, а в Московском уезде не исключая даже и мелкопоместных, — остались в прежнем положении. Указ 1601 г. имел временный характер; сила его действия рассчитана была всего на один год, предоставляя известное право крестьянам, он имел в виду интересы не их, а мелких служилых землевладельцев. Да и самое право перехода распространялось (в каждом данном поместье) на

¹ Если не в Москве, то на Литве такая 10-летняя давность применялась в XVI ст. и к лицам: по литовскому статусу, крестьянин, проживший на земле у одного владельца 10 лет, терял право выхода и становился крепостным. «Закон лишь обобщил практику, не вводя ничего нового» (Владимирский-Буданов).

одного-двух крестьян, не более. Вообще правительство исходило из мысли не столько крестьянам позволить переход, сколько мелким землевладельцам разрешить вывоз крестьян на свои земли.

VI. 1602 г. Указ 1602 г. возобновлял действие указа 1601 года, почти дословно повторяя его.

VII. 1607 г. Указ царя Василия Шуйского: прежняя пятилетняя давность заменена 15-летней; беглых крестьян поведено обязательно сыскивать, а держателей подвергать штрафу. Впрочем, некоторые историки (Карамзин, Погодин, Беляев) считают указ 1607 г. подложным, другие, наоборот, признают его достоверность (Костомаров, Сергеевич, Дьяконов). «Язык указа 1607 г. (говорит Сергеевич, ДРП, III, 153) действительно, может быть, подновлен и испорчен; но противоречие доклада указу ничего не говорит против подлинности какой-либо части памятника: доклад составлен в Поместном приказе, и есть мнение его членов, указ же выражает волю государя, который мог руководствоваться совершенно иными соображениями». Для Владимирского-Буданова (Обзор, 149—150) «указ 1607 г., вопреки мнению Костомарова, остается сомнительным», но, «не будучи законом, тем не менее остается историческим памятником».

VIII. 1613—1641 гг. Землевладельцы выхлопывают себе право на 10-летнюю давность вместо пятилетней (очевидно, если указ 1607 г. существовал, то к этому времени он потерял свою силу). Однако такая давность жалуетя большею частью в виде награды; дается как привилегия отдельным лицам, а не в виде общей меры.

IX. 1642 г. Новый указ — на этот раз уже всеобщего характера: а) 10-летняя давность для иска беглых крестьян; б) 15-летняя — для сыска вывезенных крестьян.

X. 1649 г. Уложение царя Алексея Михайловича окончательно юридически прикрепило всех крестьян на всем пространстве государства: с этой поры все сроки давности прекращались; крестьянин должен был вечно сидеть на той земле, на которой застало его Уложение, а в случае ухода его всегда, по закону, можно было вернуть обратно.

Литература предмета указана выше. См. еще:

П. Е. Михайлов. Происхождение земельного старожилства. ЖМНПр. 1910, № 6; Он же. Обычный институт старожилства и крепостное право. Там же. 1912, январь; П. И. Беляев. Древнерусская сеньярия и крестьянское закрепление. Журнал мин. юстиции. 1916, октябрь, ноябрь.

№ 23. КАК УМЕР ЦАРЕВИЧ ДМИТРИЙ?

Убит он или зарезался сам? Виновен Борис Годунов в его смерти или нет? И если виновен, то в какой степени замешан он в этом темном деле? Кому могла быть на руку смерть Дмитрия? — на эти и на другие тесно с ними связанные вопросы русская историческая наука и до сей поры не дала окончательного, исчерпывающего ответа. Одни совершенно обеляют Годунова, считая показание Шуйского, производившего следствие, справедливым (Погодин, Арцыбашев, Белов, Тюменев, Платонов, Валишевский, Покровский, Готье); другие, наоборот, прямо обвиняют Годунова в убийстве: он-де подослал убийц, инициатива принадлежит ему (Щербатов, Карамзин, Кисель, Филарет, Нечаев); третьи прямого обвинения не выставляют, но допускают, что у Годунова не было иного выхода, как смерть царевича (Соловьев, Б.-Рюмин); четвертые — что Годунов открыто не высказывался и прямо не подстрекал, но давал понять, что царевич стоит ему на дороге к престолу; возможно, что нашлись прислужники, которые и без намеков Годунова, желая выслужиться, исполнили то, о чем, по их мнению, он втайне мечтал (Костомаров, Ключевский); пятые — в насильственной смерти обвиняют бояр (Боцяновский, Завитневич) с вариантом: убит, но не Борисом; шестые утверждают, что царевич зарезался сам в припадке падучей (Аксаков, Белов, Тюменев); седьмые, наоборот, что он именно не зарезался, погиб не своею смертью (Иловайский, Татищев). Наконец, есть и еще особое мнение: царевич не зарезался и его не убивали, он был спасен, а убили вместо него другого ребенка (гр. Шереметев, Валишевский, Беляев).

Примером того, насколько запутан вопрос о смерти царевича Дмитрия и какое вообще еще широкое поле открыто для всякого рода догадок и предположений, может служить недавно высказанное мнение, будто в смерти несчастного мальчика повинен... брат его, царь Федор Иванович! (sic!) «Беспощадно истребляли правящие государи своих ближайших родственников, чтобы устранить соперников себе и своему потомству... Невольно начинаешь думать, что и царевич Дмитрий стал жертвой не „коварного" Бориса, как этого хотелось врагам династии Годуновых и как это нравилось позднейшим драматургам, а „тихого" Федора Ивановича, который вовсе не намерен был сделаться последним царем династии, а, напротив, предполагал, для укрепления своей власти, устранить своего младшего брата, и притом избавиться от него вовремя, пока около него не успела

составится политическая партия» (Р. Виппер. Иван Грозный. М., 1922. С. 16—17).

На протяжении свыше столетия наши исследователи, занимавшиеся вопросом о смерти царевича Дмитрия, беспомощно топчутся между Сциллой и Харибдой — дошедшими до нас показаниями: одни оправдывающие, другие — обвиняющие Бориса Годунова в убийстве последнего сына царя Ивана Грозного. Эти показания настолько исключают одно другое, что исследователям, при наличии одних только их, ничего не оставалось иного, как путем догадок, субъективных соображений доказывать справедливость той или иной версии. У каждого нашлись свои «соображения», но никому еще не удалось подвести под них прочного фундамента.

Кто считает виновным Бориса, те мотивируют его действия «чувством самосохранения», «властолюбием» (Карамзин, Глаголев), «честолюбием», «гласом народа» (Кисель), «трудностью» заподозрить свидетельство летописное, «подозрительностью» следственного дела (Соловьев). Детальный анализ этого дела приводит данную группу исследователей к заключению о полном расхождении его с истиной, но доказательства и в этом случае опираются на умозаключения столь же субъективного характера: для Бориса власть и корона означали почти одно и то же (Филарет); «царский венец мерещился ему и наяву, и во сне» (Костомаров); насильственная смерть царевича «более чем вероятна», а желательность ее для Бориса — «несомненна» (Иловайский); «трудно предположить» неучастие Бориса в смерти (Ключевский).

Другая группа историков, опирающаяся на следственное дело, оправдывает свое предпочтение этому памятнику приемами столь же малоубедительными: смерть царевича была не нужна Борису: в 1591 году ему рано было думать о престоле; Шуйский не мог произвести заведомо пристрастное следствие (Погодин, Арцыбашев). Иные, исходя из «положительной неверности» летописного рассказа, пытаются примирить противоречие источников: царевич закололся сам, но в суматохе и перепуге близкие к нему лица вообразили, что его убили, и в дальнейшем действовали в этом смысле (Аксаков, Белов, Платонов).

В этой «Сцилле и Харибде» особенно беспомощным чувствовал себя Устрялов: он положительно не знает, к какому берегу ему лучше приткнуться: и тот и другой одинаково приемлемы для него.

Явная неубедительность выводов — будь иначе, то и самый вопрос был бы сдан в архив и новым попыткам не было бы

более места, — побудила иначе поставить самый вопрос: если не Борис, то, может быть, кто иной виноват в смерти Дмитрия? Вину с Бориса перенесли на бояр, причем, однако, путь, по какому шли и пришли к такому выводу новые исследователи, остался прежним: те же «соображения», догадки, несомненными фактами или бесспорным логическим умозаключением не подтвержденные (Боцяновский, Завитневич). Голубев, признавая факт насильственной смерти, отыскивать убийц отказывается, зато энергично обеляет Годунова, доказывая, что считать его прикосновенным к убийству нет никаких фактических данных.

Анализ подлинного текста следственного дела, знакомство с внешней его стороной едва ли значительно подвинули вопрос; во всяком случае внесли новый свежий элемент в общую массу данных и на первых порах привели к довольно неожиданному выводу: к догадке, что вместо царевича Дмитрия убили другого мальчика, царевича же успели спасти (Беляев). Что царевич был действительно спасен — эту мысль осторожно, да и то не прямо, высказывал много ранее Беляева граф Шереметев, но, по-видимому, поняв бесплодность опираться на одном только следственном деле и памятниках литературных, успевших войти в научный оборот, он опорой своей гипотезе искал в данных, прямого отношения к делу, казалось, не имевших и потому остававшихся в тени (см. Спор. вопр. № 25: «Кто царствовал в России после Б. Годунова?»).

За последние десятилетия исследование для решения загадки стало направляться в сторону отыскания новых путей. Одни ищут ответа, подвергая анализу не самое следственное дело, не содержание текста, а путь, каким велось Угличское следствие (Тименев); другие доискиваются первоисточника легенды об убийстве, и это, в противность легенде, приводит их к выводу, что царевич не был убит (Светозаров); третьи привлекают на помощь топографию места, где умер царевич (Платонов), а четвертые психологию людей того времени и в «привычном отношении к боковым линиям царствующего рода и своеобразном понимании интересов государства и царствующей семьи» находят путь к оправданию Бориса (Готье. Сравн. аналогичное толкование в Трилогии гр. Ал. Толстого: Борис Годунов не заурядный злодей-честолюбец, а человек государственного пошиба, готовый ценою даже преступления купить и обеспечить благо родины).

Наконец, счастливая находка — запись во вкладных книгах Кирилло-Белозерского монастыря — позволяет Татищеву признать смерть царевича в 1591 году фактом совершившимся.

Беда только в том, что еще не доказано, был ли вклад старицы Марфы по сыне, 15 мая 1592 г., действительно заупокойный, а не заздравный, так как в последнем случае пришлось бы принять совершенно иную версию — спасение царевича.

Следственное дело напечатано: 1) Собр. Гос. Гр. и Дог., т. И, № 60; 2) Клейн. Угличское следственное дело о смерти царевича Дмитрия 15 мая 1591 г. М., 1913: исследование и фототипическое воспроизведение подлинной рукописи «Дела».

Библиография вопроса (до 1888 г.) указана в статье Бестужева-Рюмина «Обзор событий». ЖМНПр. 1887, июль, 81; а за более позднее время (и с добавлениями к указаниям Бестужева) у Тюменева «Пересмотр известий о смерти ц-ча Д.». ЖМНПр. 1908, май, 93—102.

По этом спорному вопросу высказались:

Щербатов	Боцяновский
Карамзин	Голубовский
Погодин	Глаголев
Арцыбашев	гр. Шереметев
Краевский	Валишевский
Устрялов	Беляев
Кисель	Завитневич
Соловьев	Тюменев
К. Аксаков	Ключевский
архиеп. Филарет	Покровский
митр. Макарий	Нечаев
Белов	Светозаров
Костомаров	Готье
Бестужев-Рюмин	Платонов
Иловайский	Татищев

1. М. М. Щербатов (1790). Укрепившись «твердо в преступной своей мысли» убить царевича и советуясь «с наперсником своим Клешниным», Борис принял услуги, предложенные ему Битяговским, и послал его в Углич для совершения «омерзительного дела» (История Российская. Т. VI, ч. I, 1790, 290—294).

2. Н. М. Карамзин (1818). Дмитрий стоял у Годунова поперек дороги: бездетность и физические немощи царя Федора должны были уже в ближайшем будущем открыть царевичу путь к престолу. Что тогда ожидало Годунова? Тюрьма или плаха. Естественное чувство самосохранения, а также властолюбие толкали его на решительный шаг. «Гибель Дмитриева была неизбежна». Первоначально Борис думал было только обезвредить царевича: не велел поминать его на литургии,

распространял слухи о его жестокости, ненависти к боярам; но всего этого оказалось мало, и Годунов пошел на крайнюю меру: послал Битяговского на убийство (ИГР. Т. X. Гл. II).

Признавая Бориса виновным, Карамзин действовал, однако, не на основании фактических данных, каковых у него не было, а считаясь с укоренившимся взглядом, перешедшим в сознание народное. Он говорил Д. Н. Блудову, что, «хотя точных доказательств нет против Бориса Годунова в деле убийства царевича Дмитрия, однако у него полное внутреннее убеждение в его соучастии, убеждение, исходящее от того, что, изучая историю вообще, он проникся мыслью, что не может остаться осужденным во мнении своего народа в течение двух столетий историческое лицо, оклеветанное невинно» (Воспоминания А. Д. Блудовой. Р. архив. 1889, январь, 106).

Как известно, пушкинский «Борис Годунов» весь построен на оценке Карамзина. Характерно, однако, что сам Карамзин раньше высказывался несколько иначе. В «Исторических воспоминаниях и замечаниях по пути к Троице» (Вестник Европы, 1802) он писал: «Что если мы клеветаем на сей пепел? если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?». Известна ли была Пушкину эта журнальная статья? В его библиотеке имелось третье издание Сочинений Карамзина. СПб., 1820 (Пушкин и его соврем., вып. IX—X, с. 48). «Воспоминания» там перепечатаны.

3. А. Л. Погодин (1829). I. Борису смерть Дмитрия была не нужна: 1) в Углич царевича послал не он, а Боярская дума; 2) Дмитрия все равно наследником престола не считали: иначе духовенство и бояре не стали бы просить царя Федора развестись с бесплодною Ириной; 3) «Задумав убийство, как Борис не удалил, по крайней мере, из Углича Нагих, своих зложелателей, естественных противников его намерениям?» (276); 4) в 1591 г. Борису рано было думать о престоле: Федор мог иметь (и имел!) детей; 5) Борису нечего было бояться совместничества с 7- или 14-летним сиротою: патр. Иову только стоило объявить народу с Лобного места, что сын от седьмого брака прав на престол не имеет; 6) вообще Борис готовил Дмитрию смерть политическую (запрещение помянуть его на литургии), а не настоящую.

II. Борис не мог советоваться с боярами об убийстве; «опытный знаток людей», Борис должен был или убить их, или наградить без меры.

III. Если Борис виноват, то как не устранил он Клешнина, оставил в живых такого свидетеля?

IV. Как Шуйский мог принять такое поручение, как произвести заведомо пристрастное следствие?

V. При допросе ни один свидетель не показал на Бориса. Показание трех женщин-свидетельниц «убийства» не заслуживают доверия.

VI. Возможно, что Борис с удовольствием услышал о смерти Дмитрия, «благоприятствовавшей его намерениям; но за это удовольствие он заплатил слишком дорого» (305: Об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия. Московский вестник. 1829. Ч. 3; перепеч. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 271—305. Здесь статья помечена как составленная в 1827 году)

«В этой первой попытке оправдать Б. Годунова все содержание сводилось к чисто субъективной критике. Автор не считал даже нужным обратиться к самым памятникам — следственному делу и летописям... защита состоит в разборе действий Бориса и в ряде соображений, каковы они были бы в том случае, если бы Борис решил убить царевича... Замечания Погодина могут служить лишь косвенными доводами, при отсутствии же прямого разбора памятников не имеют значения. На каждый поставленный им вопрос можно представить по несколько не менее веских возражений, уничтожающих значение его критики, что и было сделано впоследствии Соловьевым» (Тюменев. ЖМНПр. 1908, май, 94—95).

4. Н. С. Арцыбашев (1830). Вполне разделяет «дельные и убедительные доказательства» Погодина о невиновности Годунова «в мнимом убиении царевича» и дополняет его соображения рядом новых. Общая картина представляется Арцыбашеву в таком виде: царевич страдал падучей болезнью; он наткнулся горлом на нож; с перепугу и по злости на недругов нашли «убийц», хотя обвинение в убийстве не имело никаких оснований. К сожалению, «наши летописцы переиначили совершенно нелепыми своими преданиями» это событие и несправедливо опорочили память Годунова и Шуйского, «некогда знаменитых вельмож и после достойных царей России». «Сим преданиям последовали новые дееписатели: князь Хилков (Ядро Росс, истории, IV, 257), князь Щербатов (IX, 294—297), Голиков (Дополн. к Деяниям, I, 36 37) и даже ученый Миллер (Sammlung Russischer Geschichte, V, 52—54)» (О кончине царевича Дмитрия. Вестник Европы. 1830, № 12, перепеч. Р. архив. 1886, № 11. С. 273—284).

Взгляда на невиновность Б. Годунова Арцыбашев продолжал держаться и в другом своем позднейшем труде: «Повествование

о России», т. III (1843), но на этот раз он наткнулся на цензурные затруднения. Обелять Бориса сочтено было недопустимым, и Археографическая комиссия, издававшая книгу, вынуждена была заняться «исправлением» текста. По докладу Устрялова (который от прежнего своего мнения, см. № 6, по-видимому, не отказался, но руководился опасением, как бы «Повествование» не было совсем изъято из обращения), лист, уже отпечатанный, был заменен другим, с исключением всех примечаний, клонившихся к оправданию Годунова, и кроме того, для вящего подкрепления версии, угодной цензуре, добавлено было «то, что неоднократно говорил Шуйский, по вступлении на престол, о смерти царевича, между прочим в окружной грамоте 2-го июня 1606 г.» (Протоколы заседаний Археогр. комиссии, вып. II, 1886, 2—4; перепеч. *Иконников*. Критические заметки. Р. архив. 1886, № 12. С. 525—526).

5. А. Краевский (1836). Царь Борис Федорович Годунов. СПб., 1836, примыкает к взгляду Арцыбашева. См. *Иконников*, Историч. заметки. Р. архив. 1886, № 12. С. 527).

6. Н. Г. Устрялов (1834). В вопросе о виновности Годунова он колеблется, не решаясь, к какому взгляду примкнуть. Устрялов, несомненно, склонен к оправданию, Карамзин его не удовлетворяет; однако вполне отрицать некоторую «неправоту» действий Бориса он тоже не считает возможным.

«Еще не решено, кто был виновником его (Дмитрия) кончины... Если верить нашим летописям, безусловно, Годунов заслужил в полной мере проклятие потомства. Но можно ли верить им безусловно? Пусть решит сам читатель».

В конечном результате, «сообразив все показания свидетелей, вникнув во все обстоятельства времени, каждый, вероятно, согласится, что Годунов, если не совсем прав, по крайней мере не кругом виноват и что для каждой души благородной было бы утешительно снять проклятие с мужа великого, обвиненного, может быть, только по стечению обстоятельств» (Розыск о смерти царевича Дмитрия Угличского. Сказания современников о Дмитрие Самозванце. Ч. II. С. 283—288, изд. 3-е [1859]. Первое издание: СПб., 1831—1834).

7. Ф. Кисель (1840). Суждения автора лишены какого-либо научного значения; ценность статьи исключительно историографическая. Свои «доказательства» автор черпает в слепом доверии к летописным показаниям, а собственные его рассуждения или субъективны, или опираются на данные, неприемлемые для научной критики (см. ниже пункт 4-й).

1) Честолюбие двигало Годуновым; к тому же у него не было иного выхода: «или трон России, или позорная и мученическая смерть».

2) Бесчеловечное преследование Нагих и раздача богатых земель и поместий няньке царевича, боярыне Волоховой, — доказательство причастности Годунова к убийству.

3) Недаром глас народа и глас летописцев говорит, что царевич был убит по наущению Годунова.

4) Показания Шуйского, посланного на следствие, будто царевич «в черной немочи сам себя заколол», не верно уже потому, что православная церковь не могла бы впоследствии причислить самоубийцу к лику святых.

(Ф. Кисель. Доказательства, что ц-ч Дмитрий действительно убит в Угличе, по наущению Годунова. ЖМНПр. 1840, № 2. С. 168—190. Иконников. Новые исследования по истории Смута, врем., с. 95, указывает, что Кисель те же мысли высказал и в книге своей «История города Углича». Ярославль, 1844. С. 222—288).

8. С. М. Соловьев (1848, 1857). Свидетельство летописное заполнить трудно; наоборот, следственное дело весьма подозрительно, самое правдоподобие, естественность рассказанного в нем события не внушает к нему доверия. «Ясно, что Годунов и Клешнин с товарищами должны были употребить все меры, чтоб сделать его как можно правдоподобнее и естественнее». Годунов главный участник — да, но не единственный виновник убийства: не один Годунов, решившийся или согласившийся на убийство из чувства самосохранения, под предлогом государственного блага, но и «все приверженцы Федора, все те, которые прежде отослали Дмитрия в Углич, теперь должны были заботиться об окончательном его удалении» (Обзор событий русской истории от кончины царя Федора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых. Глава I. Современник. 1848. Т. VII. С. 11—28).

Те же мысли высказаны и в позднейшем труде Соловьева: 1. Годунову естественно было опасаться в лице царевича, Нагих, его родственников. 2. За будущее приходилось бояться не одному Годунову, но и всем тем, кто обязан был выгодами своего положения Годунову, «а таких людей было много, наконец, за будущее должны были бояться те люди, которых судьба хотя и не была тесно соединена с судьбою Годунова, но по совету которых Дмитрий подвергся изгнанию, а к этим людям принадлежали все начальнейшие российские вельможи». 3. В летописном рассказе нет ни одной черты, вызывающей подозрение:

подробности, которые в нем читаем, «не позволяют историку видеть в этом рассказе выдумку». 4. Зато следственное дело — произведение недобросовестное: из него «ясно видно, как спешили собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался в припадке падучей болезни, не обращая внимания на противоречия и на укрытие главных обстоятельств» (ИР. Т. VII, глава V, в конце. В особом примечании 131-м Соловьев оспаривает положения Погодина, высказанные им в статье «Об участии Годунова в убиении ц-ча Дмитрия»; см. выше, № 3).

9. К. С. Аксаков (1857) резко расходится с Соловьевым и приводит ряд соображений в опровержение его положений, доказывая «положительную неверность» летописного рассказа, а из анализа следственного дела выводя заключение, что царевич был не убит, а сам убился. В таком случае, как же тогда сложилось представление об убийстве, о намеренном злодеянии? Аксаков дает такой ответ на этот вопрос:

«Надобно вспомнить, что между Нагими и Битяговским (а вероятно, и близкими к нему) была вражда; в этот день по утру Михаил о Нагой бранился с Битяговским. Вдруг Дмитрий, начавши играть в тычку, убивает нечаянно сам себя. Выбегает царица, видит умирающего сына и, в отчаянии, сейчас называет ненавистных ей людей как убийц ее сына, людей, очень может быть, в самом деле ею подозреваемых; в то же время кидается она на мамку царевича (мать одного из этих людей) и начинает ее бить; по словам Огурца, царица послала тогда же звонить в колокола. На звон прибегает Михайло Нагой и тоже, может быть, искренно подозревая, обвиняет подозреваемых перед собравшимся народом, который загорается, как порох, гневом и избивает людей, обвиняемых в убийстве. Свидетелей было немного. Насильственная, невольная смерть последнего царевича, поражая ум народный, порождает мысль, что царевич был убит, становится народным сознанием, убеждением народным, страшно сокрушает престол Бориса и переходит в потомство. Нашего мнения мы не говорим утвердительно: мы представляем только свои соображения в пользу того, что Дмитрий-царевич убился сам. К этому мнению склоняет нас и величавое лицо Бориса Годунова, которому такое злодеяние несвойственно и который однажды сам жертвовал жизнью, стараясь защитить царевича Иоанна от ударов Иоанна Грозного. Желательно, чтоб, если можно, дело это, наконец, разъяснилось и чтобы страшное пятно было снято с имени великого государя Бориса» (237: «По поводу VII тома истории г. Соловьева». Полное собр. соч., т. I, 1889, 233—288).

10. Филарет, архиепископ Харьковский (1858).

Анализ источников, русских и иностранных (они все перечислены), приводит автора к выводу в насильственной смерти царевича, притом «по воле Годунова». Несправедливо, говорит он, утверждать, будто иностранцы писали из ненависти к Борису и что «все известия о насильственной смерти царевича основаны только на молве народной» (11): Годунов еще задолго до смерти Дмитрия мыслил о присвоении себе царского венца. «Пусть Годунов домогался в это время не прямо венца царского, а только хотел удержать при себе ту власть, которою облечен был. Но далеко ли было от одного желания до другого? А в положении бездетного Федора Ивановича, а в положении Бориса, которому и тогда не доставало только имени царя, то и другое — власть и корона — означало почти одно и то же» (13).

Подробный анализ следственного дела о смерти царевича (СГГД, II, № 60) убеждает автора в несоответствии его с истиной. «И производство дела, и решение ознаменованы следами криводушия и неправды. Следовательно, мнимые свидетели самозаклания царевича говорят ложь (если только говорили они)» (24: Исследование о смерти ц-ча Дмитрия. Чтения. 1858, I, 1—32).

11. Митр. Макарий самостоятельного мнения не выработал и излагал событие согласно летописям, обвинявшим Бориса, и придерживаясь Карамзина и Соловьева (ИРЦ, X, 80—82).

12. Е. А. Белов (1873). В противность Соловьеву он считает летописный рассказ полным противоречий: царевич, подверженный припадкам падучей, зарезался сам, наткнувшись на нож, — а гипотезу, будто Борис погубил Дмитрия не один, а вместе с целой партией — «странною» и основанною на одних «догадках и предположениях».

Сближаясь в толковании памятников с К. Аксаковым, Белов говорит: «Главную виновницу страшной драмы была царица Марья, вдова Иоанна Грозного»: не отличаясь умом, живя под вечным страхом за сына, преувеличивая значение слухов, доходивших до нее о действительной или мнимой вражде Годунова, она чуть не помешалась, пораженная смертью сына, — первую мысль ее было: это убили Битяговские и близкие к нему; их она и назвала убийцами (июль, 43, 12).

Следователи явно желали смягчить вину Нагих и умышленно не выяснили причины побиения Битяговских, а в этом случае Шуйский действовал в пользу не Годунова, а Нагих. А потому **Прав** Погодин, видевший в назначении Шуйского следователем одно из доказательств невинности Годунова (июль, 10).

Здесь, в Угличе, было положено начало союзу Шуйского с Марией Нагой (июль, 44). Позже, когда Самозванец вступил в Москву, за инокиней Марфой послан был племянник Шуйского М. В. Скопин-Шуйский («и неужели можно думать, что не было заранее условлено, как она должна принять мнимого сына?»), а после свержения Самозванца тот же Шуйский, уже царем, вместе с Марфой рассылает грамоты, заявляя, что Самозванец не сын ее, Марфы, что он околдовал народ своим чернокнижеством (август, 313: О смерти царевича Дмитрия. ЖМНПр. 1873. № 7, 8).

«Статья эта (Белова) является такой же преднамеренной защитой Бориса Годунова, как разборы Соловьева и Филарета были обвинительными актами против него. Симпатии Белова сразу же обнаруживаются в том, что, прежде чем обратиться к самим памятникам, он считает необходимым опровергнуть Соловьева и реабилитировать те замечания Погодина, возражения против которых, действительно, не совсем удалась Соловьеву» (*Тюменев*. ЖМНПр. 1908, май, 98).

См. еще *Белов*. Ответ моим критикам. ЖМНПр. 1889, март, 221. Полемика с Иловайским, вызванная его заметкою: «По поводу розыска о смерти ц-ча Дмитрия» (Р. архив. 1889, февр.). Я отнюдь не думал (говорит Белов) «обелять» Годунова, а те «несколько веских замечаний», которые якобы сделал мне Костомаров, основаны на «странной ошибке»: Костомаров приписывает мне мысль, которую я не высказывал, будто я говорю о «самоубийстве» царевича; между тем «наткнуться на нож» и «заколоть себя» — далеко не одно и то же.

13. Н. И. Костомаров (1868, 1873, 1874).

А) «При всех известиях, и русских и иностранных, событие это остается темным для истории. Верно только, что Борис считал себя уже избавленным от страшнейшего врага в будущем. Царский венец мерещился ему и наяву, и во сне» (Смутное время, III, 24).

Б) Полемика с Беловым. Следственное дело источник недостоверный уже по одному тому, что производство его вел Шуйский; наиболее доверия заслуживает опубликованная А. Ф. Бычковым запись современника (Чтения 1864, IV, смесь), а она прямо указывает на убийство. Борис был слишком умный и осторожный человек, чтобы отдать прямое приказание убить царевича; убийцы же (лица, посланные в Углич наблюдать за царевичем) или могли догадаться, по дошедшим до них намекам, чего от них желает Борис, или, может быть, действовали по собственному почину в убеждении, что это будет

угодно правителю и полезно государству (О следственном деле по поводу убийства ц-ча Дмитрия. Вестник Европы. 1873, сентябрь, и Монографии. Т. XIII).

Замечания Тюменева А. И. Мелкие жизненные подробности в Записи, опубликованной Бычковым, действительно, располагают нас в пользу этого рассказа; но «все же и к нему следует отнестись осторожно: 1) нельзя еще быть уверенным, что рассказ этот писан действительно современником; 2) если даже и считать автора его современником, нельзя еще видеть в нем очевидца самой смерти царевича: о ней он мог писать только со слов других» (ЖМНПр. 1908, май, 99—100).

В) Шуйский, хотя и принадлежал к партии, противной Борису, счел себя вынужденным действовать согласно его видам. «Следствие произведено было бессовестным образом». Неизвестно, состоялось ли убийство с согласия Бориса по данному им положительному намеку или убийцы сами поняли, что «если ловко обделать это дело, то Борис сумеет их наградить, не сказавши, за что он награждает. Им не удалось получить награды; Борис только облагодетельствовал их семейства» (РИ, глава XXIII, с. 583—584).

14. К. Н. Бестужев-Рюмин (1887) ограничивается перечислением обширной литературы по этому вопросу (Обзор. ЖМНПр. 1887, июль, 81).

15. Д. И. Иловайский. (1890). На два основных вопроса: убит или убил? виновен Годунов или невинен? — категорического «да» или «нет», подобно Соловьеву, Иловайский не дает: «как именно погиб царевич, сказать трудно, но что он погиб не своею смертью, это более чем вероятно, а что смерть его была весьма желательна Годунову — это несомненно».

Следственное дело составлено «недобросовестно». Смерть царевича не была противна интересам Шуйского: ведь он также был будущий претендент на престол, к тому же «в данный момент он имел все побуждения угождать Годунову, имея в виду участь, постигшую перед этим всю его родню: одних сослали, другого удавили (ИР, III, 354, 651—652).

Страницы 651—652 являются в значительной части своей повторением сказанного раньше в двух заметках: «По поводу розыска о смерти царевича Дмитрия» (Р. архив. 1889, февраль) и «Моим возражателям» (там же, май). Обе эти заметки полемического характера перепечатаны в «Истор. сочинениях Д. И. Иловайского», т. II (1897), 74—79.

16. В. Боцяяовский (1891). Царевич был убит, он не мог зарезаться, как утверждает Белов: нож, бывший в его руках, была простая игрушка. Но нельзя обвинять в убийстве и Бориса: престола домогался не он один, а также и другие, и даже с гораздо большим основанием. Родовое боярство, опасаясь видеть в царевиче будущего Ивана Грозного, задумало низвергнуть старую династию и погубить мальчика. Оно выдвинуло из своей среды, как наиболее подходящего для такового дела, кн. В. И. Шуйского, который больше всего был заинтересован в смерти этого ребенка (Кто убил царевича Дмитрия? Историч. вестник. 1891, май. С. 315, 324, 326).

17. П. В. Голубовский. Как ни противоречивы литературные произведения, сообщающие сведения о смерти царевича, по своим деталям, однако, на всех этих рассказах-воспоминаниях «непоколебимо сохраняется одна общая основа: царевич Дмитрий был убит» (864). Детальные же противоречия сами по себе вполне естественны: все эти сказания «писаны гораздо позже события. Сличение их друг с другом обнаруживает, что некоторые из них не самостоятельны, а представляют из себя копии других, или имеют большие заимствования одно из другого» (862). Зато считать Бориса прикосновенным к убийству нет никаких фактических оснований: у нас нет «никакого документа, ничьих записок, о которых бы можно было сказать, что они заключают в себе вполне самостоятельные сообщения. Главным образом, мнения о причастности Бориса к угличской драме основываются на априорных соображениях»: человек-де ловкий, не стеснявшийся в средствах для достижения своих целей; властолюбивый... (873). Автор обстоятельно развивает и доказывает свою мысль (Вопрос о смерти царевича Дмитрия. Историч. вестник. 1896, декабрь).

18. Д. М. Глаголев. Вслед за Карамзиным, Соловьевым, Иловайским автор признает факт убийства царевича, а анализ данных приводит его к убеждению в виновности Годунова. Человек крайне жестокий, не считавшийся с требованиями морали, человек, которому ничего не стоило посягнуть на чужую жизнь, если она стояла ему поперек дороги, Годунов с самого начала царствования Федора стал расчищать себе путь к престолу. Не одно честолюбие побуждало его к этому, но и чувство самосохранения. К тому же устранение с дороги царевича было делом не одного Бориса, но и делом его партии: «вместе с Годуновым погибали и его приверженцы. Поэтому ничего нет невероятного, что Годунов на совет об убиении царевича при-

глашает единомышленников своих» (Убиение царевича Дмитрия в Угличе. Р. архив. 1902, март, 487).

19. Граф С. Д. Шереметев в своих изысканиях пришел к убеждению, что царевич был спасен от руки Годунова и царствовал после него, а убили в Угличе другого ребенка, подмененного. Прямо в печати свой домысл Шереметев, однако, не высказал, но в переписке с проф. Бестужевым-Рюминым он, по-видимому, привел немало доводов в пользу своей гипотезы и даже убедил в ее справедливости самого Бестужева. К сожалению, их переписка опубликована односторонне: напечатаны письма лишь одного корреспондента, без ответных и вызвавших их написание: «Письма К. Н. Бестужева-Рюмина о Смутном времени. СПб., 1897». Не рискуя делать окончательных выводов, Шереметев сосредоточил свое внимание на изыскании тех путей, по которым можно было бы напасть на следы, ведущие к раскрытию истины. Таковы две его работы, в которых он привлекает материал, на первый взгляд довольно отдаленный, даже посторонний, но в котором он рассчитывает найти ответ и подтверждение своим домыслам и догадкам: 1. «Царевна Феодосия Федоровна. 1592—1594» (Старина и Новизна, кн. V, 1902. С. 235—309) и 2. «От Углича к морю Студеному» (там же, кн. VII, 1904. С. 200—254).

В первой статье автор с особым вниманием останавливается на неожиданном и до сей поры не выясненном уходе от политической деятельности, «исчезновении» думного дьяка Андрея Щелкалова. Было ли оно добровольным или вынужденным, «но чувствуется, что удаление Щелкалова — это начало чего-то нового, непосредственно связанного с кончиною царевны Феодосии и с невыясненным для современников Угличским событием. Это „новое“ должно внести и новую смуту в умы. При этом мы не должны терять из виду крепкой связи и непосредственных сношений между А. Щелкаловым и патриархом Мелетием Пигасом, не прощавшим Годунову введение в России патриаршества» (286).

С удалением Щелкалова прежние связи с ним не прекратились; наоборот, под покровом таинственности они оживились еще более, особенно в такое время, «когда таинственность стала неизбежною, когда близкое будущее предвещало небывалые в государственной жизни осложнения». По самому характеру своему А. Щелкалов бездеятельным оставаться не мог. «Где же он? Очевидно, недовольный Годуновым, с его уже нескрываемыми стремлениями к престолу, он неминуемо должен привлечь Богдана Вельского и других недовольных, имя же им

⁷ Зак. 3160

легион. Этого, кажется, достаточно, чтобы придать „уединению" А. Щелкалова, последовавшему за кончиной царевны Феодосии, значение первостепенного по своей важности события. Отсюда разгорается все то, что уже несколько лет перед тем тлело под пеплом Угличского разгрома. Но если сложный план и возникает теперь со значительно большей надеждой на успех, „то и сын боярский" Юрий Отрепьев (будущий инок Григорий) должен появиться именно теперь одним из надежнейших его исполнителей. И Буссов указывает на какого-то „старца", руководившего Отрепьевым» (V, 298).

2. Вторая статья пытается проследить пути, какими могли вывести царевича из Углича, и места, где его укрывали. Из двух путей по Двине и по Ваге автор отдает предпочтение последнему, Важскому, как более короткому по сравнению с путем Велико-Устюжским, тем более что у истоков Ваги он находит местность Монастырско-Лукавино («странное наименование!»), на которой возвышалась «Пустынь Леванидова», впоследствии (ранее 1764 г.) упраздненная (VII, 246, 254).

Чем привлекла внимание исследователя эта «Пустынь Леванидова»? Не связывал ли он ее с именем того «чернца Леонида» из Крыпецкого монастыря, о котором «Повесть о Борисе Годунове и Расстриге» говорит, что Лжедмитрий, живя в киевском Печерском монастыре, «повел тому Леониду зваться своим именем, Григорием Отрепьевым, а сам ложно наименовал себя царевичем Дмитрием» (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. X. Прим. 201)?

20. Waliszewski. La crise revolutionnaire; р. перевод, СПб., 1911, 47—49. Автор склоняется к мысли, что царевич был спасен своим дядей Нагим и спрятан; что убили другого ребенка. Участие же Годунова в преступном покушении на жизнь царевича решительно отвергает.

21. И. С. Беляев (1907). Анализ подлинника следственного дела (текст его писан столбцами, которые остались не перенумерованы, не скреплены собственноручным рукоприкладством; склейки по желанию можно было расклеивать и располагать столбцы в том порядке, как это было на руку тому или другому лицу) приводит автора к такого рода предположениям:

1. «Нет сомнения, что младенец умер не от своей руки, а потому показание всех в следственном деле лиц, что он накололся, мы должны считать фальшивым и пристрастным... Все следственное дело 1591 г. было направлено к утверждению самозаклания царевича, тогда как на самом деле ребенок был зарезан, следовательно, все следствие было ложно» (25—26).

2. Зарезан был не царевич, а другой ребенок.

3. Желая спасти царевича и укрыть его от Годунова (в предвидении грозящей ему опасности), Нагие подменили его другим мальчиком, а потом «бунтом ловко стушевали происшедшее» (6).

4. «Нужно было убить Битяговских, Волхова, Качалова и других, с одной стороны, потому, чтобы они, как близко стоящие к царицыной семье чины, не могли рассказать о замыслах Нагих, а с другой, — избавившись от таких соглядатаев, воспользоваться переполохом и выиграть время для подмены младенца» (27).

5. Недаром тело убитого мальчика поторопились перенести в церковь, подальше от чужих глаз, чтоб не раскрылся обман. Недаром еще не успели умертвить третьего убийцу царевича (Осипа Волохова), а Дмитрий уже лежал в гробу — так быстро успели его приготовить?! Недаром приехавший на следствие Клешнин, «приступив к гробу, увидев сие ангельское мирное лицо, затрепетал, оцепенел, стоял неподвижно, обливаясь слезами, не мог произнести ни единого слова» (*Карамзин Н. М.* ИГР. Т. X. С. 80). Конечно, не угрызение совести вызвало это оцепенение: «подлинное тело царевича не должно было его поразить столь неожиданно. Он увидел, вероятно, то, о чем не было им составлено понятия раньше, т. е. обман или подлог одного младенца другим» (6—7). Недаром также *женочку уродливую, приходившую во дворец для потехи с царевичем и, следовательно, кое-что знавшую из его жизни, царица велит убить спустя два дня после смерти ребенка, очевидно, опасаясь ее показаний» (8).

6. В интересах Шуйского было содействовать сокрытию царевича: во-первых, он рассчитывал «заслужить благодарность Годунова выдуманным утверждением, что царевич убился сам, и тем освободить Бориса от подозрений народных, что царевич зарезан по приказу последнего»; во-вторых, «если б впоследствии восторжествовали Нагие и царствовать стал бы спасенный ими царевич, тогда Шуйский мог бы ждать от них благодарности за то, что в свое время не огласил их проделки, всем же другим с гордостью мог отозваться, что спасал законного наследника престола» (6: Угличское следственное дело 15 мая 1591 г. Чтения. 1907. Кн. I).

22. В. В. Завитневич. В смерти царевича Дмитрия виновно боярство. Несправедливая тирания Грозного выработала среди бояр убеждение, что рано или поздно «кровопийственный Род» понесет заслуженное наказание. «Эта мысль, сначала как

бы вскользь брошенная, потом стала заветною мечтою бояр. Сила Грозного заключалась не в его личности, а в том, главным образом, что он был представителем династии, с которой неразлучно связан был рост силы и славы государства. На потомка Ивана Калиты и Дмитрия Донского невозможно было поднять руку. Другое дело, если эта династия прекратилась с новым человеком, который мог занять престол только по избранию, можно было бы заговорить другим языком». Эти соображения решили участь царевича Дмитрия, тем более что о нем ходили слухи, что он характером похож на отца, так же жесток, так же ненавидит бояр. Желание бояр исполнилось: 15 мая 1591 г. царевича не стало. (Значение великой Московской смуты в общем ходе политического развития допетровской Руси. Труды Киев. Дух. Акад. 1908, май, 85—86).

23. А. И. Тюменев. До сих пор, говорит он, «ни один исследователь не задался целью рассмотреть Следственное дело в его целом, проследить ход следствия и посмотреть, так ли уж необходимо и неизбежно вытекали из него те вопросы, которые якобы непредубежденные следователи должны были предложить свидетелям. Возможно, что и такой способ исследования не даст нам прямого ответа, но, во всяком случае, это единственный по возможности беспристрастный способ, и потому он должен или привести нас к определенному ответу, или навсегда заставить отказаться от возможности решения вопроса на основании одного Следственного дела без подтверждения его другими современными памятниками» (май, 102).

Такого рода анализ Следственного дела автор и производит. Затем он подвергает разбору обвинения в пристрастии, бросаемые Следственному делу его противниками, причем отделяет в них «замечания и сомнения, имеющие действительное значение, от простых придинок, которых также немало» (122).

Выводы автора двух родов: отрицательные и положительные.

А. Отрицательные: «Почти все эти обвинения несправедливы и недостаточно обоснованны, а те немногие, которые имеют некоторое значение, могут быть истолкованы и в ту и в другую сторону. Путем разбора Следственного дела нельзя доказать ни пристрастия, ни беспристрастия следователей» (130).

Б. Положительные: 1. «Почти несомненное существование у царевича падучей болезни». 2. «Кажется, очень близок к истине самый факт игры царевича в тычку». 3. «Что касается до самой смерти царевича, то, если даже и не доверять показаниям прямых свидетелей, в Следственном деле и в таком

случае можно найти некоторые другие подтверждения самоубийства царевича». 4. «Несомненный факт вражды Битяговских с Нагими». 5. «Меры предосторожности, принятые Нагим (раскладка оружия на убитых; высылка сторожей „для весей с Москвы" и др.), хотя и не дают права делать из них какие-либо окончательные выводы, однако могут служить косвенным доказательством страха Нагого и сознания им своей неправоты» (май, 132—134).

«Вот те обстоятельства, которые с большей или меньшей несомненностью можно вывести из Следственного дела. Сопоставление же их друг с другом, при сомнительности заключения из самого дела о пристрастии следствия, кажется, позволяет нам склоняться в пользу мнения о самоубийстве царевича в припадке эпилепсии» (май, 134).

Разбор показаний стороны, противной Следственному делу, произведенный в хронологическом порядке (1. «Толки и слухи, ходившие по Москве о Дмитрии при его жизни и в первые годы по смерти, в связи с политическими обстоятельствами царствования Федора Ивановича и его преемника». 2. Официальные акты, опубликованные до канонизации Дмитрия. 3. Жития и другие литературные памятники, русские и иностранные — июнь, 323), приводят автора к такому заключению: «Тяжелое обвинение, более двух веков тяготевшее над памятью Бориса, покоится на неосновательном слухе, пущенном Нагими, и опровергается ясными показаниями Следственного дела, сомневаться в правдивости которых нет основания» (июнь, 357: Пересмотр известий о смерти ц-ча Дмитрия. ЖМНПр. 1908, май, июнь).

24. В. О. Ключевский. «Трудно предположить, чтобы это дело сделалось без ведома Бориса, подстроено было какой-нибудь чересчур услужливой рукой, которая хотела сделать угодное Борису, угадывая его тайные помыслы, и еще более обеспечить положение своей партии, державшейся Борисом» (Курс, III, лекция ХСІ. С. 29).

25. Н. Н. Покровский считает Годунова невиновным в смерти царевича. Положение Бориса, говорит он, было так прочно, что желать смерти Дмитрия ему не было никакого основания: он обладал громадными личными средствами; имел много личных приверженцев; вся вооруженная сила государства находилась в его руках, царь Федор — речь идет о 1591 году — еще мог иметь детей (и действительно, год спустя у него родилась дочь Феодосия); значит, в случае смерти Федора, Году-

нов, в положении регента при своих родных племянниках, чувствовал бы себя так же прочно, «как и при их отце».

«Было бы чрезвычайно странно, если бы в таком положении человек стал себя „усиливать“ при помощи преступлений, крайне неловко совершенных и как будто нарочно придуманных, чтобы скомпрометировать репутацию Бориса Федоровича. Между тем подавляющее число историков признает как достоверный рассказ о том, что именно в эти годы, с ведома, если не по прямому приказу Годунова, был убит младший сын Грозного, царевич Дмитрий, — убит в тех видах, чтобы „расчистить“ Борису путь к престолу“. Если бы нужна была специальная иллюстрация младенческого состояния у нас весьма важной дисциплины, именуемой „исторической критикой“, и давления на нашу историческую науку обстоятельств и интересов, ничего общего ни с какой наукой не имеющих, лучшей, нежели „дело об убийстве Дмитрия-царевича, придумать было бы нельзя“».

Покровский дает полную веру показаниям следственной комиссии, посланной с В. И. Шуйским во главе в Углич для расследования обстоятельств смерти царевича: хотя сама личность Шуйского и не может внушать к себе доверия, но следствие производил он не один (и потому не мог заведомо лгать).

«Есть основания думать, что Борис сомневался: действительно ли Дмитрий умер?... Слухи, что царевич жив и находится где-то за границей, может быть, в Польше, стали ходить по Москве еще до смерти Федора. Всего через месяц после этой смерти пограничный польский губернатор уже слышал о каких-то подметных письмах от имени Дмитрия, появившихся в Смоленске. Только в этой связи можно понять те чрезвычайные меры, какие были приняты московским правительством, т. е. правительством Годунова, именно в эти дни» (закрытие границы, задержка иноземных купцов и т. п.). Вообще «фигура Дмитрия все время чувствовалась за кулисами, и Годунов нервно ждал, когда же, наконец, она выступит. В этом смысле, ему, может быть, действительно мерещился покойный царевич, но только не в образе „кровоавого мальчика“, а, скорее всего, во главе польско-литовской рати, в том именно виде, каким он явился на Руси накануне смерти Бориса» (Русская История с древнейших времен. Т. II, 1924, 147—152).

26. В. Нечаев. На его работе отразилось исследование Беляева. Вслед за ним Нечаев тоже приходит к мысли, что первоначальный текст Следственного дела подвергся изменению. «Борис ли, Шуйский ли, или другой кто хотел исказить

факты, подлежащие расследованию в Угличе, — это вопрос спорный и, вероятно, неразрешимый; зато ясно, что намерение исказить было и осуществлялось». Автор склонен думать, что «углицкий царевич был погублен подосланными убийцами. Способен ли был Годунов подослать их? Что он был способен на такую меру — это признало большинство его современников, и не нам оспаривать их мнение».

Однако, не «оспаривая», автор, несомненно, склонен это мнение разделить. Гибель Дмитрия, говорит он, была в интересах Бориса не только потому, что расчищала ему дорогу к власти, но и избавляла его от личной опасности. «Нагие, став у власти, не пощадили бы его, и простое чувство самосохранения побуждало его прибегнуть к наиболее действительной мере для устранения грозной опасности». Сын грубого и жестокого века, воспитавшийся во времена опричнины, при всех своих незаурядных качествах Борис «едва ли умел проявлять гуманность там, где дело шло о его собственной безопасности, и недаром, может быть, общественное мнение современников вынесло Борису обвинительный приговор» (Смерть царевича Дмитрия. «Смутное время в Моск. гос-ве. Сборник статей с иллюстр.». М., 1913. С. 58—74).

27. В. Н. Светозаров — сторонник гипотезы «самозаклания», не убийства. Для доказательства ее он видит два пути: 1) изучение Следственного дела и 2) анализ легенды о смерти царевича. По первому пути шел Белов, доказывая факт самоубийства, по второму идет теперь автор.

Развитие легенды о смерти царевича нашло, говорит он, свое последовательное выражение в следующих четырех литературных произведениях: 1. «Иное Сказание»; 2. «Житие царевича Дмитрия»; 3. «Новый Летописец», или «Летопись о мятежах» и 4. «Сказание о царстве царя Федора Иоанновича». Они стоят одно к другому в генетической связи: каждое последующее не является рассказом самостоятельным, а лишь переработкой предыдущего; основной сюжет остается в нем неизменным и лишь обставляется новыми деталями, пополняя пробелы предыдущего. Первоначальное для всех остальных источников «Иное Сказание», составленное в 1606 г., произведение искусственное и заказанное, писанное «в угоду известной политической партии, в пользу ее политических планов и стремлений. Ведь в это время начал царствовать В. И. Шуйский, который прочную основу, прочный фундамент для своей царской власти видел в мощах царевича Дмитрия» (38). Светозаров Допускает, что «Иное Сказание», будучи первоначальным ядром

для всех последующих, само «явилось на свет тоже в результате переработки существующих ранее, но не дошедших до нас памятников», а то и прямо — народной молвы (403—404: Развитие легенды о смерти царевича Дмитрия. Р. старина. 1913, февраль).

И. С. Беляев, полемизируя с Светозаровым, не признает генетической связи указанных им «сказаний», добавляя, что он неправильно приписал ему мнение, будто Следственное дело он считает подложным (К вопросу о смерти царевича Дмитрия. Р. старина. 1913, апрель, 30—32). NB. Слова Светозарова (385): «И. С. Беляев не совсем удачно, не совсем основательно пытается доказать подлог следственного дела».

28. Ю. В. Готье. «Был ли царевич зарезан или убил себя сам в припадке болезни, которой он, видимо, страдал? Вот вопрос, перед которым мы стоим до сих пор, не будучи в состоянии точно и определенно разрешить его. Если отнестись совершенно беспристрастно к следственному делу, то нельзя не обратить внимания на поразительное согласие всех в описании припадка падучей, якобы унесшего Дмитрия; удары, наносимые себе самому по горлу, корчи и судороги — все так типично для этой болезни. Читая Следственное дело, нельзя не задуматься, нельзя с легким сердцем признать его лживым, и у читателя неотступно в голове остается лишь один вопрос: как допускали ребенка, больного падучей, играть ножом? Однако смерть семилетнего ребенка царского рода, неожиданная и внезапная, не могла не поразить умов; она должна была при тогдашнем легковерии, неосведомленности и при частых насильственных смертях в царской семье показаться неестественной. Обстановки, в которой случилась смерть царевича, было достаточно, чтобы пошли всякие слухи, — и что он убит, а потом и что его спасли от смерти. Во всяком случае мысль о том, что убийцей Дмитрия мог быть боярин Годунов, появилась не сразу и разделялась далеко не всеми, и до самозванца было много людей, говоривших, что „Борис неповинен в заклании царского младенца" (Временник Ив. Тимофеева. Р. И. Б. XIII, 315). С другой стороны, не менее ярк и подробен рассказ об убийстве царевича. Осип Волохов подошел к нему и спросил его, взяв за руку: „Царевич! что у тебя, новое ожерелье?" Когда ребенок поднял голову, он ударил его ножом. Качалов с младшим Битяговским dokonчили царевича, избив защищавшую его кормилицу. Но если он был убит, то кому нужна была его смерть?» (28—29).

Автор разбирается в психологии людей того времени и в ней ищет ответа на поставленный вопрос. «В обычаях москов-

ского царствующего дома было устранять и даже преследовать боковые линии, в которых государи боялись найти соперника». Поэтому удалить царевича Дмитрия в Углич, лишь только воцарился Федор, было делом вполне естественным. А из Углича потом пошли слухи, рисовавшие маленького Дмитрия в непривлекательном свете. «Больной, озлобленный, он иногда будто бы напоминал отца и знавшим его внушал опасение в том, что, выросши, может воскресить времена Грозного царя». Созреть поэтому мысли об устранении Дмитрия было нетрудно (29).

• Боковые линии всегда были предметом подозрения; от маленького царевича не ждали в будущем хорошего, и от него могли отделаться убийством, которое назначенные из Москвы следователи превратили в самоубийство. Но, конечно, если царевич был действительно убит, то едва ли умный и тонкий Б. Ф. Годунов был в нем прямо замешан из личных честолюбивых замыслов: об окончательной бездетности царя и царицы не было еще речи. Несколько раз перенесенные неудачные роды еще не вполне лишили царицу Ирину надежды на потомство, и судьба, казалось, улыбнулась царской чете, послав ей, как раз после убийства Дмитрия, в 1592 году, дочь, царевну Феодосию Федоровну, прожившую, увы, едва два года. Не честолюбивые замыслы получить со временем царский престол, а привычное отношение к боковым линиям царствующего рода и своеобразное понимание интересов государства и царствующей семьи могли заставить власть имущих в Москве устранить с пути царя Федора и его семейства возможного врага — угличского царевича. При слабости главы царского рода и длительном малолетстве чаемых царских детей семья Федора Ивановича долгие годы нуждалась бы в надежной опеке царского шурина, а злейшим врагом и царской семьи, и Годунова легко мог (sic!) сделаться царевич Дмитрий. Если предположить, что царевич был убит по внушению из Москвы, то может статься, что действительный глава государства, конюший боярин и слуга Борис Федорович Годунов, не был чужд ни этой мысли, ни приведения ее в исполнение» (Смутное время. Госиздат, 1921. С 30).

В какой степени приемлемы толкования проф. Готье? Насильственное устранение родственников в боковой линии он изображает как своего рода традицию, обычай: однако прецеденты, на которые он опирается, сложились в обстановке совсем несходной с тою, какая наблюдается в данном случае. Там боковые линии представляли собою опасность реальную,

действительную. Дмитрий, внук, равно и Андрей, брат Ивана III, служили, действительно, угрозой его сыну Василию; позже такую же угрозой малолетнему Ивану Грозному явились его дядья, братья отца; и сам Грозный покончил с Владимиром Старицким и истребил всю его семью, имея еще со времен болезни (1553) очень убедительные, в его глазах, основания видеть в нем угрозу своим сыновьям.

В 1591 г. положение было иным. Самому Федору Дмитрий не угрожал уже по одному тому, что не мог угрожать, а за неимением у царя прямого потомства в нисходящей линии и угрожать было некому. Трудно допустить, чтобы Дмитрия устранили заранее, в предвидении возможности появления у Федора детей: поступить так не значило ли бы перестараться, хватить через край, тем более что если бы впоследствии, с появлением у Федора детей, Дмитрий и оказался бы «опасным», то устранить 12—13-летнего мальчика или даже 16—17-летнего юношу не представляло бы большого труда, чем семилетнего ребенка.

Зато если в 1591 году Дмитрий не угрожал Федору, то он мог угрожать другому. Именно бездетность царя при его хилом здоровье, заставлявшем постоянно быть готовым к его смерти, становилась реальной опасностью для тех, кто правил в ту пору именем Федора, так как со смертью последнего путь к престолу, естественно, открывался Дмитрию. Вот почему, даже допуская вместе с автором, что Борис не мечтал о царском троне лично для себя, следует признать, что ему следовало серьезно задуматься над тем, что ожидало его по воцарении Дмитрия.

29. С. Ф. Платонов — защитник Годунова. Еще в первом своем труде: «Очерки по истории Смуты», 1899. С. 212—215, он отмечал «две особенности в изложении дел Бориса независимыми и самостоятельными русскими писателями XVII века: во-первых, они все неохотно и очень осторожно говорят об участии Бориса в умерщвлении царевича Дмитрия; во-вторых, они все славят Бориса как человека и правителя». Например, Авраамий Палицын в книге своей, «следуя основной своей задаче — обличить те грехи московского общества, за которые Бог покарал его Смутой, — обличает и Бориса, но углицкое дело вовсе не играет роли в этих обличениях».

В другой своей работе «Борис Годунов» (1921. С. 93—103), отказываясь «возобновлять старую и безнадежную полемику о том, умер ли царевич в Угличе, или же спасся от покушения; и если умер, то сам ли зарезался или был зарезан; и если был зарезан, то участвовал ли в этом преступлении Борис, или же

не участвовал», — Платонов ставит себе иную цель: «представить дело так, как выясняется оно по текстам уцелевших документов читателю, не склонному к предвзятым обвинениям против Бориса и не зависящему от того или иного толкования следственного дела или пресловутых „житий" и „сказаний"».

Ответ на вопрос Платонов ищет в обстановке, в атмосфере, в какой сложились представления о виновности Бориса. Успех Бориса при дворе создал ему врагов; ссылка бояр-соперников, казнь некоторых были приписаны властолюбию и зачтены ему в личную вину. «Если Борис сумел воспользоваться малоумием Федора для того, чтобы стать правителем государства, то естественно было ждать, что правитель воспользуется царским неплодием для того, чтобы стать самому наследником царства и „улучить" себе престол. Подобного рода подозрения и гадания в такой мере соответствовали обстановке и характеру Бориса, что казались непререкаемыми; их невозможно было опровергнуть никакими доводами и соображениями».

Между тем царевич, несомненно, страдал эпилепсией, отношения между Нагими и приставленным к ним агентом Годунова, Битяговским были более чем натянутые; топография места указывает, что смерть приключилась в глухом месте внутреннего двора, вдали от толпы.

Причину народного бунта с его последствиями (убийствами Битяговского и других) Платонов, вслед за Аксаковым и Беловым, готов видеть в действиях царицы-матери: «версия царицы, будто ее сын зарезан московским дьяком и его сыном с их приятелями, была легко воспринята толпой».

«Состав Следственного дела, безупречный с точки зрения палеографической, был правилен и юридически. В руки московских властей он дал материал бесспорный для возбуждения преследования против Нагих и угличских „мужиков". Но этот материал, по-видимому, не обнародованный правительством для общего сведения, не мог, конечно, разубедить тех, кто поверил по слухам в насильственную смерть царевича и, приписывая убийство Битяговским, почитал, по правилу *cui prodest*, первоинновником злодейства Бориса Годунова. На этом, например, стояли всю свою жизнь некоторые Нагие, так желали думать все вообще ненавистники Бориса, так шептала московская молва, подбиравшая всевозможные сплетни. Большой вероподобностью враждебных Борису толкований Угличской драмы объяснялись их упорность и распространенность».

Автор действительно не «возобновляет старой и безнадежной полемики», но, насколько можно расшифровать его толкования,

высказывает мысли, которым самим «полемики» не избежать. Его мысль можно формулировать так:

Царевича не убивали; но в его смерти, будь она, по внешнему, самая естественная, в самых обыкновенных условиях, Бориса обвинили бы все равно — такое уж сложилось об этом человеке представление, что он способен на все. Толки и слухи, неблагоприятные для Годунова, охотно раздувались его многочисленными врагами. Следственное дело, изложившее факты вполне добросовестно, к сожалению, осталось неопубликованным, и это дало еще более пищи злостным нападкам. На почве таких слухов и выросли все те «жития» и «сказания», на которые опираются исторические исследования, бросающие, начиная с Карамзина, обвинение Годунову в прямом или косвенном убийстве.

30. Ю. В. Татищев. К вопросу о смерти царевича Дмитрия. Сборник статей по русской истории, посвящ. С. Ф. Платонову. СПб., 1922. С. 219—225. Автор полагает, что царевич Дмитрий действительно погиб тою или иною смертью в Угличе 15 мая 1591 г. Основанием ему служит неизвестная ранее запись во вкладных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, из которой узнаем, что:

1. «Великая княгиня старица Марфа» ровно через год, 15 мая 1592 г., сделала по «сыне своем царевиче князе Дмитрии Ивановиче» вклад в Кирилло-Белозерский монастырь (потир и несколько вещей из столовой посуды), причем автор старается доказать, что самый вклад был не заздравный, а заупокойный.

2. В 1617 году дядя царицы Марфы, Андрей Александрович Нагой, в предсмертном завещании упоминает про коня, которого он взял у своего брата Михаила: «и тот у меня конь был, и взяли его с моими животы в опале на государя, на Угличе, как царевича Дмитрия „убили“».

См. еще: Николаев А. в Р. Б. Словаре (1905), с указанием на литературу. — Иконников В. С. Новые исследования по истории Смутного времени Моск. гос-ва. Киев, 1889. С. 12 (из Киев. Унив. Известий, 1889, май) указывает еще на «незначительную» статью В. Лядова, ЖМНПр. Ч. 89-я; кроме того, «об этом деле писал Н. М. Коншин (Отчет Имп. Публ. Библ. 1876. С. 172, рукоп.) и делал доклад в Моск. Юридич. Общ. Муратов (Порядок, 1881, № 300. С. 3)».

**№ 24. КАК БЫЛО СОСТАВЛЕНО ПИСЬМО
ЛЖЕДМИТРИЯ I К ПАПЕ КЛИМЕНТУ VIII
24 АПРЕЛЯ 1604 ГОДА?**

В 1898 г. о. Пирлинг опубликовал, воспроизведя его факсимиле, собственноручное письмо Лжедмитрия на польском языке к папе Клименту VIII (*Lettre de Daitri, dit le Faux a Clement VIII. Paris, 1899*). Оно было потом воспроизведено Бильбасовым, Гишбергом, Бодуэном де Куртенэ и Пташицким (последним фототипически), породило целую литературу и, благодаря филологическому анализу последних двух ученых, едва ли не окончательно решило вопрос о национальности Лжедмитрия: он был великорус по происхождению, но из южных ли, акающих областей Московской Руси, или из северных, окающих — для определения этого Бодуэн не находит в самом письме никаких указаний. Зато если выяснен вопрос о происхождении, то спорными остались догадки о процедуре составления письма. По этому пункту мнения Пташицкого и Б. де Куртенэ существенно расходятся. Между тем расхождение это немаловажное: тот или иной ответ определит в наших глазах, в какой мере чувствовал себя свободным и независимым Лжедмитрий по отношению к иезуитам и Риму.

С. Л. Пташицкий. Филологический анализ письма привел его к следующим выводам:

1. Письмо составляло другое лицо: Лжедмитрий только переписывал его.
2. Специально польские обороты и полонизмы, привычка пользоваться специально польскими грамматическими формами обличают в составителе письма лицо литературно образованное. Составитель прекрасно проникся духом польского языка, совершенно свободно и правильно владел польской литературной речью. Уже одно это не позволяет в авторе письма признать Лжедмитрия.
3. Что касается внешней стороны письма, то буквы выводятся старательно, «но очень робко, строки неровны, идут волною, а буквы прыжками. С шестой, если даже не с четвертой строки, начинаются поправки, переделки букв, вставки, зачеркивания. Сразу видна рука, не привыкшая к тому делу, за которое взялась».
4. Иногда форма польского письма заменена формой русского письма и произношения: *Prewielebny, prigod, priswany, Rimskiego, diwna, Dmitr, 24 April, Kostiol, pasterew* и др.

5. Писавший, несомненно, русского происхождения с сильным навыком к русской разговорной речи и с плохой практикой в польском живом языке; переписывая, он недостаточно свободно разбирался в тексте, служившем ему оригиналом. Писавший письмо не только русский, но и великорус, не из Западной Руси: это доказывается начертанием некоторых букв, практиковавшихся в московском письме начала XVII века. Очевидно, что навыка в польской речи он не имел и с трудом овладевал польской графикой («Письмо Первого Самозванца к папе Клименту VIII». Известия отд. р. яз. и слов., т. IV, 1899, кн. I, 375—422, с приложением факсимиле самого письма).

Бодуэн де Куртенэ, перепечатывая с сохранением всех его орфографических особенностей письмо Лжедмитрия и подвергнув такому же тщательному анализу филологическому, пришел к следующим выводам:

1. Писавший имел навык к письму кириллицей.
2. На его польском письме сказалось сильное влияние русского языка.
3. Писавший был великорус по происхождению. Малорусское или белорусское происхождение его совершенно исключено.
4. Опытный в церковнорусской письменности, он научился впоследствии бегло читать и говорить по-польски, общался с людьми образованными, но опыта в польском письме не имел — отсюда сильное влияние на его польском письме великорусских приемов в графике и орфографии. Латинский язык он знал, но плохо.
5. Письмо было так составлено: Дмитрий в общих чертах наметил его содержание и поручил своему секретарю или кому-нибудь другому изложить его мысли на бумаге. Этот «кто-нибудь другой» составил черновой текст, а Дмитрий переписал его набело и поставил свою подпись.

6. Совершенно недопустимо предположение, чтобы содержание письма было выработано посторонним лицом, а роль Дмитрия сводилась к простой переписке не им заготовленного текста: оно составлено согласно его указаниям, потому что по содержанию не вполне совпадало с желаниями о. иезуитов; не даром латинский текст письма не есть простой перевод, а переделка с довольно существенными отличиями (J. Baudouin De Courtenay, Strona jezykowa oryginalu polskiego listu Dymitra Samozwanca do papieza Klemensa VIII, z dnia 24 kwietnia roku 1604 w Krakowie. 1899; str. 31; см. особенно с. 17, 18, 23—26).

Ал. Гиршберг воспроизводит текст письма и допускает белорусское происхождение писавшего, находя, что такие ошиб-

ки, как *odstempstwo* вместо *odstepstwo* или неразличение *i» от «y», еще не доказывают его великорусскости: подобное смешение наблюдается и в польских рукописях того времени; несомненные же великоруссизмы: *gimski*, *prigod* вм. *gzumski*, *przigod* мог допустить и белорус. Если Дмитрий родился в границах прежней Польши, то, несомненно, происходил из Литвы или вообще был уроженец одного из восточных воеводств Речи Посполитой. А в устной речи поляков, живущих на Руси, даже среди образованного класса можно наблюдать и по настоящее время подобные отступления от правильной речи, — тем более они допустимы у Самозванца, не получившего, в сущности, никакого образования (Al. Hirschberg, *Dymitr Samozwaniec. We Lwowie. 1898, str. 289*).

Е. Н. Щепкин не согласен с выводами Пташицкого. Он оспорил их впервые в «Архиве» Ягича, а в новой работе говорит: «Мы лично должны еще раз (см. *Archiv f. Slav, philol. V. XXXL, S. 123; V. XXII, S. 412*) признаться, что доводы с.-петербургского ученого нас не вполне убедили и что мы охотнее примкнем к соображениям проф. Бодуэна де Куртенэ (*Strona jezykowa Listu, 25—28*). Трудно поверить, чтобы при рабской переписке Дмитрий, несомненно умея говорить по-польски, в польскую грамоту и речь внес столько особенностей церковнославянской письменности и разговорного русского языка. Письмо не могло быть написано исключительно одним Савицким, так как не вполне соответствовало его желаниям; при передаче польского текста по-латыни этот иезуит не переводил его дословно, а свободно перерабатывал по-своему. Для пассивной переписки отцы-иезуиты могли бы предложить царевичу и прямо латинский текст, но им, очевидно, нужно было письмо с ясными следами личного авторства самозванца. Составлению этого письма Дмитрий посвятил Светлое Воскресенье 18 апреля 1604 года; итак, он имел досуг для того, чтобы набросить его сперва начерно, а потом уже переписать. Поэтому участие Савицкого мы допускаем только в том смысле, что он мог предварительно рассказать царевичу на словах, как приблизительно надо писать папе, мог прослушать черновой текст Дмитрия и устно или письменно внести поправки и дополнения и т. п. Соединение в письме хороших польских оборотов с неправильной графикой и орфографией можно, кроме частичной помощи Савицкого, объяснять тем, что царевич за три года, проведенные в Польше, вполне овладел живой речью и литературным языком, но не приобрел навыка в письме. Надо только припомнить витиеватое обращение Дмитрия к польскому королю на первой аудиенции

(*La Russie et le Saint-Siège*, 435) и его беседы с поляками в „Дневнике“ Немоевского (напр. *Pamiętnik*, р. 56). Вообще нет основания считать сплошной ложью следующее донесение нунция Рангони от 24 апреля 1604 года: *m'ha dato una lettera scritta et sottoscritta in Polacco di mano sua propria a S. Santita pregandomi lo scusi nel carattere non buono et dettatura, et ch'io la mandi come faccio annessa, con la translatione fatta ad ogni buon fine in latino del migliore modo che s'e potuto dal P. Savicio, qual anco per se staesse et avertito da me ha sopravveduto tutto* (P. Pierling, *Rome et Demetrius*, р. 187). Для католической церкви все это письмо могло иметь значение только запродажной записи на душу Дмитрия. Возможность, что Самозванец, написавший или переписавший письмо, был белорусом, воспитанным на церковнославянской письменности, не безусловно исключена, но наиболее вероятным филологи считают, что он вышел из Москвы. Историкам оставалось только проверить этот вывод на основании своего материала (Политика Папского престола в Смутное время. Летопись ист.-фил. Общ. при Новор. ун-те. Т. IX, 1901, 343—344).

В. А. Бильбасов. Письмо 24 апреля для Бильбасова лучшее доказательство, что Лжедмитрий (сознательный самозванец, так как царевич Дмитрий действительно был убит в Угличе) — отнюдь не создание иезуитов: письмо «писано русским, не вполне владеющим польской речью. Русицизмами усеяно все письмо настолько, что они затрудняют даже чтение, не только понимание письма» (Письмо Лжедмитрия Клименту VIII. Р. старина. 1898, май, 306).

№ 25. КТО ЦАРСТВОВАЛ В РОССИИ ПОСЛЕ БОРИСА ГОДУНОВА В 1605—1606 гг.?

Это один из самых запутанных вопросов русской истории. Ему посвящен длинный ряд исследований со всякого рода догадками; одна гипотеза сменяла другую, — и в конечном результате русская историография по-прежнему далека от последнего для всех удовлетворительного слова, да при наличии данных, находящихся в распоряжении исследователя, едва ли и в состоянии будет сказать его. По-видимому, все попытки разрешить эту историческую загадку останутся бесплодными до той поры, когда какой-нибудь новый документ, новый, доселе

неизвестный факт не рассеет тот мрак, что донныне окутывает личность «Названного Дмитрия».

Четыре главных пункта вызывают наибольшее расхождение наших историков: 1. Кто именно был тот, кто носил имя царя Дмитрия в 1605—1606 гг.? 2. Из какой среды он вышел? 3. Кто выдвинул его, кто сделал его царевичем Дмитрием? 4. Кем он был в собственных глазах?

1. КТО ТАКОЙ? Соблазнительную мысль признать в Лжедмитрий истинного царевича, сына Ивана Грозного, спасенного от руки убийц, разделяли одно время Иконников, Суворин, гр. Шереметев, Беляев. Первоначально этого же мнения держался и о. Пирлинг в раннем труде своем о Лжедмитрий (1878). Однако большинство историков признает Лжедмитрия за Григория Отрепьева, расстригу, беглого монаха Чудовского монастыря. Таковы Карамзин, Погодин, Соловьев, Казанский, митр. Макарий, о. Пирлинг (Суворин: «или Отрепьев был царем, или царевич скрывался под именем Отрепьева»). Остальные, не считая его царевичем, не признают и за Отрепьева: Костомаров, Иловайский, Белов, Гиршберг, Щепкин.

Труднее всего было поддерживать гипотезу о спасении царевича в 1591 г. и о воцарении истинного Рюриковича, и надо отдать справедливость сторонникам этой гипотезы: они не рисковали настаивать на превращении ее в доказанную теорему, довольствуясь приведением аргументов, могущих служить к ее подтверждению: письменные документы могли быть умышленно истреблены с целью замести следы; следователи, установившие самозаклание царевича, могли искренно заблуждаться, кого именно видели они в убитом ребенке; сходство царевича с «Названным Дмитрием» устанавливалось на основании признаков, свидетельствующих о существовании эпилепсии у того и другого (Суворин); старались искать путей, по которым можно было бы напасть на следы, ведущие к подтверждению защищаемой гипотезы (гр. Шереметев); желанием скрыть действительный факт (спасение) объясняли ту торопливость и быстроту, с какой изменили обстановку, при которой произошло «убийство» (Беляев. См. Спор. вопр. № 23).

2. ИЗ КАКОЙ СРЕДЫ ВЫШЕЛ ЛЖЕДМИТРИЙ? Иловайский приписывал ему западнорусское происхождение; Гиршберг, прямо не высказываясь, дает основание думать, что и он разделяет эту гипотезу. Однако после филологического анализа письма Лжедмитрия к папе Клименту VIII, произведенного Пташицким и Бодуэном де Куртенэ (см. Спор. вопр. № 24), в науке господствует мнение о великорусском происхождении Лжедмитрия.

3. КОМУ ОБЯЗАНА РОССИЯ ПОЯВЛЕНИЕМ ЛЖЕДМИТРИЯ (КТО ПОСТАВИЛ ЕГО)? Вопрос, чьим орудием он был, в чьих интересах было выставить соперника Борису Годунову — особенно спорен. В первой половине XIX века преобладало мнение, видевшее в появлении Лжедмитрия руку иезуитов (митр. Платон, Погодин); несколько позже это мнение поддерживал Павлов, но права гражданства в науке оно не приобрело уже потому, что выросло в значительной степени из соображений не объективно-научных, а предвзятых, на почве недоверчивого отношения ко всему, что исходило из Рима, — отношения, воспитанного вековой борьбой православной России с католической Польшей. Эту гипотезу сменил более осторожный и правильный взгляд: в появлении Лжедмитрия иезуиты ни при чем, иное дело — их старания использовать «Названного Дмитрия» в целях пропаганды и насаждения католичества среди русских.

Большинство историков видит в Лжедмитрии орудие не иезуитов, а бояр, врагов Годунова, старавшихся свалить его с трона (Щербатов, Соловьев, Белов, Гиршберг, Ключевский, Пичета, Платонов). Что касается Костомарова, то, сходно мысля с вышепоименованными историками, позже он предпочел появление самозванца объяснять участием казачества.

По данному вопросу Иловайский занимает среднюю позицию: не разделяя ни «иезуитской», ни «боярской» гипотезы, он источник смуты ищет все же в католической среде, в интриге польско-литовских панов. С особым домислом выступил и Щепкин: Лжедмитрии подготовлен не иезуитами, не боярами, однако все же в русской среде — влиятельными думными дьяками (А. Щелкалов). Своеобразную гипотезу выставил Павлов: по его мнению, было два самозванца: одного, именно Гр. Отрепьева, готовили бояре, другого, втайне от них, польско-литовские круги. Этот последний самозванец, польской выделки, и воцарился в Москве.

4. КЕМ БЫЛ ЛЖЕДМИТРИЙ В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ? Большинство историков считает его самозванцем, т. е. лицом, сознательно и умышленно надевшим на себя личину царевича, сына Ивана Грозного; другие, и их немало, справедливо полагают, что «Названный Дмитрий» искренно верил в царское свое происхождение. Таковы Соловьев, Бестужев-Рюмин, Павлов (Лжедмитрия воспитали в этом убеждении иезуиты), Ключевский, Суворин и историки младшего поколения Покровский, Пичета, Готье. Одно время к этому мнению примыкал и Костомаров (в своей докторской диссертации 1864 г.), но потом отказался от

него (вообще Костомаров, как видим, проявил большую неустойчивость во взглядах на Лжедмитрия).

5. Можно отметить еще одно расхождение русских историков, но более субъективного характера: ЧТО ЗА ЛИЧНОСТЬ БЫЛ ЛЖЕДМИТРИЙ? Какими чертами можно и следует охарактеризовать его как ЧЕЛОВЕКА? Одни рисуют его симпатичными чертами: правда, легкомысленный, легко увлекающийся, он, однако, одарен был большими способностями, очаровывал блеском своего недюжинного ума, культурным превосходством; пылкий, впечатлительный, и в то же время доверчивый, в известные моменты даже великодушный, он привлекал к себе не только смелой уверенностью в своих поступках, но и горделивым чувством, с каким противопоставлял родное, русское, чужому, иноземному. Смерть встретил он мужественно (Соловьев, Суворин). Платонов рассуждает иначе. Лжедмитрий не сумел разобраться в боярских партиях, не понял необходимости твердо соблюдать правила и обычаи Православной церкви, поведения был далеко не безупречного; он не заботился о том, чтобы угодить окружающим, не ценил друзей, раздражал врагов. Но так ли уж противоречит одно другому? В расхождении Платонова с Соловьевым и Сувориным нельзя не уловить двух различных подходов. Платонов оценивает Лжедмитрия преимущественно как государственного деятеля, и в этой области Лжедмитрий, действительно, наделал много промахов; но противоположный взгляд подчеркивал в нем те симпатичные чисто человеческие черты, которые могли иметь место и при отсутствии государственных достоинств.

Вот перечень лиц, суждения которых приводятся на последующих страницах:

Щербатов	Иловайский
митр. Платон	Гиршберг
Карамзин	о. Пирлинг
Погодин	Суворин
Соловьев	Щепкин
Костомаров	Шмурло
Павлов	Платонов
Иконников	Ключевский
Белов	Покровский
Казанский	Пичета
митр. Макарий	Готье
Бестужев-Рюмин	

Первые наши историки ограничивались простыми догадками и субъективным подходом к делу: по М. М. Щербатову — Лжедмитрии орудие московских бояр; для митр. Платона (в его «Церковной истории») — он подставлен иезуитами, а кто он сам? может быть, Гришка Отрепьев, а может быть, и иной кто; по: Карамзин Н. М. ИГР. Т. XI. Гл. П. С. 125 — «один злой инок» внушил Гр. Отрепьеву мысль назваться царевичем, чтобы «воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятью Дмитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу».

1. А. Л. Погодин (1827) разделяет мнение митр. Платона на роль иезуитов и считает Лжедмитрия Гр. Отрепьевым, причем он едва ли не первый из русских историков несколько глубже заглянул в коренные причины, вызвавшие появление не лично Лжедмитрия, а самозванцев вообще (как бы примитивно на наш современный взгляд ни было понимание этих коренных причин): «Иоанн Грозный обуздал все страсти России, и в продолжение 25 лет крепкой рукой своей держал их в тяжелых кандалах, без малейшего движения; по закону нравственной упругости они исторглись при первом случае на свободу, — и если б не Лжедмитрии, то какой-нибудь Хлопко или другой кто возмутил бы всю Россию, которая не могла быть спокойною в это время» (Нечто об Отрепьеве. Историко-критич. отрывки. М., 1845. С. 330. Статья писана в 1827 году).

2. С. М. Соловьев (1858) не только высказывает свое мнение, но и доказывает его рядом соображений: Лжедмитрии — это беглый монах Гр. Отрепьев, но поставили его не поляки, не иезуиты в Польше, а московские враги Бориса — бояре, причем самая мысль назваться Дмитрием была Отрепьеву внушена: его уверили в царском происхождении. Лжедмитрии был убежден в том, что он действительно сын Ивана Грозного.

Иными словами, это Лжедмитрии, но не Самозванец. «Чтоб сознательно принять на себя роль самозванца, сделать из своего существа воплощенную ложь, надобно быть чудовищем разврата, что и доказывают нам характеры последующих самозванцев». В Лжедмитрии «нельзя не видеть человека с блестящими способностями, пылкого, впечатлительного, легко увлекающегося, но чудовищем разврата его назвать нельзя. В поведении его нельзя не заметить убеждения в законности прав своих; ибо чем объяснить эту уверенность, доходившую до неосторожности, эту открытость и свободу в поведении? чем объяснить мысль отдать свое дело на суд всей Земли, когда он создал

собор для исследования обличений Шуйского? чем объяснить в последние минуты жизни это обращение к матери? на вопрос разъяренной толпы — точно ли он самозванец, Дмитрий отвечал: «Спросите у матери!» — «Почему, говорят, Расстрига, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях?» Возможность таких вопросов служит самым лучшим доказательством того, что Лжедмитрий не был сознательный обманщик. Если бы он был обманщик, а не обманутый, то чего же бы ему стоило сочинить подробности своего спасения и похощений? Но он этого не сделал. Что он мог объяснить? Могущественные люди, его подставившие, разумеется, были так осторожны, что не действовали непосредственно; он знал и говорил, что некоторые вельможи спасли его и покровительствуют, но имен их не знал; по имени он упоминал только о дьяках Щелкаловых» (ИР, VIII. Гл. П. С. 78).

Свои основные положения о личности Лжедмитрия Соловьев в основе высказал и в более раннем труде своем: «Обзор событий р. истории от кончины ц. Федора Иоанн, до вступления на престол дома Романовых». Современник. 1848. Т. VIII, № 3. С. 4—10 (глава III).

Ср. еще его «Заметки о самозванцах в России» (Р. архив. 1868, февраль, 272—274); полемизируя с «Вестником Европы» (с Костомаровым), 1867, сентябрь, 64, Соловьев утверждал, что убедить Лжедмитрия, выросшего в среде, где счет годам велся не точный, в том, что истинный царевич и в детские годы был спасен от руки убийцы, было вполне возможно.

В новых изданиях VIII тома ИР, в примеч. 65, Соловьев полемизирует с Костомаровым (Смутное время, II, 59 и след.), «которому непременно хочется уничтожить тожество Лжедмитрия с Гр. Отрепьевым»: Соловьев старается доказать достоверность показаний старца Варлаама в его известном извете («Челобитной»).

3. Н. И. Костомаров (1864) выставил в своей докторской диссертации следующие положения:

1-. Лжедмитрий не был Гр. Отрепьевым, иначе он не рискнул бы отдать дело Шуйского на суд бояр и выборных от всех сословий: очевидно, он «был твердо уверен, что невозможно доказать, что он Гришка Отрепьев». К тому же «существуют прямые свидетельства современников, опровергающие, что он был Гришка»: Маржерет, Хроника Буссова, Кобержицкий, Лубенский.

2. Это было «лицо оболыщенное и подготовленное боярами, партией, враждебной Борису». Они уверили пылкого, увлекающегося юношу, что он царевич Дмитрий, спасенный в младенчестве.

3. Он был искренно убежден в своем царском происхождении. В пользу своего мнения Костомаров приводит восемь соображений, в том числе:

а) Великодушное помилование Шуйского. «Может ли обманщик довериться тому, кто уже раз обличал его обман и всегда имеет возможность обличить его более чем кто-нибудь?»

б) Отношение к царице Марфе: «Послать за Марфой человека из враждебной партии (Михаила Скопина-Шуйского), встречать ее всенародно, изъявлять знаки сыновней любви, не спросивши наперед: дозволит ли она играть такую комедию — мог только человек, вполне убежденный в том, что он сам ее сын».

в) «Самозванец-обманщик, без сомнения, осторожно показывал бы себя людям и остерегался, чтоб его не увидели и не узнали прежние знакомые. Дмитрий, напротив, вел себя так открыто, как ни один из царей московских. Он выходил пешком, в противность обычаю, и принимал просьбы два раза в неделю сам лично».

4. Челобитная Варлаама подложна; доверять ей нельзя. (Кто был первый Лжедмитрий? Историч. исследование. СПб., 1864).

Не прошло, впрочем, и года, как Костомаров отказался от двух главных своих положений, в противность им стал доказывать, что: 1. Лжедмитрий Н Е был орудием бояр; 2. он Н Е верил в свое царское происхождение и был актером, хорошо игравшим свою роль. Это он высказал в своей полемике с Павловым-Бицыным.

4. Н. М. Павлов (псевдоним Н. Бицын). «Правда о Лжедмитрии». Р. архив. 1886, № 8. С. 524—566 (первоначально в газете «Дни», 1864, № 51 и 52, где текст был «несколько переиначен»).

«Появление Самозванца вовсе не было ни внезапно, ни случайно. Ничуть оно не зародилось в голове смельчака, переуверившего потом весь мир по-своему; возможность появиться Дмитрием назревала годами; смута, еще неопределившаяся, уже давно носилась в воздухе; если не положительный заговор, то злой говор давно уже глухо зашептывался во всех углах. Напоследок вдруг он оказывается раскинут огромною, чрезвы-

чайно спутанной сетью зараз и в боярских кружках, и в темных гнездах людей Алексинских и Северских, и в Литве, ощутим даже во взаимных сношениях литовцев с московскими боярами и бояр с чернью. Это была, без всякого преувеличения, колоссальная политическая интрига» (537).

• Борис прямо сказал боярам в лицо, что Самозванец их дело. Бояре слагали теперь (т. е. когда Самозванец появился в русских пределах) всю вину на Литву» (537) и имели все к тому основания: • Дело в том, что, воспользовавшись смутным состоянием умов в тогдашней России, литовские злоумышленники замыслили столь зловещий, по выражению Платона, и огромный план, что в глубину его нескоро вдумались сами бояре. Простодушно доверяясь двуличным приятелям, враги Годунова как будто сообща с ними заводили в Москве свой боярский ков, не имевший другой цели, кроме свержения Бориса; боярами для этой цели изготовляемый Самозванец и был известный Гришка Отрепьев. Литовские же заводчики, сами заинтересованные их Гришкой и всюду им плодимою верой в Дмитрия, с виду во всем потакали им; а на самом деле, до времени загребая жар чужими руками и тем еще ослепляя глаза и связывая языки мнимым сообщникам, они только прокладывали путь Лжедмитрию собственного изделия, давно изготовленному ими для целей более широких. Его-то появлением они и готовили двойной обман, столько же неожиданный Годунову с целой Россией, как еще и самим боярам. Когда пришло время, сменив одного другим, явить миру уже всем народом чаемого Дмитрия, они и привели гостя в Россию: смешавшимся боярам, сбитым с толку и уже более ничего не понимавшим „в этом колдовстве“, оставалось только молча ему покоряться; а им, как понятно, и вовсе не предстояло повода для лишних объяснений» (549—550).

Итак, беглый монах Гришка Отрепьев, беспутствующий по монастырям расстрига — это одно лицо, а •самозванец литовских заводчиков» — совершенно другое. Биографии того и другого, •не противореча себе порознь, взаимно уничтожают одна Другую. Это — особые биографии двух совершенно особых лиц» (561).

Свое основное положение Павлов формулировал, может быть, с еще большей отчетливостью во второй статье («Ответ г-ну Костомарову»; см. ниже):

• Дело с первым Лжедмитрием целая интрига, — интрига сложная и запутанная. По-видимому, она зараз завязывалась с двух сторон; заводится она на Москве боярами, заводилась в

то же время или еще ранее на Литве иными заводчиками; как те, так и другие заводчики притом, по-видимому, друг с другом солидарны; вся суть интриги, однако ж, под конец всего в том и оказывается, что литовские заводчики тут перехитрили; в этой с двух сторон хитрой и нечистой игре Литва с самого начала хитрей и нечище играла. Бояре, доверяясь двуличным приятелям, заводили на Москве своего Самозванца никак не для того, чтобы он и в самом деле царствовал, а единственно, чтоб пошатнуть престол Бориса; ясное дело, что при такой ограниченной цели им всякий „забулдыга“ был на руку, и запроса на героя, который был бы не в шутку способен или достоин венчаться венцом Мономаха — тут нет и не было. Литва, напротив того, изготовляла своего собственного Самозванца для целей более широких; ей нужно было именно то, чтобы ее Самозванец царствовал; она, пользуясь боярским заводом Самозванца и плодимою им верой в Дмитрия, до времени только загребала жар чужими руками. Когда приспело время, литовские заводчики украли боярского Самозванца из мира, а своего выпустили в мир; они, на место ожидаемого боярами Гришки Отрепьева, привели совсем иного гостя в Россию» (574).

Участие иезуитов в создании этого иного Самозванца для Павлова несомненно: «Исповедовавший Самозванца, первый, сказавший другим, что это истинный Дмитрий, — иезуит. Сводят Самозванца с Вишневецким и знакомят с Сендомирским — иезуиты; убеждают польского короля дать ему помощь — иезуиты; Рангони торжественно помазуют миром, исповедует же опять — иезуит; из Кракова ему сопутствуют — иезуиты; в походе его советчики — иезуиты; в Москве, после коронации, приветствует его латинской речью — иезуит; лучший дом в Кремле занимают по самозванцеву приказу и там служат латинскую обедню — иезуиты и т. п. Вопрос заключается в том, что самый факт Самозванца в России — изначально собственный их иезуитский умысел и таил в себе по самой малой мере колоссальнейший план всемирного римского католичества» (553).

Ставленник иезуитов был обучен светскому обращению, был человек с образованием, хорошо знал латинский язык и, по свидетельству Де-Ту, мог написать папе «собственноручно довольно складное письмо»; встречающиеся же в письмах Лжедмитрия ошибки «In perator» и «Демииустри» лишь намеренный отвод со стороны иезуитов (556).

Кем же считал себя сам Лжедмитрий?

• Все поведение Лжедмитрия обличает в нем не сознательного бманщика, не заведомого самозванца, каким непременно был бы Отрепьев, а человека безгранично самоуверенного, полного евежду о самом себе. Довольствуясь о своем, будто бы царственном детстве общими сведениями, которые легко могли быть нушены посторонними, он не выдумывает о себе никаких одробностей: все такое ему самому легче представляется мутно-позабытым. Доверенность к русскому народу, с которой н вторгался в Россию и шел навстречу стотысячному Борису ойску, дивила самих очевидцев; речи перед битвой, в которых обыкновенно он призывал само Провидение решить: кто же, наконец, из двух прав? — эти его речи поразительны. К матери Марфе он выказывает неподдельную какую-то мечтательную нежность. К Годунову одинаково же питает какую-то неподдельную ненависть. Даже во время бунта, на вопрос: „кто ты?“ отвечает боярам: „спросите у матери!“ На лице его, однако ж, замечали по временам какую-то странно-угрюмую задумчивость. Если кто из друзей осмеливался приступить к нему с малейшим предостережением или самым незначашим намеком, он сейчас уже впадал в какую-то страстность, высказывал раздражение, будто тем еще задевали самый point d'honneur его; а между тем, видимо, для него самого постоянно оставалось что-то недоговоренным в его необычайном жребии, чего как будто и другим он избегал договаривать... и навеки унес в могилу свою недоговоренную тайну» (551—552).

Статья Павлова вызвала тотчас же вслед за ее появлением возражения со стороны Костомарова, только что перед тем опубликовавшего свое исследование •Кто был первый Лжедмитрий?» и где вопрос о личности Лжедмитрия решался поиному, чем решал его Павлов (см. выше):

Н. И. Костомаров. По вопросу о личности первого Самозванца и Гришки Отрепьева. Р. архив. 1886, № 8. С. 567—572 (первоначально в газете •Голос». 1865, № 30).

Тезис Павлова, будто Самозванца подготовили и выдвинули иезуиты, Костомаров оспаривает, как основанный не на фактах, а на эластическом может быть. Верно лишь одно: иезуиты воспользовались Самозванцем в своих интересах. Что же касается другого Самозванца, то •может быть, он подготовлен (был) другим враждебным Борису кружком, не знавшим о **Подготовке** первого?» (568). Выставлять же Гришку Отрепьева как истинного царевича бояре, разумеется, никак не могли: в Москве столько было народа, раньше неоднократно выдавшего,

знавшего его в лицо, что всякая попытка бояр в этом направлении была бы с первых же шагов изобличена как явный и грубый обман (571).

Священник, исповедавший Лжедмитрия в доме православного Адама Вишневецкого, был, конечно, православный, а не иезуит: с чего ради быть у Вишневецкого во дворе иезуиту? «И с какой стати претенденту на звание московского царевича в доме православного пана призывать иезуита? Ведь если допустить, что он желал со временем ввести католичество в Московском государстве, то все-таки надобно признать, что он, до поры до времени, сохранял это намерение в тайне от православных, и заявить об этом с самого начала в православном доме значило подвергать опасности собственный замысел: из православного двора весть понеслась бы по Украине, зашла бы в Московское государство и, вместе с слухом о спасении Дмитрия, понесся бы слух о том, что этот Дмитрий принял латинскую веру» (569).

Что касается иезуитского происхождения Самозванца, то оно плохо вяжется с той медленностью и равнодушием, какое он потом проявил к введению католичества; объяснять же это равнодушие, как делает Павлов, осторожностью, невозможно: эту «осторожность» Самозванец проявил не только со своими подданными, но и по отношению к папе, нунцию в Польше. Недаром «католическая церковь не доверяла ему и даже стала терять на него надежду» (569—570).

Точно так же ошибку *In perator* нельзя объяснять притворством. Эта ошибка читается в письме Самозванца к Мнишку — какие основания могли быть у него скрываться перед ним, тем более что в другом письме к тому же лицу Самозванец пишет вполне правильно: *Demetrius intimus filius et amicus*.

Ошибка Самозванца — «ошибка чисто школьника, нетвердо выучившего чужой язык. Что касается подписи „Демеустри“, то подпись эта очень неразборчива, и мы не беремся теперь объяснить ее». Ссылка на Де Ту и Вассенберга, показывающих будто Самозванец хорошо знал латынь, не убедительна: оба они говорили по слухам, не по личному свидетельству. «Как не поверить скорее Маржерету, который был близок к нему и который положительно уверяет, что он был плохой знаток латыни, или почти ничего не знал?» (570—571).

Завязалась полемика: на критику Костомарова Павлов ответил антикритикой:

Ответ Н. М. Павлова Н. И. Костомарову (День. 1865, № 4, или Р. архив. 1886, № 8. С. 573—582):

«Все возражения г. Костомарова мало к нам относятся; они даже подчас являются подтверждением наших слов, а не опровержением». На вопрос, откуда он взял, будто иезуиты свели Самозванца с Мнишком, Павлов отвечает: в Дневнике Марины, у Петрея и Де Ту (578—579).

Важно выяснить два обстоятельства: если Лжедмитрий был действительно не кто иной, как ставленник московских бояр, то почему они потом поклонялись ему в ноги, венчали Мономаховым венцом и, «видимо, недоумевали некоторое время: полно, не настоящий ли это Дмитрий?» И второе: как мог ставленник бояр считать себя истинным сыном Грозного и принимать за личное оскорбление, «когда друзья приступали к нему по этому поводу с каким-нибудь предостережением?» (579—580). Удовлетворительное объяснение дает лишь наша гипотеза: Лжедмитрий был воспитан иезуитами в сознании, что он истинный царевич, и когда «литовские заводчики», «мнимые сообщники простодушных московских бояр», «украва из мира Самозванца—Отрепьева, привели в Россию собственного своего Лжедмитрия, то боярам оставалось только молча покоряться перед этим инкогнито» (580).

Предлагаемое объяснение, продолжает Павлов, хорошо и тем, что мирит и наших историков. «Карамзин, например, не может отвергнуть несомненных исторических свидетельств о Самозванстве Отрепьева, он прямо за него выдает и самого Лжедмитрия, который был в Москве коронован; зато у Карамзина вся вторая половина истории Самозванца страдает неточностями, грешит натяжками и невольно скрадывает все те черты, в которых сквозит неподдельная искренность и, так сказать, самоверие этого никому неведомого. Г-н Соловьев не скрадывает этих черт: он прямо утверждает, что Самозванец сознательным обманщиком не был; но, оговорив, что «исторических свидетельств об Отрепьеве нет возможности опровергнуть» и не замилив этих двух противоречащих выводов, он не пошел далее Карамзина в точности и определительности образа им понимаемого Самозванца (580).

Н. И. Костомаров. Еще о первом Самозванце (Голос. 1865, № 56, и Р. архив. 1886, № 8. С. 582—590. Ответ на предыдущую статью:

Свое основное расхождение с Павловым Костомаров так определяет: *1) Признавая, как и г. Павлов, что иезуиты хотели и надеялись, посредством Лжедмитрия, провести свои стремления ко введению католичества в России, не видим достаточных оснований предполагать, чтоб это лицо было ими же под-

готовлено для этой цели. 2) Разделяя с г. Павловым мнение, что Самозванец, царствовавший в Москве, не был Гришка Отрепьев, не видим доказательств, чтоб последнего подготовляли бояре быть Самозванцем» (582).

Мнение, будто иезуиты свели Самозванца с Вишневецким и потом с Мнишком, бездоказательно; опираться в этом вопросе на Дневник Марины, Петрея и Де Ту нельзя (и Костомаров подробно старается показать почему). «Мнение это у г. Павлова приводится для подтверждения другого более главного, именно, что Самозванец подготовлен заранее иезуитами и притом так, что сам верил искренно в свое царственное происхождение. Других доказательств у г. Павлова нет. Наше главное и важнейшее возражение против него — это неимение достаточных данных, на которые должно бы опираться его мнение. Вопрос наш стоит в таком положении, что не нам приходится опровергать г. Павлова, а ему предоставить доводы голословного своего предположения, и недостаток этих доводов служит ему полным опровержением» (588).

Для большей убедительности, что он истинный царевич, а не Гришка Отрепьев, как толковали тогда, Лжедмитрии привел с собою Гришку (Маржерет), и так как эта мера имела полный успех и Самозванец в течение целого года признавался за настоящего Дмитрия, «то не вытекает ли из этого прямая необходимость принять, что мера, взятая им, была удовлетворительной, и все видели в показываемом Гришке действительного Гришку, а объяснение подставки вместо Гришки иного монаха — возникло после, когда надобно было сгладить противоречие, мешавшее утвердиться мнению, что царствовавший и низверженный был Гришка?» (589).

«Г-н Павлов говорит, будто я признаю Самозванца творением боярской партии в Москве и считаю его искренно уверенным в своем царственном происхождении. Действительно, прежде мы так думали, разделяя отчасти взгляд г. Соловьева, но отыскание важного источника в автографах Имп. Публичной библиотеки заставило нас изменить такое воззрение. Об этом была уже напечатана довольно подробная статья в „Голосе“; повторять сказанное нет нужды» (589—590).

Что касается до искренности убеждения в царском своем происхождении, на котором настаивает Павлов, то:

«Царствовавший под именем Дмитрия мог быть просто отличным актером, по собственному убеждению превосходно разыгравшим роль доброго государя, уверенного в своем царственном происхождении. Сценическое дарование, при сильном

успехе, зависящем от совпадения благоприятных внешних обстоятельств, может, Бог знает до какой степени, поднять силы человека. Что удивительного, если, усвоив себе роль царевича Дмитрия, он скоро сроднился с нею до того, что она сделалась его природою? Что удивительного, если этот великий актер при жизни сумел надуть и провести и Московское государство, и Польшу, и самих архиплотов иезуитов, а по смерти до сих пор продолжает надувать почтенных историков, и в том числе г. Павлова? Хорошо еще, что недолго царствовал, а то не такой еще пыли напустил бы в глаза нашим исследователям!» (590).

Н. М. Павлов. Ответ г-ну Костомарову на его статью «Еще о первом Самозванце». День. 1865, № 15, и Р. архив. 1886, № 8. С. 590—596:

Автор подчеркивает расхождение Костомарова с недавним его мнением: в диссертации «Кто был первый Лжедмитрий?» с. 48, он утверждал, что Самозванец был «творением боярской партии, враждебной Борису», — теперь он отрицает это на основании якобы «важного источника», напечатанного в «Голосе»; между тем «в целой массе источников Лжедмитриева царствования нет еще, может быть, другого, более ничтожного и менее важного, чем этот» (592).

Костомаров видит в Лжедмитрий «отличного актера» — «прелесть такого объяснения, кажется, понятна, без всяких комментариев: возражать на это было бы излишне» (593).

Определенного представления о личности Лжедмитрия Костомаров, по-видимому, не выработал. Два года спустя, продолжая считать его самозванцем, он выводит его «из сыновей одного из тех дворян и детей боярских, которые в значительном количестве убегали в царствование Ивана Грозного во владения Речи Посполитой и получали там поместья»; а в то же время он сознается, что «до сих пор история не может решить, кто был этот загадочный человек. Есть в нем черты, которые и теперь располагают исследователя склониться к признанию его действительным сыном Ивана Грозного: его постоянная смелая уверенность, с которой он высказывался, нигде не изменяя себе, с самого начала своего поприща до трагического конца; потом, признание матерью, признание Шуйского, характер, чуждый подозрительности и до крайности доверчивый, несоместимый с званием сознательного обманщика» (Смутное время. Монографии, VI, 328, 332).

Еще несколькими годами позже Костомаров готов видеть в создании самозванца казацкие руки, которые еще в предыдущие десятилетия «в польской Украине, вместе с польскими удаль-

цами, помогали уже нескольким самозванцам, стремившимся овладеть молдавским престолом... Украинские удалыцы постоянно искали личности, около которой могли собраться; давать приют самозванцам и вообще помогать смелым искателям приключений у казаков сделалось как бы обычаем... Когда в Московской земле стал ходить слух, что царевич Дмитрий жив и этот слух дошел в Украину, ничего не могло быть естественнее, как явиться такому Дмитрию. Представился удобный случай перенести в Московскую землю украинское своеволие под тем знаменем, под которым оно привыкло разгуливать по Молдавской земле» (РИ. Гл. XXIV. С. 609, 610).

5. Студент Иконников (будущий известный историк, Вл. Ст.): 1. Названный Дмитрий не был Отрепьевым. 2. Он верил в свое царское происхождение. 3. Он был, по всей вероятности, сыном Ивана Грозного (Кто был первым самозванцем? Киев. Унив. Известия, 1865, № 2).

6. Е. А. Белов (1873). Лжедмитрии — самозванец. «Подозрения, дававшие Костомарову основание считать Романовых прикосновенными к созданию самозванца, Белов не только принимает, но и подкрепляет их новыми соображениями. „Несомненно, Романовы принимали значительное участие в низвержении Бориса“, хотя „главная нить дела была не в их руках“. Отождествлять Самозванца с Гр. Отрепьевым нельзя: последний лишь „играл роль подготовителя“». (О смерти царевича Дмитрия. ЖМНПр. 1873, август, 308, 312).

7. П. С. Казанский. Исследование о личности первого Лжедмитрия. Р. вестник. 1877, № 8, 9, 10.

1. Это не был истинный царевич.

2. Митр. Платон и Бицын обставили довольно вескими доказательствами свое мнение (Лжедмитрии подготовлен был иезуитами; Казанский полностью перепечатывает соответственные страницы «Церковной Росс. Истории» Платона, что при редкости этого издания может служить ему заменой); в пользу этого же мнения говорят и письма папы Павла V. Вообще «подготавливаемого Самозванца иезуиты могли отправить на время в Москву и потом в Киев познакомиться с обрядами богослужения православного, пустить молву между казаками о спасении Дмитрия, наконец, заставить его у Вишневецкого объявить себя царевичем Дмитрием» (авг., 475); при всем том, на этом мнении окончательно остановиться нельзя (477).

3. Это «окончательно» выдает автора. Пособничество, поддержке иезуитов он придает большое значение, и ему, позволительно думать, хотелось бы, чтобы мнение митр.

Платона было справедливым, но анализ источников заставляет его доказывать противное, и он приводит восемь соображений в доказательство того, что иезуиты не готовили Лжедмитрия (477—483).

4. Лжедмитрий был Григорий Отрепьев.

5. «Всю силу сохраняет замечание Карамзина. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в столь важном деле Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедмитрия беглецом чудовским? Когда многие люди знали его в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца. Наконец, москвитяне видели Лжедмитрия живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали его дьяконом Григорием: ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени» (486—487).

6. И у иностранцев есть прямые свидетельства о том же: Желкевский, Петрей, Олеарий, Мильтон считали его Гр. Отрепьевым; показания Массы тоже сводятся к Отрепьеву (499). Правда, Буссов и Маржерет отрицают тожество, но и они «с бегством Отрепьева из Москвы связывают появление Самозванца» (497).

7. «Кажется, что и сам Самозванец в начале появления своего в Польше с именем Дмитрия царевича не скрывал того, что он под именем Григория Отрепьева укрывался в России. Иначе для чего бы ему рассказывать свои похождения так, что в них повторялась история Отрепьева?» (сент., 5).

8. «Самозванец не боялся объявить, что он носил имя Гр. Отрепьева, но так как вместе с этим нужно было признаться, что он расстрига, он и должен был молчать. Заметили, что он ни разу не посетил Чудова монастыря и что многие иноки из Чудова монастыря были высланы. Авраамий Палицын говорит, что бывший чудовский архимандрит, тогда митрополит Крутицкий Пафнутий, с первого раза узнал в новом царе бывшего монаха своего монастыря, но не посмел объявить о сем» (6).

9. Анализ источников о суде над В. И. Шуйским приводит автора к выводу, что суд состоялся не тотчас после въезда Лжедмитрия в Москву, а после его коронации (согласно показаниям Маржерета, Паэрле, Буссова и Массы); что Шуйский, только что ездивший в Тулу присягать Лжедмитрию, не мог, в явное противоречие себе, распускать слухов, будто новый Царь расстрига, «а надеялся подорвать уважение народа к нему, распуская слухи о его нечестии». Если бы на соборе, созванном

судить Шуйского, «была речь о том, что ложно нового царя называют Григорием Отрепьевым, то все современные писатели упомянули бы об этом, особенно иностранцы». На суде Лжедмитрии счел нужным оправдывать себя, а главного обвинения, что он расстрига, с себя не снял, и совсем не коснулся вопроса о том, как спасен был в юности и где жил до своего появления в Польше — это служит новым подтверждением, что Лжедмитри был действительно Гр. Отрепьев (13—17).

10. Отдельный Отрепьев, которого Самозванец якобы вез с собою и потом сослал в Ярославль — «измышлен для сокрытия происхождения Лжедмитрия» (19).

11. Автор допускает догадку: Гр. Отрепьев не был сыном Богдана Отрепьева, но побочным сыном какого-либо знатного лица, приписанным к семейству Отрепьева, чтобы дать ему имя (27).

12. Как родилась у Григория мысль выдать себя за царевича? Объяснить можно только предположением и указанием на аналогичные явления: Емелька Пугачев (30).

13. Нет никаких оснований думать, будто Лжедмитрии приготовлен был в Москве боярами. Будь это так, тайна раскрылась бы впоследствии, бояре не допустили бы его постричься в монахи и, значит, потом стать расстригою. «Притом бояре должны бы научить Самозванца рассказать историю своего спасения более согласно с действительными обстоятельствами угличского убийства. Потому мы должны признать, что не молва о живом Дмитрие царевиче породила опалы на бояр, но опала на бояр произвела Самозванца» (окт., 476).

14. «Иное дело, если мы допустим, что некоторые бояре косвенно поощряли дерзкое предприятие Отрепьева» (477. Автор указывает на тех, кто мог быть его пособником); но, «пересматривая лиц, которые окружали трон Самозванца, нельзя указать ни на одного человека, которого можно было назвать старым другом и пособником Отрепьева. Второстепенные пособники были у него, но или они погибли, открытые розысками Годунова, или оставлены в небрежении самим Самозванцем» (484).

15. Основа успеха Лжедмитрия в поддержке поляков (Вишневецкие, Мнишек, Лев Сапега). Паны сблизили его с иезуитами, а те доставили ему покровительство папы (484).

16. Особая глава «Характер Лжедмитрия как царя и его смерть» (окт., 485—507) посвящена анализу действий и поступков Лжедмитрия. Анализ этот подтверждает основную мысль автора.

8. Митр. Макарий. ИРЦ, X, 101, ограничивается одним замечанием: «Кто бы ни был — Гришка ли Отрепьев и сознательный обманщик, или кто другой, подготовленный боярами по вражде к царю Борису и воспитанный ими в убеждении, что он есть истинный царевич Дмитрий, или еще иной кто-либо — только этот искатель русского престола очень хорошо рассчитал, явившись искать себе помощи в Литве и Польше, что лучшее средство для его цели прибегнуть к иезуитам». Но то, что из всей литературы предмета митр. Макарий указывает лишь на одно исследование Казанского, «где (говорит он) довольно подробно рассмотрены разные мнения о нем (Лжедмитрий) и выведено заключение, что нет достаточных оснований не признать этого Лжедмитрия Григорием Отрепьевым, беглым дьяконом Чудова монастыря», дает основание думать, что таково же было мнение и самого митр. Макария.

9. К. Н. Бестужев-Рюмин (1887) идет вслед за Соловьевым: «Он не был сознательным самозванцем; за это говорит и его деятельность, и весь его характер. Кто бы ни был его воспитателем, ему внушили полную веру» в его царское происхождение (Обзор событий. ЖМНПр. 1887, июль, 106, 112).

10. Д. И. Иловайский (1894) выступил с новой версией: Лжедмитрий — самозванец, он орудие польско-литовской интриги; он не Гр. Отрепьев, он «уроженец Западной Руси и притом шляхетского происхождения». Все предприятие «получило свое таинственное начало в семье Мнишков, и было ведено с их стороны весьма ловко». К делу привлечен был Адам Вишневецкий. «Неизвестно, каким способом Мнишки сумели привлечь к своей интриге литовского канцлера Льва Сапегу; а еще вероятнее, что он-то и был первым начинателем замысла и самих Мнишков натолкнул на это предприятие. Во всяком случае его близкое участие в сей интриге не подлежит сомнению... Радея интересам Речи Посполитой и своей новой религии, т. е. католичеству, он сделался ярким врагом Московской Руси и хотел широко воспользоваться обстоятельствами для своих политических видов. Можно смело предположить, что он не только поощрил интригу Мнишков, но явился главным ее двигателем, заставив втайне действовать имевшиеся в его распоряжении государственные средства». Будучи на посольстве в Москве, «Сапега сумел войти в какие-то тайные сношения с некоторыми противными Годунову дьяками и боярами, вообще разведать и подготовить, что было нужно для дела самозванца».

Возможно, что в посольской свите Сапеги находился и будущий самозванец. «По-видимому, он продлил свое пребывание

здесь и после отъезда посольства, бродил по Московской Руси в товариществе с несколькими монахами, переодетый чернецом», и уже потом перешел обратно за литовский рубеж.

«В числе помянутых бродячих монахов, вместе с ним или отдельно от него ушедших за литовский рубеж, находился и Гр. Отрепьев... Бегство Отрепьева из Москвы и его прямое участие в деле самозванца едва ли подлежит сомнению; хотя и нет пока возможности достаточно выяснить его истинную роль в этом деле» (ИР, IV, 3—5).

В ответной заметке на рецензию проф. М. Н. Бережкова о его 3-м томе РИ Иловайский указывал, что интрига, в результате которой явился первый самозванец, «по моему объяснению, произошла именно в среде трех фамилий: Мнишков, Сапегов и Вишневецких, с указанием роли каждой из них. Это объяснение принадлежит лично моим изысканиям и до моей книги никем не было высказано» (Историко-критич. заметки. Р. старина. 1896. Т. 88. С. 650; перепеч. в «Историч. Сочинениях» автора, т. II).

11. Ал. Гиршберг (1898). Интригу задумали московские бояре, а осуществили ее при содействии магнатов литовских князей Вишневецких: Адама, Константина и старосты овруцкого Михаила; воеводы сандомирского Юрия Мнишка; старосты остерского Михаила Ратомского; писаря литовского Матвея Войны и канцлера литовского Льва Сапеги. (К сожалению, автор обходит молчанием вопрос: каким путем вошли бояре в соглашение с панями). Самозванец находился в Москве в посольстве Л. Сапеги в 1600 году, потом бродил по разным монастырям при содействии некоторых монахов, веривших в его царское происхождение. В числе этих монахов был и Гр. Отрепьев. Побывав последовательно в Киеве, в Остроге и Гоше, Лжедмитрии объявился, наконец, царевичем у А. Вишневецкого (Al. Hirschberg, *Dymitr Samozwaniec. We Lwowie 1898*, с. 10 след.).

12. П. Пирлинг первоначально считал Лжедмитрия истинным царевичем, сыном Ивана Грозного. *Rome et Demetrius. Paris, 1878*; но позже отказался от этой мысли и на основании новых документов отождествил его с Гр. Отрепьевым (см. его «Новая постановка вопроса о Дмитриии». *Вестн. Европы. 1901*, январь; перепеч. в сборнике статей «Из Смутного времени», где целый ряд других статей и заметок, связанных с именем Дмитрия, на основании б. ч. архивов Ватиканского и Иезуитского или старых малоизвестных изданий. Тогда же появился и 3-й том его «*La Russie et le S. Siege**, где суммированы

взгляды и выводы автора). Ценные новые данные, собранные о. Пирлингом, хотя и не дали исчерпывающего ответа на вопрос о личности «Названного Дмитрия», однако значительно полнее осветили некоторые остававшиеся дотоле темными стороны в истории его появления и торжества над царем Борисом.

См. еще издания о. Пирлинга: 1. *Lettre de Dmitri dit le Faux a Clement VIII. Avec quatre facsimiles en phototypie*. P. 1898. 2. *Dmitri dit le Faux et les Jesuites*. Paris, 1913. 3. *Dmitri dit le Faux et Possevino*. Paris, 1914.

Кроме вышеуказанных работ, посвященных Лжедмитрию, о. Пирлинг опубликовал в «Русской старине», по поводу статей двух польских ученых, еще две заметки, перепечатав их потом в своих «Историч. Статьях и Заметках». СПб., 1913. С. 148—167.

1. «Названный Дмитрий и Адам Вишневецкий», Р. старина. 1904, январь; по поводу статьи В. Собеского: «*Pierwszy protektor Samozwanca*» в «*Tygodnik illustrowany*», 1903, 27—30. Московские люди подослали Дмитрия к Адаму Вишневецкому; «им было, несомненно, известно, что Адам Вишневецкий прельщался Заднепровьем и что столкновения с Борисом Годуновым были для него неизбежны... Дмитрий сперва хотел было пристроиться в Остроге, но там ему не повезло: князь Константин его выпроводил, не удостоив своего внимания. И вот Дмитрий обращается к сопернику князя Острожского: оба князя соперничали из-за Черкасского староства. Это — последовательное, хорошо рассчитанное стремление добыть себе высокого покровителя».

Вишневецкий «не сейчас поверил Дмитрию и не положился без оглядки на его слово. Он долго сомневался в его царском происхождении и только тогда изменил свое мнение, когда московские люди стали сбегаться в Брагим и уверять, что Дмитрий истинный царевич. Дружное свидетельство около двадцати лиц, прибывших издалека и собравшихся в том же месте, указывает опять-таки на заранее обдуманый план, который методически выполняется ... Вишневецкий вряд ли поверил по внутреннему убеждению. Ему было выгодно поверить, иметь козырь в руках, а московские свидетельства служили ему оправданием».

«Вишневецкий послал Сигизмунду III донесение, писанное якобы со слов самого Дмитрия, где бросаются в глаза искусственный подбор фактов и даже противоречия. Г. Собеский подметил, что и в письме, и в донесении встречается характерное выражение „*jure naturali*” насчет царственных прав Дмитрия,

и это невольно наводит на мысль, что Вишневецкий участвовал в составлении донесения».

«Из предыдущего вытекает заключение, что у Дмитрия была партия в Москве. Он был орудием в ее руках и действовал, вероятно, по ее указаниям. Адам Вишневецкий только тогда признал царевича и взялся за дело, когда убедился, что московские люди придерживаются Дмитрия. Внешняя обстановка более подействовала на него, чем странные рассказы появившегося у него пришельца».

II. «Названный Дмитрий и польские ариане», с. 148—160; раньше: Р. старина. 1908, апрель, по поводу статьи Мерчинка: • *Aryanie polscy i Dumitr „Samozwaniec”* в „Przegląd Historyczny”, 1907, март—апрель, с. 170—180, — и новых сведений о тайном посольстве польских ариан (Твердохлеб и др.) в Москву, в ноябре 1605 г.: твердого убеждения, был ли Лжедмитрии истинный царевич или обманщик, у польских ариан не было: „в сохранившихся выдержках арианских сочинений нет никакого нового решающего доказательства в пользу Дмитрия. Таким, конечно, нельзя считать голословное, к тому же переменчивое наименование его царевичем”. Полемизируя с Валишевским, о. Пирлинг перечисляет те новые данные, на основании которых он счел себя вынужденным отказаться от прежнего своего мнения, что названный Дмитрий был сыном Ивана Грозного, — мнения, защищаемого теперь Валишевским».

13. А. С. Суворин был склонен думать (в 1894 году), что на престоле царском после Бориса Годунова сидел сын Ивана Грозного. Будь он самозванцем, то не отправил бы Гр. Отрепьева в Ярославль, где тот, пьянствуя, мог бы болтать и смущать горожан — новый царь, очевидно, не опасался, что Гришка выдаст его «тайну». (22).

1. «Ровинский, бесспорный знаток русских портретов, находит, что Самозванец похож на Грозного» (27).

2. Указывают на то, что будь Самозванец истинным царевичем, он дал бы точные и ясные указания о лицах, укрывавших его после 1591 г., и местах, где он укрывался; «но кто нас уверит, что Самозванец не делал этого, что не были истреблены с умыслом все те документы, которые о том говорили? Царь Шуйский неужели был так прост, что о том не постарался, неужели он и его приверженцы так вот взяли все бумаги, оставшиеся после убийства Самозванца, и сохранили их для потомства в величайшем порядке?.. Мне кажется несо-

мненным, что все было тщательно пересмотрено и все уничтожено старанием Шуйского и последующего времени» (34—35).

3. Следователи, посланные в Углич для расследования дела, могли искренно заблуждаться в том, кого именно видят они в убитом ребенке. «Сам Шуйский мог обознаться в убитом, тело которого с утра 15-го по вечер 19-го мая, т. е. более четырех суток, с перерезанным горлом, с изменившимся, конечно, лицом, лежало в церкви, ожидая следователей. Кроме того, следователи могли не знать в лицо царевича, который сослан был в Углич ребенком. Поэтому князь Шуйский, когда явился Самозванец, мог сомневаться в том, действительно ли царевича он похоронил?» (42).

4. Царевич страдал эпилепсией — проявление этой болезни можно наблюдать и у Самозванца: 1) его сладострастие; 2) одна рука короче другой (совершенно, как у царевича) — то и другое признаки эпилепсии (52).

5. Самозванец не был самозванцем. «Необыкновенная самоуверенность его на троне, его чисто русское честолюбие, любовь к русской славе, русской гордости, его величание себя императором и даже непобедимым, точно он чувствовал непобедимость народа, во главе которого он стал, его мужественная смерть, полная высокого трагизма, — все это как-то не клеится с самозванством» (60).

6. «Неужели нельзя не заметить в Самозванце черты Грозного, черты его пылкого красноречия, его сладострастия, его неуважения к церковному авторитету, его своеволия, его изменчивости, его ненависти к боярству, над которым Самозванец смеялся и которое унижал так, что бил их палкою, как Петр Великий? Наследственные черты так и сквозят в этой загадочной личности, получившей лучшее воспитание, чем Грозный, и больше его видевший?» (64).

7. «Юродивая женка убита по приказанию царицы Марьи: она могла знать о спасении царевича и проболтаться. Но как же произошло спасение и подмена? Афанасий увозит царевича; но надобен труп. Всесильный случай подвертывается. Есть мальчик-мертвец, может быть, убитый нечаянно во время свалки. Его одевают в одежду царевича, в его окровавленную рубашку, или прибегают к искусственному окровавлению и проч., и проч... В нескольких сажнях от дворца Волга и на ней суда; с этих судов прибегали казаки и участвовали в драме, т. е. убивали. Они были соучастниками с Нагими и вместе с ними боялись ответственности. Царевича можно было надежно скрыть на одном из этих судов и отвести на этом же судне в

Ярославль, который на берегу той же Волги, как и Углич» (98).

8. «Если допустить, что царевич спасся, что он где-нибудь был скрыт, то дальнейшая его судьба ясна. Он мог укрываться в монастырях, передаваемый из одного в другой, из близких к Угличу в дальние, на самый север, в места глухие. Его могли свезти и в Литву на некоторое время, его мог туда отвезти Афанасий Нагой, след которого пропал. Царевич мог потом вернуться, мог жить, вследствие каких-нибудь случайностей, хоть у того же Богдана Отрепьева, в Галиче, в качестве приписанного к нему сына, а мог и совсем у него не жить, а только называться его сыном» (100—101: О Дмитрие Самозванце. Критические очерки. СПб., 1906).

Суворин не утверждает категорически, что названный Дмитрий был непременно сыном Грозного, — он только подбирает данные в подтверждение этой гипотезы. Несколько позже, в 1900 г., он так формулировал свое мнение: Григорий Отрепьев и Дмитрий — одно лицо: «я до сих пор думаю, что или Отрепьев был царем, или царевич скрывался под именем Отрепьева. По-моему, нет ничего невероятного, что царевич скрывался и под именем Леонида, что он вообще менял свои имена» (там же, 142). Однако еще два года спустя он готов усомниться в истинности царского происхождения Лжедмитрия. Вот что записывает он 18 сентября 1902 г. в свой дневник, говоря о своей драме «Ксения» («Дмитрий Самозванец и царевна Ксения» — так, кажется, была она названа в печати?):

«Образы у меня не ясны, не рельефны... Поляков понимаю очень мало. Самозванец мне яснее всего, но я не уверен, что он Дмитрий. Как можно Самозванцу так уверять и русских, и поляков. Дерзостью ничего не сделаешь. С другой стороны, не могу себе представить, что это сознательный Самозванец. Так много в нем честолюбия, забот о России, о своей славе! Он похож на полководца, который завоевывает страну, свергает правителей и становится сам правителем, по праву завоевания. Но он обращается со страной, как с родной, в судьбах которой он заинтересован, и думает в ней утвердиться и установить свою династию. Это не авантюрист, который думает только о себе и не рассчитывает на будущее. Он думает о будущем; для него не то что „день да мой“. Он смотрит широко, не подозрителен, щедр, легкомыслен, красноречив. Жаль, что речи его не сохранились. Он даже не подумал вполне обезопасить себя,

не устроил потайных выходов, не верил заговорам. Отзывы современников почти все в пользу его. Даже Катыврев рисует его симпатичным... На портрете Килиана — замечательно выражение губ. Что-то грустное, приятное, глаза большие. Надо было иметь много ума и мужества, чтоб овладеть престолом, провести поляков, иезуитов, папу. Уверенность в своем призвании сделала бы это без особенных напряжений, просто и успешно, как это и было на самом деле... Против обвинителей он поступал открыто, иногда великодушно (Шуйский), говорил речи о себе (стрельцы). Может быть, мое предположение, что с Дмитрием, действительно, случился припадок падучей и что он ранил себя, справедливо. Ничего не разобравши, учинили бунт, убили Битяговского и проч. А ребенок оказался жив. Его спрятали в тайнике, или увез Афанасий Нагой» (Дневник. Москва-Петроград. 1923. С. 295—296).

14. Е. Н. Щепкин. 1. 15 мая 1591 г. в Угличе царевича Дмитрия не стало. Убит ли он был или сам закололся, — во всяком случае, с этого дня царевича нет более в живых. По всей вероятности, произошло убийство, замаскированное игрою.

2. Лжедмитрий и Гр. Отрепьев — два отдельных лица. Но они не чужды один другому: Григорий участвовал в заговоре, а Лжедмитрий, для сокрытия следов от агентов Годунова, одно время носил его имя, и вполне допустимо, что был убежден в своем царском происхождении.

3. Самозванец подготовлен был не боярами, но и не в Польше, а в Москве. Это дело скорее всего рук дьяка Андрея Щелкалова и черного духовенства. В интриге участвовали, может быть, и мать убитого царевича, царица Марья, с братом своим Афанасием Нагим.

4. Чьим сыном был Лжедмитрий? Возможно, что те... кто подготовлял его (дьяки, духовенство), могли найти в северных монастырях мальчика «таинственного, может быть, царского происхождения» — его и выдвинули, как противника ненавистного Годунова: это мог быть ребенок от какой-нибудь любовницы Грозного, сын жены царевича Ивана (сына Грозного), кто-нибудь из семьи Симеона Бекбулатовича, Мстиславских, Шуйских, Романовых и др. (1. *Wer war Pseudo-Demetrius?* Archiv f. Slav. Philologie. Bd. XX—XXII. 2. О Дмитрие Самозванце, тезисы к предыдущему исследованию. Протоколы заседаний Ист.-фил. Общества при Новор. ун-те, XI, заседание 9 марта 1899 г.).

Кто был «Названный Дмитрий», по мнению Пташицкого и Бодуэнаде Куртенэ, — см. в Спор. вопр. № 24.

15. Е. Ф. Шмурло (1901). «Какого бы он ни был происхождения, из московской или западной Руси, Отрепьев или кто иной, кем бы ни был выставлен: русскими или поляками, боярами или иезуитами, но допустить сознательный обман со стороны претендента — значит слишком игнорировать психологическую сторону явления и чересчур свободно переносить на людей, живших за триста лет назад, воззрения, привычки, приемы, вообще строй понятий нашего собственного времени».

«Известная группа лиц могла выдумать самозванца, могла сознательно поддерживать свой обман, хотя и здесь, вероятнее всего, в значительной степени действовала всеобщая вера в спасение царевича от руки убийцы; но каким надо было быть хитроумным, изворотливым Одиссеем, какими обладать ловкими приемами, самообладанием, обдуманностью, предусмотрительностью в поступках, и притом не только по отношению каждого из поступков в отдельности, но и по их взаимодействию, логической связи и последовательности, — какой талант первоклассного актера надо было проявить человеку, чтобы целые годы играть — и так безукоризненно! — свою роль, на виду целого света, в ежеминутном сознании, что это именно только роль, малейший неправильный шаг в которой будет стоить жизни!»

«Умер ли названный Дмитрий в убеждении своей „истинности“, раскрыл ли кто ему глаза на горькую правду (если уж непременно считать его подложным царевичем) — это вопрос другой; но что в начале своего выступления на сцену он действовал по убеждению, в этом для нас не может быть сомнения. Триста лет назад склад русской жизни был значительно проще и еще не выработал ни таких условий, ни средств, которые научили бы, как разыгрывать роль самозванца. Правда, в XVII столетии у нас появлялся далеко не один этот самозванец; но для остальных почва была уже подготовлена, и все они действовали более или менее подражая своему первообразу; не говорю уже про то, что их самозванство выдавал самый характер поступков — недаром же сфера влияния, результаты их обмана значительно ничтожные и не могут идти в сравнение с тем, чего достигло лицо, приковавшее в 1605 г. взоры всей Русской земли» (Сочинения Шиллера, изд. Брок. и Ефрона под ред. Венгерова. Вступительная статья к трагедии «Дмитрий»).

16. С. Ф. Платонов (1904) не столько останавливается на решении вопроса: «Кто царствовал и т. д.», сколько подводит итоги достоверным и положительным выводам, к каким пришла историческая наука в вопросе о Самозванце, и указывает, что остается еще загадочным и проблематичным.

Признавая трудность сколько-нибудь точного выяснения самой личности Самозванца («Нельзя утверждать, что самозванцем был Отрепьев, но нельзя также утверждать, что Отрепьев им не мог быть. Нельзя быть уверенным, что царевич Дмитрий не мог спастись от ранней смерти; но трудно поверить, что его действительно спасли в 1591 году»), автор предпочитает остановиться на обстоятельствах, сопровождавших его появление:

«Появился Самозванец помимо польского правительства, которое, однако, тотчас его признало, и помимо католического духовенства, которое, однако, за него крепко схватилось. Вторжение Самозванца в московские пределы гораздо более было рассчитано на восстание недовольных Москвою казачьих масс, чем на поддержку польской власти и общества. Наконец, победа Самозванцу была доставлена не польским войском, а именно казачьими массами и содействием высшей боярской знати, не желавшей повиноваться династии Годуновых. Но это высшее боярство смотрело на Самозванца лишь как на орудие борьбы с Годуновыми, которое следовало бросить, когда борьба эта окончится; а казачьи станицы, приведя на Москву „истинного царевича“, самим же Самозванцем были отправлены назад, как только Самозванец сел на Москве».

Согласно исследованиям Пташицкого и Бодуэна де Куртенэ, Самозванец был русский, московского происхождения; его обучали не в Польше, а в Москве; царевич же Дмитрий «действительно умер в 1591 г., и потому легенда о его чудесном спасении, вероятно, останется навсегда легендой».

Кроме того, автор осматривает сложившееся представление о Лжедмитрии как о светлой, богато одаренной личности, «которая поражала и очаровывала москвичей блеском своего ума и своим культурным превосходством. Основанный на односторонних и поверхностных отзывах иностранцев, этот взгляд очень далек от правды. Самозванец никому в Москве не нравился и никому не мог да и не заботился угодить. Значения и силы боярских партий и кружков он не понимал: друзей не ценил, а врагов раздражал; православного обряда и обычая держался не твердо, а иноверцев и иноземцев баловал и явно предпочитал русским людям; сам не отличаясь добродетелями и воздержанием, он попускал дурные нравы вокруг себя. Немудрено, что уже через полгода после его воцарения, в январе 1606 года, шел упорный слух, что на Москве уже точно дознались, будто царь Дмитрий не настоящий царь» (Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия. Вестник и Библиотека

самообразования. 1904, № 32; перепеч. «Статьи по р. истории», изд. 2-е. СПб., 1912).

В позднейшем своем труде (Борис Годунов. СПб., 1921. С. 144—147) Платонов, не возвращаясь к прежнему, останавливается главным образом на выяснении, какую роль играли Романовы в деле создания самозванца.

17. В. О. Ключевский (1908). «В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве... Его личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущее от самого Бориса, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в иночестве Григорий. ... Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий, или кто другой, что, впрочем, менее вероятно».

«Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданнейший его слуга П. Ф. Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь — не сын Ивана Грозного, но его признают царем потому, что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь и не найти. Но сам Лжедмитрии смотрел на себя совсем иначе: он держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях Шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей Земли и для того созвал Земский собор, приближавшийся к типу народно-представительного, с выборными от всех чинов или сословий. Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедмитрии заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам. Но как сложился в Лжедмитрии такой взгляд на себя, остается загадкой столько же исторической, сколько и психологической» (Курс, III, лекция ХСП).

18. Н. Н. Покровский. «Вопрос о том, кто был первый Лжедмитрии, когда-то занимал немаловажное место в русской

исторической науке. Что эта последняя им уже не интересуется, служит одним из явных доказательств ее большей зрелости». Для подтверждения своей мысли Покровский приводит слова Платонова (Очерки Смуты, 251): «Для нашей цели нет ни малейшей необходимости останавливаться на вопросе о личности первого самозванца. За кого бы ни считали мы его — за настоящего ли царевича, за Григория Отрепьева, или же за какое-либо третье лицо, — наш взгляд на характер народного движения, поднятого в его пользу, не может измениться: это движение вполне ясно само по себе». В одном лишь расходится Покровский с Платоновым: последний «продолжает называть Дмитрия „самозванцем“, хотя еще Соловьев вполне убедительно доказал, что во всяком случае он не сам назвал себя царевичем, а другие создали для него эту роль, другие назвали его Дмитрием, — а он этому поверил, точно так же, как уверовала в это впоследствии и народная масса. Поэтому пущенный в оборот Костомаровым термин „Названный Дмитрий“ гораздо лучше передает сущность дела, так что его мы и будем держаться. С этой оговоркой, мнение новейшего историка Смуты приходится принять как окончательное, и вопрос: „кто был Дмитрий?“ заменить вопросом „кто выдвинул Дмитрия?“» (161).

Прямого ответа на этот последний вопрос Покровский, однако, не дает, ограничиваясь лишь указанием на некоторые обстоятельства, могущие служить путеводной нитью в разъяснение вопроса.

1. «Извест старца Варлаама», годуновского лазутчика, посланного «следить за Дмитрием, как только слухи о нем проникли в Москву», — извест в его первоначальной редакции вскрывает нам «давние московские связи Дмитрия, совершенно исключительное положение, какое занимал этот мальчик-монах (Дмитрий был пострижен 14 лет) при дворе московского патриарха, возившего его с собою даже в государеву думу (162).

2. Согласно позднейшей версии «Известа», передающей дело так, как оно рассказывалось в широких кругах московского общества, первые прозелиты царевича Дмитрия оказались среди «мужиков посадских киевских». Действительно, «скоро Киев становится центром, куда стекается вся нелегальная Русь: около Дмитрия появляются агенты из Запорожья, депутация от донских казаков — и лишь когда он стоит уже во главе некоторой хартии, им начинает интересоваться польское правительство... Образование партии Дмитрия на русско-литовском рубеже не могло быть делом случайности: у нас есть

и прямые указания, что агитация в его пользу велась здесь давно — что уже в 1601 году здесь слышали о царевиче» (163).

3. «Копаясь в московском прошлом Дмитрия, насколько оно доступно нашим раскопкам, исследователи неизменно натываются, как на исходный пункт всяческой агитации, на семью Романовых — вторую московскую семью после Годуновых. Историю обвинения и ссылки Романовых теперь никто уже не рассматривает как простую клевету — что в основе дела лежал серьезный заговор, в этом, по-видимому, не может быть сомнения. И заговор этот некоторые новейшие историки склонны связывать именно с появлением царевича Дмитрия» (163—164: Русская история. Т. II. М., 1910).

19. В. И. Пичета (1913). «Нет никакого сомнения, что мысль о Самозванце зародилась в среде первостепенной знати, надеявшейся с его помощью свергнуть Бориса с престола и укрепить свою собственную политическую позицию. Мы не будем касаться трудно разрешимого вопроса о личности первого Самозванца. Историческая наука не пришла еще ни к какому определенному выводу. Одно несомненно: Дмитрий был подставным лицом, и его с детства готовили к роли царевича» (Смутное время в Московском государстве. М., 1913. С. 76).

20. Ю. В. Готье. Лжедмитрии не был настоящим царевичем: будь он таковым, он рассказал бы, «как ему удалось спастись от смерти и какова была его судьба от 1591 до 1603 года», — рассказал бы непременно, так как «откровенное изложение всех событий, случившихся с ним в эти 12 лет, было бы лучшим средством убедить всех в его подлинном происхождении и в его правах на московский престол». И если он молчал, то, значит, не мог ничего сказать, а если не мог, то, значит, не был истинным царевичем (38).

«Думается, что предположение, что названный царь Дмитрий был боярским сыном Юшкой, в монашестве Гришкой, Отрепьевым будет самым правильным» (39).

Зато сам он был вполне уверен в царском своем происхождении. «Кто и когда вселил в него такую непоколебимую веру? Принадлежал ли он к числу людей, которые так умеют усвоить себе ложную мысль, что в конце-концов искренно забывают о ее ложности, или же маленькому галицкому сыну боярскому Юше Отрепьеву, „зело грамоте гораздому“, по словам летописца, пытливого мальчику, в отрочестве ушедшему в монастырь искать чего-то нового, непохожего на жизнь простого служилого человека, вековечного царского крепостного воина, кто-то внушил крепко засевшую в нем мысль, что он вовсе не Юша

Отрепьев, а действительно спасенный от смерти царский сын? Вот то, что всегда останется тайной. Однако если вдуматься в характер мальчика, как он рисуется нам из немногих, дошедших до нас известий, он мог быть подходящим человеком для того, чтобы еще с ранних лет стать „избранным сосудом" для безумной боярской затеи, мысль о которой могла впервые появиться в середине 90-х годов, когда стала ясно обрисовываться возможность воцарения Бориса» (40—41).

«В поведении нового царя можно заметить две черты: он до дерзости уверен в себе и в то же время необыкновенно легкомыслен. Более чем когда-либо остается впечатление, что он искренно верит в свое царственное происхождение. Если это так, то нечего поражаться его легкомыслием: оно — только прямое следствие убеждения в своей правоте. Более чем легкомысленно было шадить бояр, а он простил Шуйского. Легкомыслием было пренебрегать старыми обычаями и понижать царский сан участием в кулачных боях или едением телятины, считавшейся нечистой пищей... Только человек, вполне в себе уверенный, мог допустить столь жестокую расправу над семьей своего предполагаемого врага; только такой человек мог решиться простить Шуйского, только „истинный" царевич мог позволить себе так свободно и свысока обращаться с боярами, как делал это новый царь в думе. И, наконец, только человек, думавший, что он по праву занял царский престол, мог так энергично отстаивать русские интересы в переговорах с послами Сигизмунда... Наконец, уверенность в своей силе заставила Дмитрия отказать от обязательств, принятых на себя по отношению к католическому духовенству; он скрыл в Москве свой переход в римскую веру и в переговорах с польскими послами в последние дни своего правления отказался допустить в своей стране свободу католической проповеди» (50: Смутное время. Госиздат, 1921).

См. еще С. Шамбиного. Новый документ о Самозванце. Р. старина. 1902, май и декабрь, и заметку о. Пирлинга по поводу этой статьи, там же, июнь.

№ 26. ПРИЧАЩАЛАСЬ ЛИ МАРИНА МНИШЕК ВО ВРЕМЯ ЕЕ КОРОНОВАНИЯ?

Спорный вопрос этот осложнился частью недостаточно ясными показаниями современных свидетелей, частью привнесением соображений, чуждых чисто исторической точке зрения:

дело о причащении рассматривалось не только через объективные, но и через конфессиональные очки. Вдобавок одновременное совмещение нескольких торжественных актов церковных — обручение, миропомазание, причащение, коронование на царство, бракосочетание — породило спор, насколько такое совмещение и порядок, в каком оно совершалось, были допустимы и законны, насколько не противоречили требованиям церковным.

ИСТОЧНИКИ

1. Программа церемонии: «Отрывок брачного обряда». СГГД, II, № 138. Программой этой намечалось три последовательных акта: 1) обручение, 2) венчание на царство с миропомазанием и 3) бракосочетание. Имелось в виду, что за обедней, вскоре после Херувимской, «зовут государыню цесаревну на помазание и причастие», а после обедни должно было состояться бракосочетание.

2. Показание патр. Иова, 1607 г.: Самозванец «прияв себе из Литовской земли невесту, люторские веры девку, и введя ее в соборную и апостольскую церковь Пречистой Богородицы и венча царским венцом и повелев той своей скверной невесте прикладываться и в царских дверях святым миром ее помазал». Соборная прощальная грамота патр. Иова. Акты Арх. Эксп., II, 155, № 67. См. Дмитриевский. Архиепископ Еласонский, 184—185.

3. Показание патр. Филарета, 1620 г.: «Патриарх Игнатий, угрожая еретиком латинские веры, в церковь соборную преосв. владычицы нашей Богородицы вводе еретические папешские веры Маринку, святым же крещением совершенным христианского закона не крестил ю, но токмо едином св. миром помаза, и потом венчал ю с тем расстригою, и обоим сим врагом Божиим, расстриге и Маринке, подаде пречистое тело Христова ясти и св. кровь Христову пити». Соборное изложение патр. Филарета напеч. в Требнике разных изданий (1625, 1639, 1651, 1888 гг.). Текст можно читать: 1) Макарий, ИРЦ, X, 122; 2) Дмитриевский, 135.

4. Показание Немоевского, подстолия коронного (1607). После коронации служили обедню; в конце ее Марина уходила вместе с несколькими дамами «за алтарь» (в придел св. Димитрия Солунского). *Pamiętnik Stan. Niemojewskiego. Wydal Al. Hirschberg. Lwow, 1899, s. 46—50.*

5. Показание Диаментовского, дворянина из свиты Марины. Над Мариной совершено было миропомазание по греческому обряду: *unksa moe graeso*. После бракосочетания Марина и Лжедмитрий, оба, приняли артос и вино. Дневник Диаментовского впервые в полном виде издан Ал. Гиршбергом, • *Polska a Moskwa w pierwszej polowie wieku XVII*. Lwow, 1901, а раньше лишь в отрывках: в русском переводе в «Сказаниях современников» Устрялова, IV (1834), 45, а в оригинале, на польском языке — в *N. Russiae Monumenta*, № 101, s. 171.

6. Показание Дневника посольства Олесницкого и Госевского. Во время обедни Марина уходила в «сакристию» (в придел); после браковенчания Марина и Лжедмитрий, оба, приняли артос и вино (в память брака в Кане Галилейской), причем склянку, в которой было вино, разбили, согласно русскому обычаю. Про миропомазание и причащение ни слова. *N. R. Monumenta*, II, № 77, s. 107.

7. Архиепископ Елассонский так описывает последовательные моменты церемонии: 1) При входе в церковь Дмитрия и Марину патриарх благословляет крестом; 2) потом ведет их на чертожное место и там возлагает на Марину царские одежды; 3) с чертожного места царь и царица сходят вниз и входят на царский трон, где и остаются, слушая литургию; 4) после литургии благовещенский протопоп Феодор венчает Дмитрия и Марину перед царскими вратами; 5) «И после венчания своего, оба они не пожелали причаститься Святых Тайн. Это сильно опечалило всех, не только патриарха и архиереев, но и всех видевших и слышавших. Итак, это была первая, и великая печаль и начало скандала и причина многих бед для всего народа московского и всей Руси» (А. Дмитриевский. *Архиеп. Елассонский и мемуары его из русск. истории*. Киев, 1899. С. 110—112; первонач. Труды Киев. дух. акад. 1898—1899).

1. Митр. Макарий. Источниками автору служат Р. И. Библ-ка, I; Дневник Марины Мнишек (Устрялов. *Сказания совр.* IV); СГГД, II, № 138; Карамзин Н. М. *ИГР*. Т. XI. Прим. 499. Опираясь на эти источники, Макарий излагает лишь фактическую сторону событий, не вдаваясь в оценку самих данных. Ход событий представляется ему в такой последовательности:

1) Утром благовещенский протопоп Феодор совершил обручение Марины и Дмитрия в Столовой палате дворца, благословлял обоих крестом, и Марина целовала православный крест.

2) В Успенском соборе жених и невеста прикладывались к св. иконам и мощам.

3) Патриарх Игнатий совершил коронавание Марины и, согласно чину, возложил на нее бармы, диадему и корону, при этом «не раз благословлял ее животворящим крестом, читал молитвы, возлагал на главу ее свою руку».

4) Во время литургии, «после херувимской песни, возложил на Марину пред царскими дверями золотую Мономахову цепь, а во время причастия, так же пред царскими дверями, помазал Марину св. миром для присоединения ее к православнои церкви и причастил ее Христовых тайн».

5) Бракосочетание. Венчал тот же протопоп Феодор.

В заключение митр. Макарий говорит: «Совесь иезуитов нимало не смущалась, когда их духовная дочь пред ними и пред всеми притворялась православною и лицедействовала... Но не лучше была совесь и русского патриарха, когда он, из угодливости перед царем, в присутствии православных, преподавал, по их убеждению, еретичке таинства Православной церкви».

И затем, со ссылкой на «Соборное Изложение» патриарха Филарета, митр. Макарий говорит: после смерти Лжедмитрия патриарх Игнатий был низложен и сослан под начало «за то, что, не крестив Марину по-православному, а только миропомазав, допустил ее к таинству причащения и к таинству брака» (ИРЦ, X, 116—122).

2. П. Пирлинг имел случай неоднократно высказываться на эту тему. Первоначально, в 1878 году, он говорил: и русские, и польские источники единогласно показывают, что Марина была коронована по греческому обряду, но мы нигде не находим категорического указания на принятие ею причастия из рук патриарха-схизматика. У польских послов отчетливо сказано, что Марина на время уходила в сакристию — а это было необычно. По программе царь и царица должны были причащаться, но как именно происходило дело в действительности, нам неизвестно, а потому вопрос приходится оставить не решенным (Rome et Demetrius. 1878, 139).

Опубликование записок архиепископа Елассонского позволило Пирлингу поставить вопрос на более прочную основу. Вслед за Дмитриевским он отрицает факт причащения: царь и царица выпили вина, и «бутылка» из-под него была потом брошена на пол и разбита (La Russie et le Saint-Siege, III, 1901, 304—305).

На польские дневники полагаться нельзя: церковные чинодействия они передают довольно сбивчиво. «Ссылаться на то,

что миропомазание „требуется“ причащения (Щепкин, с. 26), ровно ни к чему не ведет, ибо Мнишки хотели именно избежать одно, а не другое... Говорят, что поляки большей частью вышли из церкви перед причащением, но с Мариною остались ее спутницы. Они все видели и рассказывали, что патриарх поднес хлеб и вино, в память Галилейской свадьбы, что стеклянная чаша была потом растоптана. О причащении нет ни слова» (Причащение Марины в «Из Смутного времени. Статьи и заметки». СПб., 1902. С. 262—269).

3. Д. И. Иловайский совершение обряда излагает применительно к официальному показанию: «обряд совершен был с сохранением почти всех старых обычаев»: венчание на царство (возложение патриархом короны, барм); поздравление; литургия, «во время которой патриарх причастил Марину Св. Тайн и помазал миром по греческому обряду. По окончании литургии совершен был обряд свадебного венчания». «Что касается до причащения Марины и миропомазания по греческому обряду во время ее коронования и венчания, то напрасно о. Пирлинг оставляет вопрос о том открытым (139). Как русский источник, именно „Отрывок брачного обряда с Мариной“ (СГ ГД, II, 138) говорит прямо о „помазании“ и „причащении“, так, Велевицкий и Дневник Марины (писанный кем-то из ее свиты) тоже выражаются, что коронация и помазание происходили *more graeco*, включая сюда, конечно, и причащение» (ИР, IV, вып. I: Смутное время. М., 1894. С. 63, 285).

4. Гиршберг: Марина приняла причащение из рук патриарха при совершении брачного обряда. Самозванец старался скрыть этот факт от поляков, одних выслав предварительно из церкви под предлогом, что церемония уже подходит к концу, а других старался уверить, что то, что имело место во время церемонии, было не причащение, а принятие простого артоса и вина в память брака в Кане Галилейской — одним простым символом. Поэтому старания о. Пирлинга доказать, что причащения не было, Гиршберг отвергает как идущие вразрез с ясными показаниями хорошо осведомленных Немоевского и Дневника посольства (Al. Hirschberg. Dumitr Samozwaniec. Lwow, 1898. S. 237).

5. Дмитриевский, 130—134, исходя из показаний Елассонского и стараясь примирить их с другими показаниями, так излагает и поясняет события:

В сложном, многосоставном обряде, которому, согласно программе официального документа (СГГД, II, № 138), предстояло Марине подвергнуться в день 8 мая, Дмитриевский видит со-

единение «нескольких обрядов и церемоний, не имеющих, по видимому, никакой связи между собою ни с формальной стороны, ни со стороны жизненно-практических удобств», не вызванных желанием Лжедмитрия посылить примирить требования Православной церкви с категорическим отказом Марины от вторичного крещения. Чин обручения в Столовой палате дворца, перед литургией, считался, по воззрениям древних византийских канонистов, если не важнее чина венчания, то во всяком случае равносильным чину венчания. Невиданный доселе на Руси обряд коронования царицы с миропомазанием должен был, по мысли Лжедмитрия, которую, по всей вероятности, разделял и патриарх Игнатий, заменить для русских людей, требовавших от будущей царицы перекрещиванья по обрядам Православной церкви, акт присоединения ее к православию, чем и объясняется то обстоятельство в официальном церемониале этого дня, что чин коронования предшествует чину венчания, а не наоборот, как следовало бы расположить эти чины по естественному порядку. Без чина присоединения к православию, хотя бы и видимого, Лжедмитрий опасался назвать Марину своею женою и приступить к совершению обряда венчания с нею».

Если в миропомазании, при коронации, сочли возможным видеть акт присоединения к православию, то труднее было уладить дело с причащением, тем более что «в практике Русской церкви, согласно с обычаем церкви Византийской с древнейших времен существовал еще в данное время обычай приобщать преждеосвященными Дарами жениха и невесту при браковенчании. Настояла, таким образом, необходимость для Марины Мнишек принимать Тело и Кровь Христовы по обряду Православной церкви двукратно»; а так как «двукратное приобщение Святыми Тайнами в один и тот же день в церкви Православной, как известно, не практикуется», то Лжедмитрий склонил «покорного патриарха перенести обряд причащения Св. Тайн из чина коронования, или, вернее, из чина литургии, следовавшей после упомянутого обряда, в чин венчания, когда должен был выполнить то же самое и царь-жених». Но, не причастившись за литургией, теперь, «когда все опасения на счет замешательств и затруднений в коронации рассеялись [другими словами, когда Марина была уже коронована царицею и стала женою царя, т. е. когда, грубо выражаясь, дело было в шляпе], невеста, а за нею и жених всенародно отказались от принятия Св. Тайн, оставленных для них от только что совершенной литургии. Самозванец и его супруга, выражаясь языком показаний Бучинских, в это

время уже „что хотели, то и делали“, а протопоп Феодор „творил их волю“». Отказ от Св. Тайн косвенно подтверждают и польские летописцы, «присутствовавшие при коронации и браковенчании Марины Мнишек и описавшие самым обстоятельным образом все мельчайшие детали этих церковных торжеств (Дневник путешествия Марины в Москву. С. 44—46; Дневник послов Олесницкого и Гонсевского 1606 г. С. 144—150)»: [они]: «ни единым словом не упоминают о таком, с точки зрения вероисповедной, важном факте, как принятие католическою Мариною Св. Тайн из рук православного патриарха».

б. Е. Н. Щепкин полагает возможным не считаться с показанием Арсения Елассонского. «Правда, в деяниях собора 1620 года не говорится прямо, что Марина приобщалась, а только сказано, что патриарх „обоим сим врагом Божиим Растриге и Маринке подаде пречистое Тело Христово ясти и Святую и честную Кровь Христову пити“, — но было бы натяжкой толковать эти слова так, как будто бы Игнатий только предложил царице Св. Дары, а она все-таки отказалась». А то, что царь и царица не приобщались после венчания, было, по мнению Щепкина, явлением вполне естественным: дважды приобщаться в один день Марине [по уставам церкви] было бы нельзя, по чину же «она должна была причаститься за обеднею». А как сошла обедня [т. е. причащалась ли за причастным Марина или нет], Елассонский об этом молчит [и, следовательно, не отнимает у нас права допускать, что причащение состоялось].

Но Щепкин предвидит, что при таком толковании у читателя неизбежно возникнет вопрос: если НЕ-причащение после браковенчания согласно было с уставами церковными, то почему же оно вызвало такое неудовольствие и ропот среди присутствующих и послужило «началом скандала?» Выход из затруднения Щепкин находит в указании на то, что дошедшая до нас рукопись записок Арсения Елассонского прошла через разные руки, и слова об отказе от причастия могли быть позднейшей вставкой. Да, наконец, и сама эта вставка, по существу, не противоречит свидетельству очевидцев: «изданный проф. Дмитриевским памятник отмечает лишь необычный для греков факт, что после венчания новобрачные не причащались; грубый прагматизм редактора мемуаров Арсения придал этому факту задним числом смысл отречения от православия и поставил его в причинную связь с падением царя Дмитрия и возобновлением смуты» (371).

Вопрос о причащении Марины в том положении, в каком он стоит теперь в литературе, остается открытым и останется

таким, пока не будут устранены сомнения, возникающие из сопоставления двух главных показаний: архиепископа Елассонского и соборного определения 1620 года. Объяснять слова Елассонского об отказе Марины принять причастие после венца «позднейшею вставкою» — значит ни на шаг не сдвинуть вопрос с места. Мы должны считаться с этим показанием и исходить из него. Но одинаково обязательно для нас и свидетельство собора 1620 года: его заявление о том, что патриарх подает Марине св. причастие.

Что Елассонский молчит о причащении за литургией, еще не есть решительный довод против свидетельства соборного. Равно и отказ от причастия после браковенчания еще не есть доказательство НЕ-причащения за литургией.

Марина совершила два акта: один положительный — причастилась за обедней; другой отрицательный — не причащалась после бракосочетания. Первое было исполнением требований канонических, второе — отступлением от стародавнего обычая, и потому преступлением, с точки зрения канонов, последний шаг назвать было нельзя, хотя поступок новой царицы и не избавил ее от суровой цензуры общественного мнения. Вот почему, особенно если вспомнить, что двукратное причащение в один и тот же день не практиковалось, острота показания Елассонского значительно ослабляется, и видеть в этом отказе начало разыгравшегося вскоре «скандала» — было бы, может быть, не вполне основательно. Центр тяжести общественного негодования следует искать не в этом отказе, а в «преступлении» гораздо более серьезном: над Мариной не был совершен обряд крещения, так как, по справедливому замечанию Дмитриевского, «главную особенность чина присоединения к православию составляют не молитвы», читанные во время совершения обряда обручения в Столовой палате, «а оглашение или анафематствование еретических заблуждений» (131).

Вполне допустимо, что отрицательный жест Марины явился для многих, может быть, даже и для самого патриарха, большой неожиданностью. Одни были обмануты в своих ожиданиях, другие — обманывали. Кто же обманывал? Марина или Лжедмитрий? или оба они вместе? Лжедмитрий ли, заверив патриарха, что он будет причащаться с женою, или Марина, дав обещание Лжедмитрию, в последнюю минуту не сдержала своего слова? и в этом случае действовала ли она по собственному почину, или по совету, по настояниям близких ей людей — отца? духовника?

Наконец, еще одно обстоятельство не следует упускать из виду. Если двукратное причащение в один и тот же день в Православной церкви «не практикуется» (Дмитр., 132) и если в то же время «в практике Русской церкви, согласно с обычаем церкви Византийской с древнейших времен существовал еще в данное время обычай приобщать преждеосвященными Дарами жениха и невесту при браковенчании» (Дмитр., 131), то, спрашивается, какой, в данном случае, линии поведения предпочли держаться патриарх, Марина и Лжедмитрий? И не было ли компромиссом то, что после венчания царь и царица приняли только артос и вино, т. е. т. н. теплоту, иначе говоря, совершили акт, обусловленный предварительным, но не выполненным актом — принятием Св. Тайн? (Политика Папского престола в Смутное время. Летопись Ист.-фил. Общества при Новоросс. ун-те, т. IX, 1901, 357, след.).

7. Н. Левитский. «Провозглашенная благоверною, т. е. православною, Марина за литургией была помазана св. миром и допущена к причащению из рук патриарха» ...

Мысль Лжедмитрия о присоединении Марины к православной церкви через миропомазание была приведена в исполнение... Лжедмитрий, сознававший необходимость присоединения Марины к Православной церкви и не желавший в то же время огорчать слуг папы, хотел прикрыть это присоединение актом коронования... Самозванец хотел угодить и католикам, и православным», но никому не угодил: католики желали видеть царицу полною и явного католичкою, православные же добились крещения царской невесты.

Что касается, однако, перекрещивания, то неисполнение этого акта отнюдь не было нарушением правил канонических, может быть, отступлением от обычая — да, но если и был такой обычай, то практиковался он редко. Вторичное перекрещивание при переходе в православие стало обязательным лишь с 1620 г., с патриарха Филарета (Лжедмитрий I как пропагандист католичества в Москве. СПб., 1886. Из Христ. Чтен. 1886. С. 96—98, 145).

№ 27. КАК СОСТОЯЛОСЬ ИЗБРАНИЕ В ЦАРИ В. И. ШУЙСКОГО?

Спор идет о том, как расценивать крестоцеловальную запись, данную Шуйским при вступлении на престол: «суда без бояр не творить, смерти никого не предавать, отчин у них не отни-

мать, ложных доносов не слушать, а ложных доносчиков наказывать», — видеть ли в ней формальное обязательство или простое обещание? Какова была юридическая сила этой записи? Перед кем, собственно, обязывался или кому давал обещание Шуйский? И если это было обязательство, то выражено ли было оно на письме или только устно? И повторяла ли «запись», внесенная в грамоты, рассылавшиеся по воцарении Шуйского по городам, текст формального обязательства, или она была делом канцелярским?

Н. М. Карамзин. ИГР. Т. XII. С. 3; С. М. Соловьев. VIII, изд. 4-е, 146, 150; К. Н. Бестужев-Рюмин. ЖМНПр. 1887, август; Н. И. Костомаров. РИ, I, 668; М. Ф. Владимирский-Буданов. 157, 159, признают, что Шуйский принял на себя обязательства, ограничивающие его власть. Того же мнения держится и Ключевский (Боярская дума, XVIII, 460—365), но в присяге Василия Шуйского он видит ловкий политический ход, направленный именно против бояр.

В. О. Ключевский. За 1598—1606 гг. выросла новая сила: всенародная воля (избрание Годунова на царство; передача Лжедмитрием дела о кн. В. И. Шуйском на суд Земского собора; заявление русских послов в Польше после низложения и убийства Лжедмитрия: хотя бы даже он и был прямой прирожденный государь-царевич, «но если его на государство не похотят, ему силою нельзя быть на государстве». «Даже у кн. Курбского, вероятно, встали бы волосы дыбом от такой политической ереси»). В политических понятиях и нравах общества, высших и низших слоев его, произошла глубокая перемена. «В высших классах зародились новые политические вкусы».

Вынужденный принять на себя обязательство править и судить совместно с Боярскою думою, Шуйский, однако, дал это обязательство не перед боярами, а перед «всею землею». Это последнее — целование креста в Успенском соборе всей земле не делать никому никакого дурна без собора и вызвало возражение: попытка «вовлечь Земский собор в текущие дела управления и суда, поставив его на место прежней думы» являлась новшеством, делом необычным.

«Воцарение Василия встречено было как узурпация», как дело, решенное без «общего всех городов людского совета». Царь Василий не мог не понимать лжи и непрочности своего положения на престоле. Он являлся царем боярским, даже не всего боярства, а только небольшой его клики. Он надеялся выйти из этого положения неожиданным встречным ходом ловкого игрока, столь соответствовавшим его изворотливому

характеру. Вынужденный поступиться своим царским полномочи-ем в пользу боярства, он приносил эту уступку как великодушный патриотический дар всей земле и призывал к себе в сотрудники не Боярскую думу, а Земский собор. Василий не мог быть уверен, что собор выбрал бы его в цари; но, став царем без собора, он всегда мог надеяться найти в нем противовес боярам. Ограничения царской власти хотело боярство, а не вся земля. Потому в Земском соборе царь приобретал и законную земскую основу своей власти, конспиративной по происхождению и боярской по обязательствам, и более удобного товарища по управлению сравнительно с Боярской думой. Отсюда старания царя придать своему воцарению вид возможно более всенародного, земского акта».

• Присягой всей земле царь пытался произвести своего рода государственный удар, которым надеялся избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением, к тому не привычным, т. е. освободить ее от всякого действительного ограничения. Земский собор должен был играть в правление Шуйского такую же противобоярскую роль, какую сыграл он при избрании Годунова. Попытка Василия не удалась. Подкрестная запись его в том виде, в каком она была обнародована, представляется сделкой между заспорившими в Успенском соборе сторонами: бояре отстаивали свою думу против Земского собора, а царю уступили присягу всей земле, без собора лишённую всякой политической силы, да сомнительное удовольствие великодушной инициативы и умаления своей власти (Другой взгляд на запись царя Василия см. у г. Платонова в Очерках по ист. Смуты в Моск. государстве, с. 300 и сл.)».

С. Ф. Платонов оспаривает взгляд Ключевского: «только слова „с бояры своими“ заставляют видеть в записи политический договор „царя с боярами“, в действительности же запись Шуйского не договор, а „торжественный манифест нового правительства, скрепленный публичною присягою его главы и представителя“. Принимать на себя обязательство „судить с боярами в правду, наказывать сообразно действительной вине и не слушать клеветников было бы также излишне, потому что и без этого обязательства, по вековому народному воззрению, царь должен был, по Писанию, „рассуждать люди Божьи в правду“. Именно потому, что Шуйский хотел присягою обязать себя к тому, к чему обязан был и без присяги, народ в церкви пробовал протестовать против намерения нового царя» (Очерки по истории Смуты в Московск. государстве XVI—XVII вв. СПб., 1899. С. 300—303). Здесь Платонов сходится с Маркевичем.

А. И. Маркевич. «Можно было бы думать, что царь дал, действительно, ограничительную запись, так как в разосланных актах находятся такие выражения: в одном — „на том на всем, что в сей записи писано, и яз царь и великий князь Василий Иванович всея Руси целую крест всем православным крестьянам“, и в другом — „а по которой записи целовал яз царь и великий князь...“. Но в последнем немедленно же следует: „и мы ту запись послали вам“ (воеводам — по городам), а посланная запись есть лишь изложение того, на чем царь целовал крест, и совершенно не соответствует нашему представлению об ограничительной записи. Конечно, ограничительной записи вовсе и не было. Царь мог дать известные обещания, целовал крест исполнять их, а внести эти обещания в запись, т. е. попросту записать их и сообщить запись от имени царя воеводам — было уже делом канцелярским» (Избрание на царство М. Ф. Романова. ЖМНПр. 1891, октябрь, 393—394).

С. В. Рождественский. В заговоре против Лжедмитрия участвовали не все бояре, а только часть их: Шуйский с братьями, кн. В. В. Голицын и кн. М. С. Куракин. Они-то и выкрикнули его, торопясь, пока другие бояре не созовут Земского собора. Когда факт избрания был налицо, большинство боярства, по пассивности, примирилось с ним; так что если Шуйский и дал обязательства, то не боярству вообще, а только части их; вот почему олигархическая попытка некоторой части боярства успеха в конечном результате не имела.

В основе отношений Шуйского к боярству «лежит глубокая партийная раздробленность, обусловленная не столько политическими идеями, сколько прежде всего узким эгоизмом действующих лиц, — факт, заставляющий очень осторожно относиться к поспешным обобщениям и не позволяющий мысли и чувства отдельных групп бояр распространять на все сословие» (48).

Вот почему «при избрании Василия в его пользу действует не все боярство, а лишь часть его, вступившая в заговор против Лжедмитрия: эта партия еще до провозглашения Василия царем добилась для себя личных и негарантированных никаким официальным документом выгод, большого влияния не дала, а для всех сословий обеспечения правого суда, выраженного в записи, в исполнении которой царь целовал крест в Успенском соборе. Остальное боярство, не участвовавшее в заговоре, думало о созыве Земского собора, но, не успев в этом, пассивно отнеслось к провозглашению Шуйского, за исключением некоторых личных врагов царя, и протестовало против клятвы царя как

против поступка, не оправдываемого обычаем» (Царь В. И. Шуйский и боярство. Историч. обозрение. Т. V).

Н. Н. Покровский. По словам Конрада Буссова, Василия Шуйского выбрали «одни только жители Москвы, верные соучастники в убиении Дмитрия, купцы, сапожники, пирожники и немногие бояре». Таким образом, Шуйский «был посадским царем». Самовоцарение Шуйского «в первую минуту совершенно ошеломило боярские круги», но растерянность прошла довольно быстро, и если им не удалось посадить на престол своего царя, то удалось по крайней мере гарантировать себя от чужого: по крестоцеловальной записи Шуйский обещался никого, «не осудя истинным судом с боярм своими» смерти не предавать.

«Вопреки мнению некоторых новейших историков, это был колоссальный успех боярства. Даже если бы Шуйский этим своим крестоцелованием лишь закрепил старинный московский обычай, это имело бы не меньшее значение, чем закрепление местнических обычаев при Грозном». Запись «восстанавливала судебные порядки там, где со времени опричнины господствовала административная расправа... Она заключала в себе ограничение и самой судебной репрессии. До сих пор она была коллективной: опала постигала весь род, и все вотчины опальной фамилии подвергались конфискации... Теперь этим массовым конфискациям был положен конец»: если родня (братья, жена и дети) «в мысли не были с осужденным, то „вотчины, дворы и животы" их у них не отнимались. Так как от конфискаций родовых вотчин никто, кроме боярства, не страдал, то боярский характер «конституции» Шуйского выступает в этом последнем пункте особенно ярко. Чтобы затушевать специфический привкус этой боярской конституции, авторы Записи, ввиду того, что реальною силою, «на которую опиралось новое правительство, были не бояре, а московский посад», ввели в статьи конституции дополнение, «не менее любопытное, чем они сами: «также у гостей и у торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертной вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отымати, будет с ними они в той вине невинны».

«Русская „хартия вольностей" ограждала, таким образом, интересы, с одной стороны, бояр, а с другой — гостей и торговых людей. Дворянства она не касалась, и в борьбе с тотчас же вновь вспыхнувшим дворянским мятежом казни и ссылки в административном порядке применялись на каждом шагу. Это было ограничение царской власти не в пользу „всей Земли", а

в пользу только двух классов» (Русская история с древнейших времен, II, 1910, 174—179).

Ю. В. Готье. «В записи царя Василия Ивановича не хотели видеть указание на ограничение царского самодержавия. Если вдуматься в то, что выкрикнутый на Красной площади царь делал в первые дни своего царствования, то следов настоящего ограничения власти, проведенного особым государственным законом, мы не найдем ни в его записи, ни в объявлении, которое он сделал, или хотел сделать, в Успенском соборе всему народу. Можно говорить об уступках с его стороны; уступки эти он, может быть, хотел сделать в пользу более широких слоев народа, чтобы защититься от бояр, с которыми до тех пор он был в тесном единении. Но бояре выступили с какими-то представлениями и возражениями, и Василию пришлось обещать не подвергать никого опале и казни, не осудив истинным судом со своими боярами. Прежние друзья и товарищи потребовали от Василия уступок в свою пользу, и новому царю... пришлось уступить, и уступить именно в пользу бояр. Все же подкрестная запись Шуйского есть не ограничение власти царской, а только некоторое обещание, им данное» (Смутное время. Госиздат, 1921. С. 54).

Таким образом, основное расхождение нашло свое выражение в мнениях Ключевского и Платонова. Рождественский, не примыкая ни к той, ни к другой стороне, настаивает на том, что Шуйский «боярским» царем стал по почину и желанию далеко не всех бояр, и именно в этом видит причину его непрочности на престоле. Готье пытается примирить взгляды Ключевского и Платонова: запись, конечно, была простым обещанием, но и самое обещание уже было большой уступкой со стороны Шуйского, притом уступкой в пользу бояр. Наконец, Покровский предлагает новый вариант толкования: Шуйский не боярский, а посадский царь, боярам, однако, удалось на первых же порах связать ему руки и оградить записью интересы не только гостей и торговых людей, но и свои собственные.

Запись напечатана: 1) С. Г. Г. Дог., II, № 141; 2) Акт. Арх. Эксп., И, № 44; 3) Р. Ист. Библ. XIII, 71; 4) Платонов С. Ф. Социальный кризис Смутного времени. Л., 1924. С. 17 (из серии «Памятники социально-экономической истории России»).

В предисловии к этому последнему изданию Платонов говорит: «На значение этой „Записи" в науке существуют различные взгляды. Одни считают ее ограничительными условиями в пользу бояр, окружавших Шуйского (Ключевский В. О. Бо-

ярская дума, гл. XVIII); другие же видят в „Записи" не ограничение царского полновластия, а только обещание не злоупотреблять этой властью, не наказывать без суда и не поощрять доносов (С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, гл. IV, § 1)».

№ 28. ЧЬИ ГРАМОТЫ: ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА ИЛИ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ ПОДНЯЛИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ, В ЧАСТНОСТИ НИЖЕГОРОДЦЕВ, НА ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ, А С НЕЮ И ВСЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛИ?

Первоначально господствовало мнение, признававшее почин дела за Троице-Сергиевым монастырем; по Соловьеву, Гермоген даже и грамот не писал, но воздействовал устно. Энергичную кампанию в пользу Гермогена открыл Забелин. Его мнение было принято Платоновым (и его учениками), Готье, но встретило возражения со стороны Кедрова и Сухотина. Не вдаваясь в анализ вопроса, Костомаров, РИ, I, 715 и Смутное время, III, 242, и Ключевский, Курс, II, 73, ограничились указанием, что нижегородское ополчение с Мининым во главе выросло из Троицких грамот. Иловайский, не отрицая рассылки Гермогеном грамот, все же полагает, что движение в Нижнем Новгороде вызвано было грамотами Троице-Сергиева монастыря. Бестужев-Рюмин о Троицких грамотах совсем молчит.

По этому вопросу высказались:

Соловьев	Пресняков
Забелин	Любомиров
Кедров	Готье
Платонов	Сухотин
Полиевктов	Иловайский
Васенко	

1.С. М. Соловьев. ИР. Т. VIII. Гл. VIII. В начале января 1611 г. посланные нижегородцами доверенные люди побывали в Москве, виделись с Гермогеном, «получили от него благословение на восстание, но грамоты от него не привезли, потому что у патриарха писать было некому: дьяки и подьячие и всякие дворовые люди взяты, и двор его весь разграблен». После того нижегородцы, а за ними ярославцы стали писать грамоты в другие города, поднимать их, ссылаясь на увещания

патриарха. Когда же патриарха заточили и не стало его слышно из темницы кремлевской, то вместо грамот патриарших шли призывные грамоты из Троице-Сергиева монастыря. Летом 1611 г., еще при жизни Прокопия Ляпунова, а потом вторично, 6 октября 1611 г., Троицкие власти разослали грамоты по городам с призывом восстать. Одна из таких грамот пришла в октябре 1611 г. в Нижний Новгород и вызвала там движение, во главе которого стал Минин (с. 357, 358, 400, 403, 406).

2. И. Е. Забелин. Минин и Пожарский. М. Четыре издания 1883—1901.

1) 14 декабря 1610 г. в Москве узнали о смерти Тушинского вора в Калуге. «Мгновенно во всех умах возродилась одна мысль: от одного врага избавил Бог, теперь всеми силами надо отделаться и от другого. Едва ли не в тот же день патриарх стал писать и рассылать по всем городам грамоты, и к служилым и к посадским, призывая и приказывая соединиться и идти не медля на общего врага, чтобы неотменно прийти к Москве по зимнему пути». По крайней мере уже 15 декабря поляки перехватили (некоторые) из этих грамот (247).

2) «Этих первых грамот патриарха мы не имеем, но об них очень говорит тотчас в январе и феврале начавшаяся горячая переписка городов между собою. Об них поминает и сам Сигизмунд; единогласно утверждают о том и все его паны. Но в тех же во всех случаях никто ни одним словом не поминает о каких-либо грамотах, писанных от Троицкого монастыря» (247).

3) Ближайшим результатом этих грамот было появление под Москвою первого, «ляпуновского», ополчения. Оно было поднято «прямо и непосредственно грамотами патр. Гермогена; но старец Авраамий неукоснительно говорит, что оно было поднято грамотами Троицкого монастыря» — это прямая басня (68, 248).

4) Ополченцы (ляпуновский воевода Плещеев, Заруцкий, Трубецкой, Ляпунов) собрались у Москвы почти одновременно: на протяжении одной недели, 20—25 марта 1611 г., а 13 июля, по их просьбе, Троицкий монастырь разослал окружную грамоту в Казань с просьбою о помощи ратными людьми и казною. Но 22 июля убит был Прокопий Ляпунов, во главе ополчения остались одни лишь казацкие вожди, а 20 августа патр. Гермоген пишет грамоту в Нижний Новгород с наказом ознакомить с ее содержанием и другие города; а в ней он писал: упаси вас Боже принимать на царство проклятого Маринкина сына; присылайте на выручку ратных людей (75—76).

5) В такой обстановке какое впечатление и действие могла произвести Троицкая грамота 13 июля, «призывавшая ратных спасать Москву и доставлять деньги для собравшегося ополчения, когда следом за нею повсюду приходила возмутительная весть об убийстве Ляпунова, а затем о намерении казаков присягнуть Маринкину сыну-воренку? Зовут и умоляют идти спасать Москву, а приезжие от Москвы тут же рассказывают всему народу, что они едва спаслись от казацких насилий и злодейств?» (77—78). Своею грамотою 20 августа патр. Гермоген «отдавал подмосковное казацкое ополчение, так сказать, под суд всей земле. И естественно, что все земство, после таких событий под Москвою, стало смотреть на казацкое ополчение как на ближайшего врага общему спасению, столь же опасного, как и самые поляки» (254).

6) Появление Ходкевича под Москвою (24 сентября) вызвало вторую окружную Троицкую грамоту, 6 октября писанную по просьбе Трубецкого, с просьбою о помощи. В ней говорилось о Трубецком и Заруцком, пришли-де они освободить Москву, а о Ляпунове не было сказано ни слова, как будто его никогда там и не было; ни слова не сказано было и о казаках, как будто под Москвою стояли в ту пору одни лишь земские рати (78). Деловое содержание этой грамоты «принадлежало казацким воеводам». Они говорили неправду, утверждая, будто земцы пришли и стоят под Москвою: «никто из земцев в это время к ним не приходил, разве новые голодные станицы казаков, да и те не могли остаться у голодающей Москвы». А неправда писалась для того, «чтобы отвести далеким людям глаза и скрыть важнейшую истину, что ратные давно уже разбежались от казацких злодейств» (257).

7) Грамота 6 октября действия иметь не могла: земля еще в сентябре из грамоты Гермогена знала о намерении присягать Воренку (см. выше пункт 5-й), и народ, по слову патриарха, уже писал под Москву не совершать такого позора (79).

8) «Поэтому нового в Троицкой грамоте ни для кого и ничего не было. Шел на Трубецкого и Заруцкого с казаками Ходкевич: что ж тут было нового и особенного, когда и сама Москва еще была в руках поляков? Все это дает нам основание не верить сказанию Палицына, что нижегородцы возбуждены были Троицкими грамотами. Нет, они давно были возбуждены, с самого начала Смуты, и постоянно поддерживались в своих мыслях патр. Гермогеном, который еще 20 августа делает их живым средоточием переписки со всеми городами против за-

мысла казаков присягнуть Маринкину сыну; а наступил сентябрь, и нижегородцы уже принялись за дело настоящим образом» (80).

3. С. И. Кедров. Резкое противоположение (в оценке удельного веса) гермогеновских грамот грамотам Троицким в монографии Забелина, возвеличение первых и умаление вторых, а также обидный для памяти Авраамия Палицына отзыв о нем как об «изменнике» общему делу, пустом самохвале, якобы написавшем похвальное слово монастырю и себе самому, не справляясь с истиной, между тем как его «Сказание» — один из драгоценнейших источников по истории Смутного времени, особенно последних его лет, вызвало тогда же горячую отповедь со стороны С. И. Кедрова, ставшего на защиту как политического значения Троицких грамот, так и самой личности Палицына.

Кедров не отрицает значения Гермогена в освободительном движении: патриарх указал цель — защиту веры и племенного единства; его идею и «развивали в национальных грамотах Троицкие власти. Одной из таких грамот в Нижнем удалось подействовать на Минина, который живым словом патриотической речи и создал новое ополчение» (485). Однако, говорит Кедров, это еще не дает основания утверждать, будто Троицкая грамота 6 октября «не могла иметь значения в Нижнем потому, что будто бы она явилась в Нижнем уже в самый разгар Нижегородского ополчения, в половине октября 1611 г., а в последних числах октября (не позднее 30) ополчение в Нижнем уже составилось». Но эта грамота была уже третьей, пришедшей в Нижний: первая послана вскоре после 19 марта 1611 г., а вторая в конце июня или начале июля того же года.

«Всего вероятнее думать, что третья, действительно, уже получена была в ту пору, когда нижегородцам было известно содержание двух первых. Эта третья только усилила возбуждение, произведенное двумя первыми. Наконец, ничего баснословного нет и в том, что именно третья грамота возбудила ополчение в Нижнем. Окончательно это ополчение сформировалось к февралю 1612 года, когда Пожарский выступил из Нижнего, принимая на пути шедшие на соединение с нижегородцами отряды. А в течение почти четырех месяцев могло случиться, что пришла Троицкая грамота в Нижний, была здесь читана многожды, говорил к народу Минин, посылали к Пожарскому и т. д.». Анализ данных позволяет Кедрову утверждать, что «Троицкие власти смотрели на нижегородское ополчение как на собранное их грамотами» (486).

Не согласен признать Кедров и «казацкий» характер Троицкой грамоты, призывавшей на соединение с казаками: в ней, по его мнению, не было никакого обмана. «Грамота действительно скрывает истину о злодействах казаков; но как же было иначе? Какой бы смысл имела призывная Троицкая грамота, если бы она, призывая русских людей в Москву, в то же время предостерегала их указанием на опасность со стороны казаков? Если бы Троицкие власти написали: „господа, идите спасать отечество, только опасное это дело, ибо казаки..." и пр., тогда и вовсе никто бы не пошел. Этого желали казаки; суть казацкой политики состояла в том, что казаки не хотели соединиться с нижегородцами. И они достигли своей цели. Известно, что в Казани весть о казацких злодействах создала желание не ополчаться и идти под Москву, а жить по-своему до тех мест, пока государя не выберут всю землю. Умно и дальновидно поступали Троицкие власти, умалчивая в минуту опасности о фактах раздора среди самих же русских. И в этом случае они действовали не согласно с казацкой политикой, а по собственному разуму, по своей политике Троицкой» (Авраамий Палицын как писатель. Р. архив. 1886, № 8. С. 488).

Впоследствии С. И. Кедров имел случай снова выступить в защиту своей гипотезы. В заседании Моск. Общества Истории и Др. Росс. 21 декабря 1912 г. он доказывал, что Нижегородское ополчение «не могло состояться: 1) ни по грамоте патр. Гермогена от 26 августа 1611 г., призывавшей к нравственному воздействию на казаков, не к походу на них, 2) ни само собою. Нижегородцы должны были обнаружить последнее напряжение своих сил, для чего нужен был особый подъем духа, на создание которого имел большое влияние призывный звон, раздавшийся из лавры прп. Сергия». В противность Кедрову Л. М. Сухотин в том же заседании, доказывал, что Троицкие грамоты «особого значения иметь не могли. Правда, после июльской грамоты прибыла Казанская рать, но надо еще доказать, что она прибыла под влиянием грамоты, а не самостоятельно. Ко времени же октябрьской грамоты движение и без того было уже в полном ходу» (Чтение, 1913, кн. IV, 37—41).

4. С. Ф. Платонове «Очерках по истории Смуты в Моск. гос-ве» (1899) принимает положения Забелина о первенствующем значении патр. Гермогена, но иначе объясняет поведение Троицких властей, чем он.

1) «Движение в Нижнем Новгороде началось еще до появления там Троицкой грамоты 1611 г.».

2) Гермоген еще при жизни Тушинского вора выступил на открытую борьбу с Сигизмундом, и тем решительнее стал действовать, когда Вор умер.

3) «Уже 12 января 1611 г. Пахомов и Мосеев приехали в Нижний от патриарха и привезли его словесные инструкции — знак, что сношения Гермогена с Нижним были налажены еще в ту пору, когда только что возникала решимость на открытую борьбу с Сигизмундом».

4) Со второй половины декабря 1610 г. патриарх начал открыто призывать свою паству к восстанию против поляков, рассылать грамоты. Особенно рассчитывал Гермоген на Пр. Ляпунова и подчиненных ему рязанских служилых людей. «К Ляпунову он обратился, по-видимому, раньше, чем ко всем прочим, и Ляпунов поднял знамя восстания уже через две—три недели после смерти Вора, около 1 января 1611 г.».

5) Что касается Троицких грамот, то Платонов подхватывает мысль Забелина, допускавшего возможность, что Троицкие власти, «живя вблизи казаков и казацких воевод, по необходимости должны были мирволить им и жить с ними в дружбе» (Минин и Пожарский, 77), развивает ее и доказывает необходимость не только «мирволить», но и действовать в их духе: «Монастырь отстоял всего в 60 верстах от Москвы и входил в сферу казачьего ведения и влияния. Он поневоле должен был завязать постоянные и тесные сношения с казачьими подмосковными таборами, принимать от них помощь и защиту и, в свою очередь, помогать им... Монастырь искал утверждения своих прав у казачьего правительства». При таких условиях он «не мог говорить так, как говорил Гермоген: монастырские власти были связаны по рукам и ногам своими отношениями к возобладавшей временно казаческой власти» (с. 528, 480—486, 524—526).

Последними словами Платонов снимает с Авраамия Палицына упрек, брошенный ему Забелиным, в непонимании и даже в отступничестве от общего национального дела.

5. «Люди Смутного времени. СПб., 1905» — сборник статей, авторы коих не во всем согласны между собою. Поливектов в биографии Минина и Пожарского: «Нижегородское движение было откликом на призыв не Троицкой лавры, но Гермогена» (стр. 40). Васенко, в биографии Гермогена: Гермоген был «вдохновитель ляпуновского, а затем и нижегородского ополчения»* (30). Пресняков в биографии Прокопия Ляпунова: «Центральным деятелем в национальном движении против господства

иноземцев выступил патр. Гермоген, но еще раньше его призыва стал самостоятельно действовать Прокопий Ляпунов» (38).

6. П. Г. Любомиров. Очерк истории нижегородского ополчения. СПб., 1917. С. 44—49.

До 70-х годов XIX столетия в русской историографии преобладало мнение, будто патриотическое движение в Нижнем Новгороде (проповедь Минина) находилось в непосредственной связи с появлением там грамот Троице-Сергиева монастыря. • Забелин совершенно справедливо, сначала основываясь на разнице программ октябрьской Троицкой грамоты и нижегородского ополчения, а несколько позже гораздо убедительнее — простым хронологическим расчетом, показал невозможность связывать начало движения в Нижнем с прибытием Троицкой грамоты, однако и ему самый факт получения этой грамоты казался, по-видимому, несомненным. Но можно, пожалуй, даже нужно, не смущаясь указаниями источников, если не решить, то поставить вопрос: да была ли прежде всего получена в Нижнем осенью 1611 г. Троицкая грамота? — При ближайшем знакомстве с памятниками бросается в глаза то обстоятельство, что ни очень хорошо осведомленный составитель „Нового летописца“, ни живший по соседству — в Арзамасе Болтин в своих записках, ни даже сам Минин, рассказывавший в августе 1612 г. архим. Дионисию о начале ополчения, совсем не упоминают о получении в Нижнем до или во время создания в нем ополчения грамоты властей Сергиевой обители, а говорят об этом прежде всего лица, теснейшим образом связанные с этим монастырем. Невольно возникает вопрос: не есть ли указания последних — патриотов своей обители — результат позднейшего осмысления события, позднейшей, может быть, совершенно непреднамеренной, постановки в причинную связь хорошо памятного в монастыре факта рассылки грамот по многим городам России в начале октября 1611 г. и ставшего позже известным фактом создания ополчения в Нижнем?» — Была ли, не была ли получена в Нижнем грамота Троицкая, она, как доказал это Забелин, все равно не могла прийти туда ранее 11 октября 1611 г., проповедь же Минина началась в первой половине или, самое позднее, в середине сентября (44—49).

• По-прежнему приписывают Троицкой грамоте решающее значение в пробуждении у нижегородцев решимости создать ополчение Иловайский, ИР, IV, 220, Ключевский, Курс р. ис, III, 73, возражавший Забелину Кедров (Авр. Палицын как писатель. Р. архив. 1886, № 8), повторявший его Д. Скворцов

(Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Серг. монастыря. Тверь, 1890) и некоторые другие» (47).

7. Ю. В. Готье. Смутное время. Госиздат, 1921: Грамота Гермогена пришла в Нижний Новгород 25 августа, а грамоты Дионисия «уже тогда, когда приготовления к сбору ополчений были там в полном разгаре» (94).

8. Л. М. Сухотин. К вопросу о причастности патр. Гермогена и кн. Пожарского к делу первого ополчения. Сборник статей в честь М. К. Любавского. СПб., 1917. Автор оспаривает господствующий, по его мнению, взгляд, будто ляпуновское восстание было вызвано грамотами патр. Гермогена: по свидетельству Арсения, архиепископа Елассонского, кн. И. А. Хворостинина и неизвестного автора «Нового летописца», сам Гермоген отрицал свое участие в составлении и распространении грамот (333—334). Правда, в грамотах, которыми обменивались города, говорилось, что патриарх благословил Ляпунова на поход против поляков, но в дошедших до нас призывных грамотах самого Ляпунова подтверждения тому не находится: о Гермогене они молчат (а казалось, был бы полный расчет сослаться на него!). Поэтому «есть все основания полагать, что нижегородцы в своих грамотах приплели с известным расчетом имя патриарха к восстанию Ляпунова (для придания ему вида благонадежности), и эта прикраса получила дальнейшее развитие в последующих грамотах. И чем дальше, тем крепче имя патр. Гермогена связывалось в народном воображении с делом ополчения на врагов» (330).

«Не отрицая сношений патр. Гермогена с Нижним в январе 1611 года через нижегородских посланцев, бывших в Москве у патриарха и беседовавших с ним, признавая, что в деле присоединения Нижнего, а за ним и других городов Замосковья к восстанию Ляпунова слухи о стойкости патриарха и его ободряющее слово (но не призывные грамоты, каковых не было вовсе) должны были сыграть известную роль, мы настаиваем на том, что самое восстание Ляпунова и присоединение к его восстанию городов Рязанских, Украинных и Заозских произошло независимо от Гермогена» (338).

Сухотин указывает (325) на двух авторов, разделяющих его мнение: Пресняков, «Люди Смутного времени», 38: восстание Ляпунова произошло независимо от призыва Гермогена (см. выше); Д. Успенский: «Страдальцы на землю Русскую, патр. Гермоген и троцкий архим. Дионисий», 22—23: грамоты, приписываемые Гермогену, «принадлежат к подложным патриотическим грамотам, довольно распространенным в то время*».

9. Д. И. Иловайский. ИР. Т. IV. С. 192—193. Убийство Тушинского вора (11.XII.1610) вызвало в населении Москвы движение. Во главе его стал патр. Гермоген; он «начал, помимо временного правительства, рассылать по областям грамоты, в которых разрешал народ от присяги Владиславу и увещевал прислать ратных людей к Москве для защиты православной веры от латинского короля и для изгнания врагов... Некоторые грамоты патриарха были перехвачены. Тогда он подвергся преследованиям... Несмотря на все принятые меры, известия о неволе патриарха и его мольбы стоять за веру и освободить царствующий град из рук безбожных латинян распространились по областям и возбуждали там сильное волнение. Особенно эти мольбы обращались в Рязанскую землю к ее храброму воеводе Прокопию Ляпунову. И сей последний не обманул надежды, возлагаемой на него патриархом» (192—193). Нижний Новгород был поднят Троицкими призывными грамотами (221).

№ 29. КАК СОСТОЯЛОСЬ ИЗБРАНИЕ М. Ф. РОМАНОВА НА ЦАРСТВО?

Первоначально, особенно в царствование имп. Николая I, когда даже академическое обсуждение ограничения самодержавной власти считалось недопустимым или, по крайней мере, предосудительным, факт предъявления условий царю Михаилу, а тем более принятия им этих условий категорически отвергался (Лавровский), и только за границей возможно было обсуждать его с полной свободой (кн. Долгорукий). Однако и позже, с устранением цензурных помех, в нашей историографии еще долгое время держалось мнение, что никакого ограничения не было. Таков был взгляд авторитетных историков: Соловьева, Нила Попова, Чичерина, Костомарова. Впрочем, они не столько отрицали показания Котошихина и писателей XVIII века, сколько подчеркивали полное отсутствие следов ограничения в последующих событиях и действиях правительства. Отношения земли к государю, указывали они, остались и после избрания прежними; никто никогда на запись не ссылался, а если в первые годы царствования Михаила выборные от земли и принимали деятельное участие в делах управления, то не в силу «ограничения», а вследствие молодости, неопытности царя и неупорядоченности правительственной машины, совершенно расшатанной в тяжелую годину Смуты. •Желаниям новизны не было места. Взоры всех обращены были на прошедшее,

нарушенное смутами, как на идеал политического быта» (Попов).

Однако с 70-х годов прошлого столетия начинают раздаваться иные голоса. Отсутствие «следов» ограничения в последующие годы не исключало попыток со стороны бояр использовать подходящий момент и сделать эти «следы» возможными на будущее время. Прежние попытки боярства ограничить власть Бориса Годунова, Василия Шуйского и королевича Владислава естественно наводили на мысль, что и в данном случае подобная попытка могла иметь место. Дальнейшая разработка спорного вопроса и пошла в этом направлении, в выяснении: какую роль сыграло боярство в избрании Михаила? Чего оно добивалось и добилося ли чего?

Попытки бояр ограничить нового царя и приобрести право на участие в верховном управлении и законодательстве были признаны явлением «в духе времени» (Загоскин), имевшими уже прецедент при избрании Василия Шуйского (Ключевский); известие Страленберга о письме Шереметева к кн. Голицыну признано соответствующим действительности (Латкин). Полную веру показаниям Страленберга и Котошихина дал немецкий историк Бауэр, построив на этом свой основной вывод: власть Михаила была ограничена, и хотя условия вскоре были нарушены, но Михаил остался навсегда под опекой бояр.

Обстоятельный анализ всего цикла источников, русских и иностранных, об избрании Михаила дан был Маркевичем: он считается с их показаниями, но реальное значение «ограничений» представляется ему ничтожным: запись была представлена царю, царь обещал руководствоваться ею, но подписи своей не давал, креста не целовал — соблюсти обещание или не соблюсти вполне зависело от его доброй воли, «что понимали и бояре, составлявшие условие». Таким образом, о записи, как акте юридически обязательном, не может быть и речи.

Таковы выводы Маркевича; но решающего значения исследование его не получило, и спорный вопрос по-прежнему оставался спорным. Иначе оно, пожалуй, и не могло быть. Источники, на каких исследователю приходится основывать свое суждение, не обладают элементом категорической достоверности и потому допускали субъективную оценку: одним эта достоверность казалась большею, другим меньшею, вследствие чего и выводы одного исследователя лишены были безусловной убедительности для другого.

Для большинства историков попытка бояр ограничить свободу правительственных действий царя Михаила несомненна

(Иловайский, Алексеев, Тельберг, Пичета, Кизеветтер, Милюков. Впрочем, последний бояр заменяет Земским собором: орган «всей земли», он отодвинул бояр на второй план и превратился в постоянное учреждение, законодательное и распорядительное), но и в этом пункте расхождение между ними зачастую совсем непримиримое. Попытка удалась, но на короткое время; самодержавие восстановилось, хотя не сразу, а постепенно, причем запись исчезла в официальных актах бесследно (Иловайский). Попытка, если и допустить ее, не имела практического значения (Дьяконов); прибегать к совету бояр еще не значило коренным образом изменять организацию Боярской думы (Сергеевич). Запись осталась мертвою буквой (Валишевский). Совсем иное утверждает Завитневич: можно сомневаться в наличии записи, но положение дел сложилось так, как описывает его Котошихин: царь вынужден был действовать сообща с думцами. Ключевский и Тарановский полагают, что была придворная негласная сделка, может быть, с записью, а может быть, и без нее.

Такая разногласия в мнениях и явное бессилие сказать что-либо решающее и окончательное по вопросу о существовании записи неизбежно должны были навести на мысль: да могла ли она вообще возникнуть? Та обстановка, в какой происходили выборы царя, — допускала ли она возможность такого рода попыток со стороны боярства? Отрицательный ответ, сперва нерешительный, позже окончательный, дает Платонов. В первом своем труде (1899) он еще считается с показанием Котошихина (видя уже и теперь в показаниях Татищева и иностранцев XVIII века «лишь извращенное воспоминание о действительном факте соправительства с царем Михаилом Земского собора») и, не решаясь категорически отрицать «обещаний» царя Михаила, полагал, что, если таковые и были, то юридически остались неоформленными. Зато в статье 1913 г. он уже прямо отвергает самую возможность для бояр пытаться добиться ограничения по условиям того времени: во время выборов бояре находились вне Москвы; избрание решено было без них.

Мнение Платонова разделяют Пресняков, Васенко, Цветаев. Ближе подходит к нему и Готье: могла быть негласная просьба бояр или челобитье от имени Земского собора; но боярство в ту пору лишено было всякого значения, а дворянская и крестьянская земщина шла в Москву на выборы, чтоб получить прежнего царя, и мало думала об ограничениях.

Мнение Платонова и его единомышленников, несмотря на свою категоричность, а может быть, именно в силу своей ка-

тегоричности, не нашло единодушного признания. Зато новый материал, найденный и опубликованный сравнительно недавно, уже в текущем столетии Гиршбергом (1901), Альмквистом (1907) и Замятиным (1926), выявил существование нового фактора в деле избрания Михаила Федоровича — казачество, и изменил самую постановку спорного вопроса: борьба за престол стала теперь пониматься не только делом боярским, но также и делом казаков.

Новый материал привел к литературной дуэли: кто был хозяином положения? Бояре или казаки, «демократические низы общества?» В такой постановке спорного вопроса об избрании М. Ф. Романова спор о «записи» отступал на задний план, а на первое место выдвигались социальные интересы борющихся партий.

Платонов первый в русской исторической литературе использовал новый материал (1906) и на основании его пришел к выводу, что избрание Романова прошло под давлением казаков, что своим воцарением Михаил обязан не боярам, а демократическим низам общества, поддержанным средними его слоями. Зато, в противность Платонову, Дьяконов доказывал, что боярство отнюдь не утратило прежнего своего авторитета, недаром Земский собор счел необходимым при окончательном решении вопроса выслушать мнение разъехавшихся бояр, и только с возвращением в столицу состоялось последнее решающее заседание собора 21 февраля. Дьяконов иначе расценивает и показания Философова, не считая возможным особенно доверять им; снимает с боярства брошенное ему обвинение в антинациональной пропаганде на Земском соборе чужеземной кандидатуры, а в действиях казаков отнюдь не усматривает того проявления патриотизма, какие приписывал им Ключевский (1912).

В конечном итоге новые документы сходному пониманию и согласному представлению хода событий не содействовали. Новым доммыслам представлялся еще широкий простор. В последнее время на спорную арену выступили двое молодых историков, Любомиров и Замятин, и каждый из них сумел придать новый оттенок пониманию этих событий, но значит ли это, что они сказали последнее слово и что спорный вопрос можно спокойно сдать в архив?

У Любомирова есть новые соображения. Он не отвергает показаний источников XVII и XVIII стол., но сделку с боярами отрицает категорически. Центр тяжести он переносит с бояр на Земский собор, но не в направлении милюковской гипотезы:

условиями царь связан не был, юридически делить свою власть с собором не обязывался уже по одному тому, что и условий ему не ставилось никаких: собор выразил ему лишь свои пожелания, притом в форме челобитья, просьбы, и уже только под пером псковского летописца эти просьбы превратились в условия. Просил же собор не о присвоении ему власти, а о прекращении произвола, о введении царской власти в законные рамки, о примирении и прощении прежних ошибок и проступков. Что касается казаков, то засилью их не было места, оказать решающее влияние на избрание они не могли, у них не было для этого достаточно силы. Едва ли и кандидатура «Филаретова сына» зародилась в казацкой среде самостоятельно: по-видимому, она была подсказана со стороны, и это тем вероятней, что само казачество не осталось за годы Смуты вне влияния земских идей и настроений.

Новые данные, впервые им опубликованные, дают Замятину основание утверждать, в противность установившемуся мнению, что предварительного сговора на соборе об исключении кандидатуры иноземных принцев не было, что, наоборот, земцы именно из «своих»-то и не хотели выбирать царя, а выдвигали кандидатуру шведского принца Карла Филиппа; что договор об избрании последнего действительно состоялся, но что в загоревшейся борьбе между земцами и казаками одолели последние и силою заставили признать царем Михаила Романова.

Подводя итог вышесказанному, не трудно убедиться, что спорный вопрос об условиях и всей обстановке, в какой происходило избрание М. Ф. Романова, остается и поныне далеко не решенным. Еще позволительно спорить не только о том, предлагалась ли царю Михаилу ограничительная запись, и давал ли он ее, но еще недостаточно выяснено взаимоотношение самих сил, от которых зависело избрание царя, их удельный вес, и в каком направлении действовали они при этом избрании. Как видим, даже позднейшие по времени исследователи могут приходиться к противоположным выводам и резко расходиться по таким кардинальным вопросам, как вопросы: отставало ли боярство домашнюю или чужеземную кандидатуру? Могли ли казаки или нет оказывать давление на выборы? Остается поэтому ждать новых исследований вопроса. Но в состоянии ли они будут, при наличности имеющихся в нашем распоряжении данных, сказать что-либо новое и, главное, окончательное, для всех убедительное?

ИСТОЧНИКИ

I. ПСКОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ: ПСРЛ. Т. V. С. 64, про бояр и про их поведение: «Царя ни во что же вмениша и не боящися его, понеже детеск сый. Еще же и лестию уловивше: первые егда его на царство посадиша, и к роте приведоша, еже от их вельможска роду и боярска, аще и вина будет преступлению их, не казнити их, но рассылати в затоки; еще окаянный умыслиша; а в затоце коему случится быти, и они друг о друге ходатайствуют ко царю и увещают и на милость паки обратитися».

II. КОТОШИХИН, глава VIII: «Нынешнего царя [т. е. Алексея Михайловича] обрали на царство, а письма на себя он не дал никакого, что прежние цари даывали, и не спрашивали, потому что разумели его гораздо тихим, и потому наивысшее пишется самодержцем и государство свое правит по своей воли... А отец его, блаженный памяти царь Михайло Федорович, хотя „самодержец" писался, однако без боярского совета не мог делати ничего».

III. ТАТИЩЕВ. Две записки, относящиеся к царствованию имп. Анны. Сборник «Утро», 1859 г., изд. Погодиным, с. 373: «Царя Михаила Федоровича хотя избрание было порядочно всенародное, да с такой же записью [какая была взята с царя Шуйского], через что он не мог ничего учинить, но рад был покою».

IV. АПОКРИФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО Ф. И. Шереметева к кн. В. В. Голицыну. Выдержка из него, со слов П. И. Мельникова, приведена Костомаровым. Смутное время, т. III (1868), 294 в таком виде: «Выберем Мишу Романова, он молод и еще глуп». Новая версия в редакции, изложенной в 1878 г., в исправление прежней, тем же Мельниковым, читается у Барсукова: «Род Шереметевых», т. II (1882), 311: «Выберем-де Мишу Романова, он еще молод и разумом еще не дошел, и нам будет поваден».

V. PHIL. JON. V. STRAHLENBERG: 1) Das nord und ostliche Theil von Europa und Asia... Stockholm, 1730, главы IV и V. Тот же текст под заглавием: Historie des Reisen in Russland, Sibirien und der grossen Tartarey. Leipzig, s. a.; 2) Description gistorique de l'empire Russien. Traduite de l'ouvrage allemand. Amsterdam, 1757. Русский перевод соответственных мест дан Маркевичем, а текст условий, кроме него, в оригинале по немецкому и французскому изданиям, Поповым:

Митр. Филарет писал из польского плена Шереметеву, советуя выбрать царя из собственной среды, но не многосемейного

и незамешанного в прежние ссоры, и обставить его избрание известными условиями. По словам Страленберга, письмо это, «как говорят, можно еще было видеть в оригинале у недавно скончавшегося фельдмаршала Шереметева и из коего некто, его читавший, сообщил мне несколько данных». Собор остановился на Михаиле Романове, но мать Михаила усиленно отклоняла избрание, Шереметев же, хотя наружно поддерживал ее, «но под рукой работал достаточно, чтобы привести дело к желанному исходу».

Перед коронованием Михаил подписал следующие условия: 1. Блюсти и охранять православную веру. 2. «Все, что случилось с его отцом, забыть и простить, и не помнить ни о какой частной вражде». 3. Судить не по собственному усмотрению, а по закону, причем новых законов не создавать, а старых не отменять. 4. Ни войны ни мира по своему усмотрению не предпринимать. 5. Вотчины свои отдать или родне или в государственную казну.

VI. ФОККЕРОДТ. Россия при Петре Великом. Чтения. 1874, кн. II, с. 21, перевод изданной проф. Германном книги: «Rusland unter Peter dem Grossen. Leipzig, 1872».

Маркевич так расценивает показание Фоккеродта: оно составлено в 1737 году, всецело основано на Страленберге, у которого автор взял все сведения, а потому «вовсе не имеет цены». Правда, в самом рассказе Страленберга об избрании и условиях, поставленных Михаилу, не сказано, как у Фоккеродта, что: 1. Собор желал получить от Михаила присягу в соблюдении предъявленных ему условий. 2. Одним из условий было: не отягощать подданных новыми налогами и 3. Постановление собора «не выбирать в цари такого, у которого сильное родство и сильные приверженцы, так как с помощью их в состоянии он будет нарушить предписанные ему законы и присвоить опять себе самодержавную власть», — но первое говорит Маркевич, есть простой домысел Фоккеродта, о котором он скоро забывает, говоря, «согласно с Страленбергом, что царь Михаил подписал условия» (не присягая); второе — взято у того же Страленберга, из иного места (там, где он говорит об условиях, поставленных Шуйскому): «очевидно, Фоккеродту показалось неправдоподобным, чтобы этот пункт не был внесен и в последующие условия»; третье — «соответствует тому, что Страленберг говорит о Голицыне, как о нежелательном боярине-конкуренте Шуйскому» (Маркевич, окт. 376—378).

VII. ГРАФ МИНИХ-СЫН. Записки Манштейна. СПб., 1875, Приложения. Повторяет Фоккеродта.

VIII. ШМИДТ-ФЕЗЕЛЬДЕК, губернёр детей гр. Миниха-сына. *Materialen zu der Russischen Geschichte seitn dem Tode Kaisers Peters des Grossen*. Bd. II (1789), S. 15. Михаил дал формальное обязательство, но вскоре нарушил его. Оригинал записи хранился в кафедральном соборе в Москве, а черновик еще в 1730 году находился в архиве.

IX. ПОКАЗАНИЯ ИВАНА ФИЛОСОФОВА, сына боярского, захваченного в плен отрядом Адама Жолкевского. Показания эти были включены в грамоту кн. Мазецкого и дьяка Ив. Грамотина, посланную на имя короля Сигизмунда и королевича Владислава и полученную ими в походе на Москву, 14/24 ноября 1612 г.; напеч. (латиницей, применительно к польскому алфавиту) Ал. Гиршбергом, *Polska a Moskwa w pierwszej polowie wieku XVII*. We Lwowie. 1901, 363:

• На Москве у бояр, которые вам, великим господарем, служили, и у лучших людей хотение есть, чтоб просити на господарство вас, великого господаря королевича Владислава Жигимонтовича, а именно-де о том говорити не смеют, боясь казаков, а говорят, чтоб брать на господарство чужеземца; а казаки-де, господари, говорят, чтоб брать кого из русских бояр, а примеривают Филаретова сына и Воровского Калужского, и во всем-деи казаки бояром и дворяном сильны, делают, что хотят; а дворяне де и дети боярские разъехались по поместьям, а на Москве осталось дворян и детей боярских всего тысячи с две, да казаков полпяти тысячи человек, да стрельцов с тысячу человек, да мужики чернь. А бояр-деи, господари, князя Федора Ивановича Мстиславского с товарищи, которые на Москве сидели, в думу не припускают, а писали об них в города, ко всяким людем: пускать их в думу или нет? А делает всякие дела князь Дмитрий Трубецкой, да князь Дмитрий Пожарской, да Куземка Минин. А кому вперед быти на господарстве, того еще не постановили на мере».

X. РАССПРОСНЫЕ РЕЧИ русских людей: Дубровского, боярского сына Калитина, слуги боярина Боборыкина, стольника Чепчугова, московского дворянина Пушкина, дворянина Дурова и др., — предъявленные в 1613—1614 гг. шведским властям в Новгороде, а теми пересланные в Стокгольм шведскому правительству. Напечатаны по-шведски и по-немецки Альмквистом в журнале •*Le Monde Oriental*•. Upsala, за 1907 год. Основное содержание этих важных показаний изложено в предисловии их издателя (см. ниже). Русский перевод этих документов (тот же Альмквист. *Die Carenwahl des Jahres 1613*. Zeitschrift f. osteur. Geschichte, Bd. III, 2, считает его не вполне свободным

ЮТ ошибок) вошел в состав т. н. «Арсеньевских бумаг»: Сборник Новгор. Общ. любит, древности, вып. V. Новгород, 1911.

XI. ДОНЕСЕНИЕ ШВЕДСКОГО ДВОРЯНИНА БРЮННО, вернувшегося 15 февраля 1613 г. из Москвы в Новгород: Казаки выставляли последовательно три кандидатуры: князя Д. Т. Трубецкого, Михаила Федоровича Романова и князя Димитрия Матрюковича (Черкасского) — последнего, как не русского происхождения в виде уступки земцам, настаивавшим на иноземце; но земцы последовательно отвергали каждую из этих кандидатур, желая видеть царем шведского принца Карла Филиппа. Часть казаков с Заруцким во главе удалилась. Для окончательного решения ждут приезда казанского митрополита, вызвали также и бояр, сидевших в Кремле вместе с поляками и покинувших столицу из опасения насилия со стороны казаков (Замятин; Труды Воронежского Гос. университета. Т. III, 71—72).

XII. ДОНЕСЕНИЕ ШВЕДСКОМУ КОРОЛЮ ИЗ НОВГОРОДА 13 апреля 1613 г.: избран М. Ф. Романов. Казаки провозгласили его в отсутствие его и своих военачальников, князей Трубецкого и Пожарского (sic) против воли бояр, принудив их согласиться на это избрание (там же, 73—74).

Нижеследующие авторы подвергали анализу (или касались его в своих статьях и книгах) вопрос об условиях избрания М. Ф. Романова:

1.	Бюшинг	1769	Костомаров	1868
	Голиков	1790		1874
	Львов	1812	Хлебников	1869
	Вихман	1819	15. Загоскин	1877
5.	Полевой	1834		1881
	Долгорукий	1843	Барсуков	1882
	Лавровский	1852	Забелин	1883
	Тургенев		Ключевский	1883
	Соловьев	1858	Латкин	1885
10.	Попов	1861	20. Бауэр	1886
	Хмыров	1863	Бестужев-Рюмин	1887
	Чичерин	1866	Маркевич	1891

	Сергеевич	1893		Платонов	1913
	Иловайский	1894	40.	Дьяконов	1913
25.	Платонов	1899		Васенко	1913
	Милюков	1901		Готье	1913
	Валишевский			Тарановский	1913
	Платонов	1906		Цветаев	1913
	Альмквист	1907	45.	Альмквист	1913
30.	Ключевский	1908		Замятин	1913
	Завитневич	1908		Сташевский	1913
	Алексеев	1909		Пичета	1913
	Дьяконов	1912		Кизеветтер	1915
	Филиппов	1912		Замятин	1913
35.	Чернышев	1912	50.	Замятин	1914
	Пресняков	1912		Любомиров	1917
	Заозерский	1912		Готье	1921
	Тельберг	1912	54.	Замятин	1926

1. Biisching. «Magazin für die neue Historie und Geographie» II (1769), 401—403: на основании архивных данных, доставленных ему из Петербурга Г. Ф. Миллером, Бюшинг опровергает Страленберга и доказывает, что никаких ограничительных условий Михаил Федорович не подписывал, а избран был неограниченным самодержцем. См. Вауер, 10.

2. И. И. Голиков. Дополнения к деяниям Петра Великого, т. II (1790): простой рассказ об избрании и обстоятельствах, сопутствовавших ему, на основании данных, вошедших в Утвержденную грамоту.

3. П. Львов. Избрание на царство М. Ф. Романова. СПб., 1812. См. Иловайский, ИР, IV, ч. 1, с. 311.

4. Wichmann. Uckunde liber die Wahl Michail Romanow's. Ein Beitrag zur Geschichte des russischen Staatsrechts. Leipzig, 1819. Предисловие к переводу Утвержденной грамоты. Основываясь на этой грамоте, Вихман полагает, что Михаил избран был без ограничений, а на всей его самодержавной воле. См. Вауер, 11 след.

5. Н. Полевой. Вступление на престол Михаила Федоровича. Библ. для Чтения. 1834, июль. См. Иловайский, IV/1, с. 311.

6. Кн. П. Долгорукий, политический эмигрант: 1) Notice sur les principales familles de la Russie. Paris, 1843, под псевдонимом «le comte d'Almagro»; 2) La verite sur la Russie. Paris, 1860 (ссылки на Страленберга, Манштейна, Татищева и Котошихина); 3) Des reformes en Russie. Paris, 1862; 4) О перемене образа правления в России. Лейпциг, 1862 — считает ограничение фактом положительным. См. Любомиров, 179.

7. Н. А. Лавровский. Избрание Михаила Федоровича на царство. Опыты трудов студентов Главного Педагогического Института шестого выпуска. СПб., 1852: ставит вопрос о полноте власти избранного государя и, ссылаясь на народное настроение и на анализ правительственной практики первых лет царствования Михаила, приходит к выводу, что «Михаил Федорович был государь в полном смысле неограниченный». См. Сташевский, 62.

8. Н. И. Тургенев. Взгляд на дела в России, с. 8: избрание Михаила «было совершенно безусловное». См. Любомиров, 179.

9. С. М. Соловьев. ИР, т. VIII, гл. VIII, в конце (как готовилось и состоялось избрание), и т. IX, гл. V, в начале (об ограничениях). Показаниям об ограничении Соловьев не придает значения: 1) они противоречат действительным фактам; 2) они не соответствуют всей последующей обстановке событий:

«Есть известие, что бояре взяли с нового царя такую же запись, какую дал Шуйский, т. е. „не осудя истинным судом с боярами своими, никого смерти не предать и вместе с преступником не наказывать его родственников". Другое известие говорит, что Михаил обязался не казнить вельмож смертью, а наказывать только заточением. Но судьба Шеина противоречит этому известию, а судьба родных Шеина противоречит и первому известию. Значит, если и была взята запись, то имела силу только в начале царствования».

Вообще, «ни в каких формах и выражениях мы не замечаем перемен в понятиях о значении великого государя: послы по-прежнему противопоставляют значение государя в Московском государстве значению, какое имели короли в Польше; соборы созываются очень часто царем Михаилом, ибо это явление было необходимо по тогдашнему состоянию общества... На этих частных соборах мы не видим никакой перемены в отношении земли к государю. Могущественное большинство, значит, смотрело по-прежнему на значение царя, и слабое меньшинство Должно было сообразоваться с этим взглядом».

10. Н. Попов. В. Н. Татищев и его время. М., 1861. Тяжелая Смута породила одно всеобщее желание: «умирение государства; средство для того, по общему мнению, избрание царя. Других результатов не принесла Смутная эпоха. На соборе не раздалось ни одного голоса, который бы потребовал перемотра и пополнения судебных книг, более точного определения сословных прав и отношений, преобразований администрации, изменения податной и финансовой повинностей, иного распределения поземельной собственности. Желаниям новизны не было места. Взоры всех обращены были на прошедшее, нарушенное смутами, как на идеал политического быта. Всем надоела недавняя шатость; все наказались общею безурядицей: никому не приходило в голову удовлетворить тем немногим желаниям, которые повысказались в разные минуты Смутной эпохи». Автор вспоминает при этом, как Юр. Мнишек при Лжедмитрии I манил московских бояр вольностями польских сенаторов; присягу, взятую от Шуйского, и условия, поставленные Владиславу 4 февраля 1610 г. «Ни одно из этих условий не было помянуто при избрании Михаила Федоровича на престол. Предание о том, будто бы существовали условия, ограничивавшие власть нового царя, предания, о которых упоминал потом Татищев, слишком неопределенны и до сих пор не подтвердились ни положительными известиями о том, ни событиями, последовавшими за избранием Михаила» (71—72).

Условия, предложенные Михаилу, Попов приводит в том виде, как они изложены Страленбергом (всего числом пять), в обоих изданиях его книги, в немецком и французском тексте. Страленберг, помимо того, говорит о письме Филарета к Шереметеву, но Попов последнее не считает достоверным: «Страленберг свидетельствуется неизвестным лицом, видевшим будто бы это письмо у современника Петра фельдмаршала Шереметева»; к тому же Шереметев отнюдь не был «братом» жены Филарета, урожденной Шестуновой (539—540). НВ. Попов ошибся: жена Филарета была урожденная Шестова.

11. Хмыров. Избрание и вступление на царство Михаила Федоровича Романова. СПб., 1863. См. Иловайский. IV/1. С. 311.

12. Б. Н. Чичерин. О народном представительстве. М., 1866. С. 369—370: «Если даже при выборе Михаила Федоровича, боярами была взята с него запись, подобная прежним, то в русской государственной жизни она не имела никакого значения. Никто на нее никогда не ссылался; никто не стоял за утвержденные ею права. Напротив, понятия о безграничности царской воли высказываются постоянно на земских соборах

И того времени. О политических правах в царствование Михаила Федоровича нет и речи; это начало, которое в Древней России, при ее общественном строе, не могло пустить корней».

13. Н. И. Костомаров. Смутное время Московск. государства в начале XVII стол. СПб., 1868. Т. III. С. 322. «Михаил Федорович выбран был без всяких ограничений власти; противное свидетельство русского эмигранта XVII века Котошихина не подтверждается еще ничем положительным; да если б было что-нибудь в этом роде для нас неизвестное, все-таки впоследствии мы видим полное самодержавие в России на тех же началах, которые стали развиваться гораздо ранее Смутной эпохи. Некоторые признаки участия выборных, как будто признаваемого нужным для государственных и земских дел, в первые годы царствования Михаила были следствиями еще не установившегося порядка, молодости и неопытности государя, а никак не признаком сознательного права. С возвращением Филарета все уже пошло неуклонно полным самодержавным путем». Та же мысль и в «Русской истории», вып. четвертый (1874), с. 3—4.

14. Хлебников. О влиянии общества на организацию государства в царский период. СПб., 1869. С. 352: «Может быть, новый царь и дал запись боярам, но эта запись не могла иметь для него большого значения, потому что дело бояр было не популярно... Бояре не могли и думать, чтобы снова, как при Василии, можно было сделать думу боярским учреждением, ограничивающим царскую власть. Но те же самые причины, которые отодвигали на задний план думу боярскую, должны были побуждать царя чаще обращаться за советом к земству и его соборам».

15. Н. П. Загоскин. 1) История права Московск. государства. Два тома. Казань, 1877, 1879; 2) Верховники и Шляхетство 1730 года. Казань, 1881. С. 36—38. Вопросы, как он формулирован в настоящей главе, автор не ставит и не разрешает, а касается его мимоходом: попытки ограничить самодержавие московских государей со стороны бояр, говорит он, делались и раньше (Б. Годунов, В. Шуйский, Владислав); они были в духе времени. Рассчитывая на молодость и неопытность Михаила, бояре и теперь надеялись поднять свое политическое значение. При этом Загоскин ссылается на Котошихина (т. I, 148—149).

«И при избрании на престол царя М. Ф. Романова бояре рассчитывали усилить свое значение и, в лице думы боярской, поставить противовес самодержавной власти государя. Но результаты, достигнутые в этом отношении боярами, не были уже исключительно сословными: благодаря самодеятельности

земщины в деле восстановления в Русской земле потрясенного Смутным временем государственного наряда, причем земщине приходилось стать даже в явный антагонизм с боярством, и благодаря избранию царя Михаила на престол Земским собором — главным подспорьем молодому царю в деятельности его служили земские соборы. Со времени воцарения династии Романовых в критические моменты государственной жизни государя обращались за поддержкою непосредственно к самому народу, и боярство должно было окончательно отказаться от последней надежды ограничить самодержавие посредством усиления значения Боярской думы, неизлечимые удары которой нанес еще царь Иоанн IV» (т. II, 38—39).

16. А. Барсуков. Род Шереметевых. Кн. II. СПб., 1882, голословно отрицает существование письма Шереметева к кн. Голицыну со словами: «Выберем-де Мишу Романова и т. д.», зато не отвергает существования письма, отправленного, по словам Страленберга, митр. Филаретом к Шереметеву, с настоятельным советом избрать царя под непременною условием ограничения его самодержавной власти: «очевидно, он рассчитывал, что выбор падет на кого-либо другого», а не на его сына (313—314). I

17. И. Е. Забелин. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1883. С. 68, знает апокрифическое письмо Шереметева к Голицыну в версии не Барсукова, а Костомарова. «Смысл этого письма таков, как очень справедливо замечает г. Костомаров, что бояре склонились к выбору Романова между прочим потому, что при его молодости и неопытности думали править сами и поступать по своей воле. Так в действительности и было в первое время царствования Михаила, пока не явился деятелем управления (с 1620 г.) его отец Филарет, один из крепких людей Смутной эпохи».

18. В. О. Ключевский. Боярская дума. М., 1883, гл. XVIII. С. 379—382. Опираясь на псковского летописца, Татищева и Котошихина, автор признает ограничение, но, добавляет он, «условия этого ограничения передаются различно», j
Всего вероятнее, «договор с Михаилом был повторением условий, поставленных Шуйскому». Обстоятельнее по этому вопросу Ключевский высказался позже, в своем «Курсе русской истории». См. ниже.

19. В. Латкин. Земские соборы Др. Руси. СПб., 1885. В постановлении собора 1613 г.: «Литовского и Свийского короля и их детей за их многие неправды, и иных некоторых земель людей на Московское государство не обирать и Маринки с сыном i
не хотеть» (Дворц. Разряды, I, 13) — автор видит победу низших I

чинов над высшими (128). Известием Страленберга о письме Шереметева к Голицыну он пользуется как источником достоверным. «Шереметеву, наверное, пришлось немало потрудиться, чтоб сломить оппозицию других претендентов, лелеявших мысль воссесть на московском престоле» (132). Мнение Костомарова (Новое Время, 1880, № 1488), что отзывы, полученные на соборе от «верных людей», посланных тайно после 7 февраля во все города, за исключением дальних, — «более решили избрание Романова, чем согласие выборных лиц» — Латкин считает вполне правильным (132). Содействовало избранию именно Михаила: 1. Соображение, что «Миша Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет повален», и 2. Популярность в народе семьи Романовых и родство с прежней династией (133).

Воцарившись, Михаил не распустил собора: сознавалась «необходимость в советниках, необходимость опоры в народе. Впрочем, существуют известия, что Михаил Федорович, подобно Шуйскому, дал „запись“, которой ограничивались до известной степени прерогативы самодержавной власти. Если это действительно имело место, то нераспускание собора можно рассматривать так же, как результат этой „записи“ (145).

20. E. Bauer. Die Wahl M. F. Romanow's zum Zaren von Russland. Sybel's Histor. Zeitschrift, 1886. Bd. 56, S. 1—39. Оспаривая Бюшинга и Вихмана и опираясь главным образом на Страленберга и Котошихина, автор приходит к таким заключениям:

1) Были составлены два документа: а) тайная запись ограничительная, подписанная Михаилом, и б) утвержденная грамота с официальным изложением событий в том виде, как их хотели представить народу, т. е. избранием Михаила самодержавным и «Божиею милостию» государем, как и прежние государи до него.

2) Выборы прошли далеко не единодушно и состоялись под давлением «дикой солдатчины» и «казацкого сброда» (36).

3) Ограничительные условия вскоре были нарушены, однако, не вполне: Михаил остался навсегда под опекой бояр и лишь с 1626 года на государственной печати он стал называться «самодержцем». Бауэр имеет в виду СГГДог., III, 274, № 70: «По нашему указу сделана наша печать новая больше прежней для того, что на прежней печати наше государское титло описано было несполна; а ныне перед прежнюю печатью прибавлено на печати в подписи, в нашем государском именовании: самодержец».

21. К. Н. Бестужев-Рюмин. Обзор событий. ЖМНПр. 1887, август, 293: «Была ли запись, о которой говорит Котошихин, с достоверностью сказать нельзя».

22. А. И. Маркевич. Избрание на царство М. Ф. Романова. ЖМНПр. 1891, сентябрь, октябрь. Автор впервые подверг обстоятельному анализу все известные в его время источники, русские и иностранные: Псковскую летопись, Котошихина, Татищева, Страленберга, Фоккеродта, Миниха-сына и Шмидт-Физельдека, — те, где идет речь об ограничении. Его выводы:

1) «Выбор юного государя был результатом известной работы тех лиц, которые овладели национальным движением 1612 г. и желали довести свое дело до конца; им важно было иметь такого государя, за которого они могли бы управлять» (сент., 199).

2) «Избрание было делом известных боярских соображений, основанных, с одной стороны, на желании иметь государя, удобного для бояр, с другой — на уверенности, что выбор этот будет приятен всему народу».

3) Условия были сообщены Михаилу, «по всей вероятности, в виде записи, имевшей исключительно канцелярское значение».

4) «Некоторые пункты этой записи представляют повторение обещаний, данных царем Василием, иные же объясняются тогдашним положением фамилии Романовых; но условия не заключают в себе ничего нового, чего бы не было в прежних обычаях, и никоим образом не могут быть поняты как желание ограничить власть царя».

5) «Царь Михаил, вероятно, обещал исполнить то, о чем его просили, но записи не подписывал и креста на соблюдение записи не целовал; это было в то время не за обычай, и у него этого и не требовали».

6) «Исполнение обещанного было вполне делом доброй воли царя, что понимали и бояре, составляя условия» (окт., 403).

Платонов, ЖМНПр. 1913, февр. 183—184, по мнению которого роль казаков в избрании Михаила была немалая, считает слабой стороной исследования Маркевича, что «возникновение кандидатуры Михаила Федоровича в его изложении рисуется еще неясно, и роль казаков в деле царского избрания остается без детальной оценки, хотя Маркевичу и достаточно известны данные, говорящие об этой роли».

23. В. И. Сергеевич. Русские юридические древности. Т. II (1893), 374—377. «Котошихин дает повод думать, что Михаилу Федоровичу были предложены ограничительные пунк-

ты»; но «в какой мере был ограничен Михаил Федорович и кем, остается совершенно неизвестным». Слова Котошихина про царя Михаила: «хотя самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делать ничего», не совсем точны: наряду с предварительным совещанием с боярами можно указать случаи, когда Михаил Федорович давал указы без боярского совета.

«Очень можно допустить, что Михаил Федорович, которому были предложены ограничительные пункты, чаще обращался к совету бояр, чем делали это его предшественники. Но изменил ли он устройство этого совета, дал ли он ему определенную организацию и компетенцию? Это более чем сомнительно. Если бы такая перемена совершилась, Котошихин не мог бы ее не заметить и не упомянуть о ней. Скажем более, такая реформа совершенно была не по плечу современникам Михаила. Она не приходила в голову даже самим боярам».

«Никакой перемены в организации думы не произошло ни в Смутное время, ни при Михаиле Федоровиче. Всегда были лица, готовые, посредством влияния на царя и подбора советников, захватить власть в свои руки, но мысль о постоянном учреждении с определенным составом и компетенцией совершенно чужда московскому времени».

24. Д. И. Иловайский. ИР, IV, вып. 1-й (1894), с. 258, 319—322. Ограничительную запись, предложенную ему боярами, Михаил Федорович утвердил перед коронацией — об этом свидетельствуют четыре (или если сделать натяжку и сблизить Страленберга с Татищевым, три) «вполне достоверные и компетентные свидетельства или современные события, или близкие к нему по времени». В каком, однако, виде «существовала эта запись, наши источники не дают точного ответа на такой вопрос. По всем признакам, это была запись собственно боярская, отдельный акт, так сказать, сепаратный», исчезнувший «бесследно из официальных актов того времени»: Великая Земская дума осталась этой записи чужда; вот почему «в дошедшей до нас избирательной грамоте, подписанной членами этой думы, о таковой записи нет и помину».

Существование записи подтверждается и самим характером Михайлова царствования: «Несомненно, что самодержавие было восстановлено постепенно. Впрочем, и восстановить его было не особенно трудно, ибо на его стороне была такая могущественная сила, как народное сочувствие, а боярские стремления в этом случае не находили себе никакой прочной опоры».

В позднейшей заметке по поводу разбора его книги проф. М. Н. Березковым (Известия Ист.-Фил. Общ. при Нежин-

ском Инстит.) Иловайский дополнительно говорит: хотя ограничительные условия и существовали, однако не следует противопоставлять Земский собор Боярской думе, так как руководителями собора были те же бояре (Рус. старина, 1896, дек., 650; перепеч. в «Историч. сочинениях» автора, I, 100—101).

25. С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. СПб., 1899. Печальная судьба седмочисленной думы отнимает у автора веру в возможность боярского ограничения М. Ф. Романова. «В исторических преданиях, которые обращались в русском обществе около 1730 года и касались ограничений 1613 года, мы видим лишь извращенное воспоминание о действительном факте соправительства с царем Михаилом Земского собора. Это воспоминание отлилось в известные формы под влиянием представлений о современных политических отношениях, занимавших русских людей второй четверти XVIII века. Смущать нас может лишь известие Котошихина, еще не вполне объясненное научною критикой; но надобно заметить, что Котошихин вообще очень плохой историк. Если же неизбежно надобно допускать существование каких-нибудь «обещаний» со стороны царя Михаила, то надо думать, что они, вероятно, были столь же мало юридически обязательны, как и обещания царя Василия» (примеч. 253). Вообще «не собор стремился разделить с властью ее прерогативы, а царь желал разделить с собором тяжелое бремя управления и ответственность за возможные неудачи» (с. 568).

26. П. Н. Милюков. Очерки по истории рус. культуры. Т. III, вып. 1-й (1901). С. 85—86: опираясь гл. обр. на Фоккеродта, автор находит, что «условия, предложенные Михаилу, были те же самые, какие предложены раньше Владиславу, и изменены потом тем фактом, что вместо московского боярского правительства события выдвинули орган „всей земли“, заменивший бояр в их правах и обязанностях». В царствование Михаила Федоровича Земский собор «превратился из учреждения, созывавшегося в исключительных случаях для подачи совещательного голоса по тем только вопросам, с которыми обращалась к нему власть, — в постоянное учреждение, заседавшее непрерывно, с постоянным составом депутатов, переменяющихся по трехлетиям, с широким кругом дел не только законодательного и учредительного, но и чисто распорядительного характера».

27. K. Waliszewski. La crise revolutionnaire. 1584—1614; р. перевод: «Смутное Время». СПб., 1911. С. 408—409. «Ограничительная грамота, подобно предшествовавшим, была осуж-

дена остаться мертвой буквой. По словам Фоккеродта, Михаил считался с нею до возвращения Филарета», но, «если подобный договор и состоялся, Михаил не ждал помощи своего отца, чтобы взять все уступленное обратно, и, без сомнения, полное восстановление самодержавной власти не стоило ему больших усилий».

28. С. Ф. Платонов. Московское правительство при первых Романовых. ЖМНПр. 1906, декабрь; перепеч. в «Статьях по рус. истории». СПб., 1912. С. 339—406. Пользуясь старым материалом и привлекая новый, опубликованный Гиршбергом, он дает такое освещение событиям:

Очистили столицу от поляков, сломили казачьи таборы и подчинили себе большинство организованной казачьей массы — средние слои московского населения. Казалось бы, им и «оформить свое торжество и царским избранием возвратить стране правильный правительственный порядок» (343); однако «через месяц по очищении Москвы главные силы земского ополчения были уже демобилизованы... Взятие Москвы было понято как конец похода. Содержать многочисленное войско в разоренной Москве было трудно, еще труднее было служилым людям кормиться там самим. Не было и основания для того, чтобы держать в столице большие массы полевого войска — дворянской конницы и даточных людей. Оставив в Москве необходимый гарнизон, остальных почти возможным отпустить домой» (346).

Вследствие этого в исходе 1612 г. в Москве казачьих войск оказалось числом более чем вдвое дворян и раза в полтора более, чем дворян и стрельцов вместе взятых. «Эту массу надобно было обеспечить кормами и надобно было держать в повиновении и порядке. По-видимому, московская власть этого не достигала, и побежденное земцами казачество снова поднимало голову, пытаясь овладеть положением дел в столице... Сознывая свое численное превосходство в Москве, казаки шли далее „жалованья" и „кормов": они, очевидно, возвращались к мысли о политическом преобладании, утерянном ими вследствие успехов Пожарского» (347—348).

«Московским властям приходилось до времени терпеть все казачьи выходки и притязания, потому что привести казаков в полное смирение можно было или силою, собрав в Москву новое земское ополчение, или авторитетом всей земли, собрав Земский собор... Терпеть приходилось еще и потому, что в казачестве правительство видело действительную опору против вождельней королевских приверженцев... Победа, одержанная земским ополчением над королем и казаками, требовала дальнейшего

упрочения. Враги были побеждены, но не уничтожены. Они пытались, как могли, вернуть себе утраченное положение, и если имя Владислава произносилось в Москве не громко, то громко раздавались имена „Филаретова сына и Воровского Калужского” ... Успеху земских стремлений в особенности могло мешать то обстоятельство, что Земскому собору предстояло действовать в столице, занятой в большинстве казачьим гарнизоном» (350).

Собор решил устранить кандидатуру иноземных королевичей и Маринкина сына, зато «тем внимательнее должна была земщина отнестись к другому кандидату, выдвинутому казаками, — к „Филаретову сыну”. Он был не чета „воренку”. Нет сомнения, что казаки выдвигали его по тушинским воспоминаниям, потому что имя его отца Филарета было связано с Тушинским табором. Но имя Романовых было связано и с иным рядом московских воспоминаний. Романовы были популярным боярским родом, известность которого шла с первых времен царствования Грозного».

«Кандидатура М. Ф. Романова мирила в самом щекотливом пункте две еще не вполне примиренные общественные силы и давала им возможность дальнейшей солидарной работы. Радость обеих сторон по случаю достигнутого соглашения, вероятно, была искренна и велика, и Михаил был избран действительно „единомышленным и нерозвратным советом” его будущих подданных» (354).

29. Альмквист. *Nouveaux documents sur l'histoire de la Russie en 1612—1613*. Publiés par Helge Almquist. Le Monde Oriental. Upsala, 1907. Альмквисту принадлежит предисловие. Историю выбора нового царя автор, на основании публикуемых им документов, изображает как борьбу двух партий: казаки настаивали на выборе Михаила Романова, Пожарский же вместе с другими боярами проводил кандидатуру шведского принца Карла Филиппа, старшего сына короля Карла IX. В августе 1612 г. Пожарский торопит Делагарди приездом Карла. Большинство Земского собора стояло за королевича и решило отправить к нему посольство звать его на престол; но казаки прибегли к силе: в заседание собора («земских чинов»), обсуждавшего, что лучше: выбирать ли государя из своего народа или из иностранных государей, «казаки и чернь сбежались и с большим шумом ворвались в Кремль к боярам и думцам, напустились на них с сильными ругательствами», обвиняя их в намерении самим править и одним пользоваться доходами страны. И как ни выставляли бояре и думцы на вид молодость и отсутствие налицо Михаила, казаки и чернь «не хотели ни

на один час отойти от Кремля, пока дума и земские чины в тот же день не присягнут Михаилу», — чего и добились (показание Чепчугова, Пушкина и Дурова). Вот почему, говорит Альмквист, впоследствии Пожарский оставался в тени и не играл большой роли. В конце концов бояре столкнулись и в тайне от народа взяли с Михаила ограничительные условия. Лишь после того, как все было улажено, не раньше, решился Михаил покинуть Кострому и ехать в Москву.

30. В. О. Ключевский. Курс рус. истории, III (1908), 92—97, лекция XCIV. Привлекая на этот раз, кроме прежних источников, также и Страленберга, автор говорит: «Подкрестная запись Михаила неизвестна, и обязательств, им принятых, в тогдашних официальных документах не заметно... Может возникнуть сомнение в самом факте ограничения Михайловой власти. Однако предание об этом пошло от современников Михаила и держалось долее столетия. Неясные намеки помогают догадаться, в чем было дело... За кулисами Земского собора состоялась негласная придворная сделка, подобная той, какая была разбита Годуновым и удалась при Шуйском. Эта сделка прежде всего была направлена к обеспечению личной безопасности боярства от царского произвола. Ничего не стоило связать слабодушного Михаила подобными клятвенными обязательствами, особенно при содействии его матери, инокини Марфы, своенравной интриганки, державшей сына в крепких руках. Трудно только решить, была ли при этом взята с Михаила присяжная запись: повесть (псковская) умалчивает о записи, говоря только о присяге. Первые годы Михайлова правления оправдывают мысль о такой сделке».

31. В. В. Завитневич. Значение великой Московской смуты в общем ходе политич. развития допетровской Руси. Труды Киев. Дух. Акад. 1908, июнь, 227. «Если можно сомневаться в наличии записи, то нельзя сомневаться в наличии действительных фактов, послуживших основанием» говорить о ней. Стремление Грозного к абсолютной власти, «самому строить» — теперь было решительно осуждено и сдано в архив. Установившийся теперь порядок совершенно верно представлен у Котошихина: царь должен был «мыслить о всяких делах с бояры и с думными людьми сопча, а без ведома их тайно и явно никаких дел не делати». Что это, действительно, было так, об этом свидетельствуют правительственные указы, которые писались «по всемирному приговору» или по совету государя с Освященным собором, боярами и всякими людьми, присутствовавшими на соборе.

32. В. П. Алексеев. Вопрос об условиях избрания на царство М. Ф. Романова. Русская мысль. 1909, ноябрь, 1—23. В противоположность Платонову, ограничение считает фактом несомненным. На Михаиле остановились не даром; его предпочли другим кандидатам за качества отрицательные: молодость, неопытность. Ограничение государя было в духе времени. «Начиная с Годунова, брались или делались попытки взять подобные обязательства, в силу чего установилась своего рода традиция ограничения верховной власти». Да и порядок управления, установившийся после избрания Михаила и действовавший по крайней мере в течение первых 6—7 лет его царствования, «скорее походит на ограниченную монархию, чем на неограниченное самодержавие. Михаил ничего не предпринимал единолично, без совета с землей, и Земский собор совершенно заслонял в это время царя».

«Одним словом, и в личности кандидата, и в условиях избрания Михаила, и в общеполитической конъюнктуре того времени заключаются очевидные указания на план ограничения власти нового царя, а в том режиме, который установился вслед за избранием, находим не менее ясное указание на осуществление этого плана» (19—20).

33. М. А. Дьяконов. Очерки обществ, и государств, строя др. Руси. изд. 4-е. СПб., 1912. В противоположность Платонову, не считает возможным безусловно отвергать показания псковского летописца, Котошихина и иностранцев XVIII в., говорить, что они не заслуживают доверия и считать авторитет бояр совершенно поколебленным. Если угрозы казаков и страх перед насилиями и дали победу кандидатуре Михаила Романова, то все же не даром «среди заседаний сделали перерыв, чтобы выборные люди могли лучше осведомиться с мнениями избирателей касательно намеченных кандидатов. Отсюда видно, что у второго казацкого кандидата были серьезные конкуренты из великих родов. Московское боярство, значит, не совсем утратило свой авторитет в глазах всей земли. Это еще резче подтверждается тем, что Земский собор, уже наметив кандидатуру М. Романова, признал необходимым вернуть обратно в Москву выехавших или высланных „в города“ бояр, кн. Мстиславского с товарищами, для участия в заседании собора 21 февраля, когда состоялось торжественное провозглашение вновь избранного государя. К этому важному шагу собор не решился приступить без участия великих правящих бояр, которые, по приговору всей земли, получили свободу и полную амнистию, так что временное правительство Трубецкого, Пожарского и Минина должно было

вновь уступить власть кн. Мстиславскому с товарищами. Поколебленный авторитет правящего боярства был восстановлен самым торжественным образом перед лицом всей земли. При таких условиях догадка о том, что из среды бояр могла быть сделана попытка к ограничению власти „не ими избранного царя“, не представляется совершенно недопустимой».

К тому же «боярство вовсе не являлось резко отграниченной группой лиц среди правящих классов в Московском государстве; незаметными ступенями оно примыкало к средним слоям служилых людей». Лица правительственного кружка, как это указывает и сам Платонов, сплочены были как родственными и свойственными, так и партийными связями. Некоторые члены этого кружка раньше составляли ядро тушинского правительства и после бегства Вора из Тушина вырабатывали проект избрания королевича Владислава на ограничительных условиях. «Отсюда вскрываются политические вкусы правительственного кружка, державшего в своих руках власть в первые годы царствования Михаила до прибытия его отца и игравшего, надо думать, определенную роль при избрании нового государя. Из его среды также могла быть сделана попытка к ограничению власти избираемого государя».

Вообще «в общественной среде, игравшей роль при избрании государя, были налицо элементы, воспитанные в духе новых политических взглядов, вызванных к жизни событиями Смутного времени. От них и могла исходить попытка ограничить власть избираемого государя. Была ли действительно сделана такая попытка при избрании Михаила, когда и при каких условиях, и имела ли она какой-либо практический успех и результат, этого, к сожалению, нельзя указать при настоящем состоянии источников. Но если запись действительно была взята, то едва ли она могла иметь в ту пору серьезное практическое значение. Важно лишь то, что свидетельства псковской летописи и Котошихина получают, при указанных сопоставлениях, значительно большую долю вероятности».

34. А. Н. Филиппов. Учебник истории р. права, изд. 4-е. М., 1912. С. 358: «Вопрос, за недостатком данных, остается пока неразрешенным вполне положительно в ту или в другую сторону».

35. С. И. Чернышев. Избрание на царство М. Ф. Романова. Труды Киев. Дух. Ак. 1912, № 1. Нам не пришлось видеть этой работы. Академик Дьяконов (Речь, 1913. С. 10; см. ниже) относил ее автора, вместе с Пресняковым (см. ниже) и Е. Ф. Тураевой в сборнике «Начало династии Романовых», 136—140, к числу примкнувших к мнению Платонова 1906 года.

36. А. Е. Пресняков. Московское государство первой половины XVII века. Сборник «Три Века». Т. I, М., 1912, идет по стопам Платонова, повторяя, по вопросу об избрании Михаила, его мысли, высказанные в статье 1906 года (см. выше):

- Собор сошелся с казаками в твердом намерении избрать царя из русских бояр, и, по-видимому, казаки первые подняли речь о „Филаретовом сыне“, М. Ф. Романове. Едва ли они допустили бы избрание другого лица... Чтобы действительно разрешить долгий правительственный кризис, это избрание не должно было быть партийным. На нем сошлись земщина и казаки» (26—27).

Ходили «смутные толки о какой-то „записи“, взятой боярами с царя, близкой по содержанию к той, на которой некогда крест целовал царь Василий Шуйский, и суливший боярам, что государь не будет их казнить, „еще и вина будет преступлению их“. Эти толки вызвали много споров в нашей исторической литературе по вопросу об „ограничении“ власти царя Михаила, но ни условия, в каких находилось боярство при воцарении Михаила, ни характер источников, сообщающих о „записи“, не дают повода признать даже попытку такого важного политического новшества» (46).

37. А. Заозерский. Земские соборы. «Три века». М., 1912. Т. I. С. 160—161: вслед за Платоновым («Московское правительство при первых Романовых») полагает, что «политический авторитет собора не был формулированным правом, а только фактом, и мало оснований думать, чтобы в момент вступления новой династии была тенденция превратить этот факт в право».

38. Г. Г. Тельберг. Очерки политич. суда и политич. преступлений в Московском государстве XVII века. М., 1912. С. 300: «Можно ли указать определенный круг дел, по которым царь был обязан испрашивать согласие думы и в которых, следовательно, последняя выступает как обязательная участница верховной юрисдикции государя? Если мы остановимся на гипотезе о ее [Боярской думы] судебном по преимуществу значении, то практику политических дел в царствование Михаила Федоровича придется учесть как одно из убедительных доказательств в пользу существования записи: все известные нам прг-говоры, назначающие смертную казнь или конфискацию, постановлены были в эту эпоху при несомненном участии думы боярской; только по делу Салтыковых, обвиненных в „изменном“ оклеветании царской невесты Хлоповой, мы наблюдаем как бы отступление от этого порядка: „государь и патри-

арх велели"; но это лишь недомолвка или случайная погрешность источника, потому что несколькими строчками выше читаем, как государь с боярами расспрашивал, разыскивал и с очей на очи ставил» (СГГД, III, 257—266).

39. С. Ф. Платонов. Вопрос об избрании М. Ф. Романова в русской историч. литературе. ЖМНПр. 1913, февраль. Повторяя сказанное им в статье 1906 г. (см. выше) и констатируя, что его «мнение об исключительном значении, для взаимно непримиримых общественных групп, кандидатуры М. Ф. Романова вполне разделяет Пресняков» (см. выше), Платонов полагает, что избрание Михаила было результатом «работы» не бояр (как утверждал Маркевич), а демократических низов общества, поддержанных средними его слоями. Боярство (Мстиславский с товарищами) «даже не присутствовало в Москве на соборе в то время, когда там обозначилась и восторжествовала кандидатура Михаила: бояре были призваны в Москву на собор из их вотчин только к 21 февраля для участия в окончательной санкции без них решенного избрания. Они продолжали оставаться не у дел, по-видимому, до Пасхи 1613 г., когда совершилась, по государевой милости, их амнистия. В таких условиях нельзя и представить себе возможности боярских ограничений царя Михаила Федоровича» (188—190).

40. М. А. Дьяконов. Избрание Михаила Федоровича на царство. СПб., 1913. В новой работе (речь в заседании Академии наук) автор выходит из прежних оснований и показания Философова расценивает иначе, чем Платонов, в подкрепление же своей мысли привлекает новые данные, опубликованные в 1907 г. Альмквистом и которых Платонов, когда писал свою статью «Московское правительство и т. д.» (1906), еще не имел в виду.

Доверять показаниям Философова, говорит Дьяконов, нельзя: находясь в плену, он показывает одно — о намерении «бояр и лучших людей» звать Владислава на царство; а вернувшись в Москву, наоборот, он утверждает, что заявлял полякам о готовности «всем помереть за православную веру, а королевича на царство не имети». Что касается бояр, сидевших в плену у поляков в Кремле, то изменниками их не считали; наоборот, выделили от тех, кого к таковым причисляли (от Салтыкова, кн. Масальского, дьяка Ив. Грамотина и торгового детины Федьки Ондророва). Официальные памятники прямо говорят, что, находясь в Кремле у поляков в неволе, они не свободны были в своих действиях, оттого, по взятии Кремля, их и «не побили» (12—13).

Грамоты с запросом по городам, пускать ли Мстиславского с товарищами в думу или нет, нам неизвестны. «Дума» в ту пору — это временное правительство бояр и военачальников; «изменить его состав сами начальники, конечно, не могли; включение же в него Мстиславского с товарищами неизбежно повлекло бы за собой предоставления им и первенства в этом правительстве по правилам местнических счетов. Если такой вопрос действительно ставился, то решить его на месте без сношения с городами за распадением ополчения вследствие отъезда многих дворян из Москвы было невозможно. Так естественнее всего понять указание о сношении с городами по поводу допущения в думу Мстиславского с товарищами» (14).

Известию Философова об отдаче бояр под суд, продолжает Дьяконов, можно противопоставить показание Дубровского: с боярами и думцами, сидевшими в польском плену, правительство примирилось. Сначала им не доверяли, и часть их отправилась в Нижний Новгород и Казань за сбором денег и ратных людей. Ни формальных обвинений, ни суда над «изменниками»-боярами документально установить нельзя (15).

Подозрительны показания Философова и Дубровского о желании иметь государем в одном случае Владислава, в другом Карла Филиппа. «Получается любопытный итог: в чей стан попадет москвич, в пользу того претендента он сообщает московские вести». Между тем у себя дома, в Москве, Философов, как указывалось выше, говорил совсем иное, чем полякам; а что до Дубровского, то правительство заявляло новгородцам, что оно ссылалось с ними из Ярославля о выборе шведского принца «для того, чтобы нам в те поры не помешали, боясь того, чтобы не пошли в поморские города» (18—19).

Анализ автора приводит его к такому выводу: «С боярства снимается брошенное ему обвинение в антinationальной пропаганде на Земском соборе чужеземной кандидатуры на царский престол. Только при этом условии может быть объяснено и понято выступление на политической арене боярства как среды, из которой должен быть выбран представитель будущей династии» (21).

Что касается казаков, то, по мнению Дьяконова, Ключевский (Курс, III, 76) ошибается, полагая, будто в деле царского избрания они проявили себя патриотами, решительно восстав против царя из чужеземцев. «Если казаки деятельно проводили Романова; если дворяне и дети боярские, посадские и уездные люди не могли иметь ничего против кандидатуры, столь веско обставленной, и объединились на этом с казаками, то из-за

чего был шум, плач и смятение? Не из-за маленькой же кучки бояр, из которых даже не все были налицо на первых соборных заседаниях?.. Весьма правдоподобно, что казаки воспользовались соревнованием между претендентами и предлагали свою поддержку, одни одному, другие другому, но, надо думать, не безвозмездно... Фигура славного Дону атамана, который будто бы на соборе представил выпись о природном государе Михаиле Федоровиче и тем решил дело в "пользу своего кандидата, очень напоминает заранее подготовленный эффектный прием" (30, 31).

Автор сомневается «в бесспорности общепринятого мнения, что избрание состоялось уже 7-го и лишь отложено до окончательного и большого утверждения... Можно догадываться, что результаты избирательной борьбы, поскольку они выяснились до 7 февраля, почитались не вполне надежными. Пришлось продолжать борьбу: вызвать в Москву всех отсутствовавших бояр, опросить население. В этих условиях длительного соперничества борющихся партий и следует, вероятно, искать благоприятной обстановки для зарождения плана ограничительной записи, примиряющей столкнувшиеся интересы» (31, 32).

41. П. Васенко. Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. Издание Комитета для устройства празднования царствования Дома Романовых. СПб., 1913. Изложение носит отпечаток юбилейный. В основу положена оценка событий Платонова, причем роль казаков несколько сглажена: казаки представлены «очень националистично», как и вообще громадное большинство членов собора. «Поэтому поднятый на соборе вопрос об иноземной кандидатуре был, конечно, решен в отрицательном смысле». Показаниям Чепчугова, будто «казаки и чернь сбежались и с большим шумом ворвались в Кремль к боярам и думцам», Васенко не верит, считая их «тенденциозным искажением и преувеличением происходивших на соборе и во время собора бурных сцен». Вслед за Платоновым, автор полагает, что «нет никаких оснований думать, что боярство сыграло какую бы то ни было положительную роль в деле избрания царя Михаила Федоровича», то же и о записи: никакими ограничениями воля нового царя не была связана (с. 124, 127—131, 153).

42. Ю. В. Готье. Избрание на царство М. Ф. Романова. Речь. Чтения. 1913, кн. IV. Для значительного числа избирателей наиболее приемлемой была кандидатура М. Ф. Романова: за него стояла земщина, окружавшая семью Романовых ореолом мученичества; казаки — по связям митр. Филарета с

Тушином, где он в свое время был большим человеком; большим боярам Михаил был подходящим кандидатом по своей молодости и неопытности (см. апокрифическое письмо боярина Ф. И. Шереметева к кн. В. В. Голицыну: «выберем Мишу Романова: он и молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден») за Михаила деятельно хлопотала его родня (дядя И. Н. Романов, кн. Лыков и особенно Шереметев).

Мысль связать нового царя обязательствами могла естественно прийти боярам, которые «не могли забыть ни записи Василия Шуйского, ни договоров 4 февраля и 27 августа 1610 г.» Возможно, что негласное обещание Михаилом было дано, но если и дано, то никогда не выливалось в форму государственного акта. Мысль об ограничении могла возникнуть только в среде боярства, «но боярство в 1613 г. уже проиграло все свои ставки. Психологический момент был таков, что всякое начинание боярства могло встретить только несочувствие или даже противодействие остальных слоев общества... Во всяком случае, пока в нашем распоряжении не будет новых более надежных известий о факте ограничения избранного царя Михаила и точных сведений о том, в чем именно состояло ограничение его власти, это событие следует рассматривать как один из потерянных фактов нашей истории».

43. Ф. В. Тарановский. Соборное избрание и власть вел. государя в XVII столетии. Речь. Журнал Мин. юстиции, 1913, май. «Не может быть и речи о записи как действительном государственном акте с юридически обязательной силой; Земский собор не предъявлял избранному царю никаких ограничений, (и разве что была) некоторая негласная придворная сделка, (но она) состоялась за кулисами Земского собора» (с. 32—34. Взято у Любомирова, 225).

44. Д. В. Цветаев. Избрание М. Ф. Романова на царство. М., 1913. С. 73: В чем заключались ограничительные условия — мы не знаем. Самая обстановка избрания не благоприятствовала домогательствам об ограничении. Нельзя «указать момент, когда могли бы завязаться переговоры о формальном ограничении власти нового царя», нельзя «с уверенностью назвать (и) лиц, которые бы вели эти переговоры». Наконец, вся «практика правительственной деятельности в царствование Михаила Федоровича не дает бесспорных свидетельств в пользу существования ограничительных условий».

45. Helge Almqvist. Die Carenwahl des Jahres 1613. Die Schwedische Thronkandidatur und ihre Vorgeschichte Zeitschrift f. Osteurop. Geschichte. Bd. III (1913). Heft. 2. Это немецкая

переделка французского предисловия к документам, которые автор опубликовал в 1907 году (см. выше), вставленная в рассказ об общеизвестных событиях, сопровождавших избрание М. Ф. Романова в цари.

46. Г. А. Замятин. К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол. Юрьев, 1913.

47. Е. Сташевский. Очерки по истории царствования Михаила Федоровича. Часть первая. Киев, 1913. Автор считает ошибочным мнение Платонова (Очерки по истории Смуты), будто в Смуту победили средние классы общества, замечая, что в своем позднейшем труде (статья 1906 г.) Платонов сам же подорвал это мнение, признав, что победа, одержанная земским ополчением над казаками, не была окончательной: что выборы в пользу Михаила прошли под сильным давлением казаков (56, 60).

Среди показаний писателей XVII и XVIII вв. «мы имеем четыре или три независимых друг от друга свидетельства, совершенно различных по своему происхождению, но согласных в одном, именно в том, что Михаил Федорович был ограничен»; а самая независимость этих показаний свидетельствует, что факт ограничения ими не выдуман. Иное дело, как он освещен и истолкован (65, 67).

Вместе с Маркевичем Сташевский полагает «вероятнее всего, что юридически формальных обязательств Михаил Федорович не выдавал, ограничивающего его власть акта не подписывал» (63).

«Большинство полагает, что ограничение было взято в пользу бояр, точнее Боярской думы; но по Хлебникову, Худякову, Шапову и некоторым другим, ограничивающим учреждением был Земский собор; г. Милюков думает, что ограничение было взято в интересах всего служилого класса, а В. О. Ключевский высказывает догадку, что ограничение, притом негласное, состоялось в пользу уцелевших представителей старинных боярских, княженицких родов». Ни одно из этих мнений автора не удовлетворяет; двигающую пружину он ищет и находит в другой среде. Опираясь на новооткрытую грамоту бояр и воевод соединенных ополчений и Земского собора, посланную 6 ноября 1612 г. на Белоозеро (С. Б. Веселовский. Новые акты Смутного времени. М., 1911), а также на расспросные речи стольника Чепчугова и его товарищей (см. выше «Источники»), Сташевский вслед за Цветаевым полагает, что Мстиславского и его товарищей из Москвы не высылали, а они сами добровольно разъехались по своим вотчинам, сочтя более благо-

разумным на некоторое время не показываться на глаза. Однако разъехались бояре не все: остался, например, Ф. И. Шереметев. Известное раздражение против бояр-московских сидельцев существовало (Сташевский этого не отрицает), «но отсюда еще далеко до утверждения, что они окончательно потеряли всякий авторитет... Правда, при обсуждении кандидатов на престол бояре не участвовали (но опять-таки не все, только некоторые; см. Новгород. сборник, вып. V, 30), и желательный для них кандидат или кандидаты были отвергнуты, но нельзя упускать из виду того факта, что на соборе много говорили о кандидатах „из великих родов". Полагаем, что прав академик М. Дьяконов, делающий отсюда следующий вывод: „московское боярство, значит, не совсем утратило свой авторитет в глазах всей земли" (Очерки, 439 и 440). Это еще резче подтверждается тем, что Земский собор, уже наметивши кандидата, все же признал необходимым пригласить разъехавшихся „бояр и думцев" для участия в заседании собора 21 февраля» (67—69).

Приведя слова Дьяконова «поколебленный авторитет правящего боярства был восстановлен самым торжественным образом перед лицом всей земли», «учитывая это обстоятельство и принимая еще во внимание как предшествующую рознь отдельных боярских родов с Романовыми, так и сохранившееся известие о противодействии избранию Михаила кн. Дм. Пожарского, кн. Дм. Трубецкого, кн. Ив. Куракина, кн. Фед. Мстиславского, кн. В. Б. Черкасского», Сташевский допускает возможность, что «по крайней мере у отдельных боярских родов была потребность в некоторых гарантиях путем обещаний царя» (70).

В эпоху Смуты попытки юридически установить соправительство царя с Боярской думой делались — литературные показания (хотя и не все) утверждают, что аналогичная попытка была сделана и при воцарении Михаила (73).

Но если ограничение и было взято в пользу Боярской думы, то совсем не в интересах боярства как сословия. При пестроте социального состава думы в XVII ст. не было смысла в таком ограничении. Ни «общественная середина», ни боярство, уже захирелое, политического перевеса не получили. «Власть досталась не новому сословию или классу, дворянству или посадам, а группе отдельных лиц, которые не составляли и не представляли сословия, а если и были объединены чем-либо, то не столько партийными или родственными связями, сколько общими крупно-землевладельческими интересами» (78).

\ «Вероятнее всего, что инициатива ограничения исходила именно из этой среды, стремившейся не только закрепить приобретенное в Смуту, но желавшей при слабом царе управлять государством. Крупное родовое боярство могло только присоединиться к этой попытке» (77).

48. В. Пичета. Смутное время в Московском государстве. М., 1913. С. 144—147, в противоположность Платонову, который «решительнее всех других высказался против „записи" царя Михаила», Пичета полагает, что «существуют косвенные доказательства, говорящие об ограничительной записи царя Михаила, и хотя эти данные и лишают возможности современного историка дать утвердительный ответ на вопрос о „записи", все-таки с ними нужно считаться». Целый ряд соображений делает ее вполне возможной (144—146).

«Ведь стремление гарантировать населению законность в управлении и одновременно желание связать власть определенными юридическими нормами проходят красной чертой всю „смуту" со времени выступления на арену средних и низших служилых чинов, а также городских миров. Можно допустить, что консервативные элементы общества, избравшие царя, желая укрепить власть и приблизить ее к населению, отобрали от Михаила „запись", которую впоследствии было нетрудно уничтожить, когда выяснилась нежелательность ее существования для новой династии. Если ограничение было дано, то, конечно, только в пользу „совета всей земли". Его генезис надо искать не в настроении боярства на Земском соборе 1613 года, а в Тушинском лагере, как думает проф. Дьяконов, — в кружке, сгруппировавшемся около тушинского „патриарха" Филарета, откуда вышла ограничительная запись королевича Владислава. Раз этот кружок держал власть в своих руках в первые годы царствования до прибытия Филарета, то из этой среды, по мнению Дьяконова, и могла быть сделана попытка к ограничению власти избираемого государя» (146—147).

49. А. А. Кизеветтер. Избрание на царство М. Ф. Романова. Исторические отголоски. М., 1915. С. 7—23. Автор, так же как и Пичета, расходится с Платоновым, но не совсем в том же направлении: ограничение состоялось не в пользу «совета всей земли», а в пользу бояр.

1) «Что во время избирательного собора бояре стояли на самом заднем плане, не имеет никакого значения для данного вопроса: на соборе Михаила Федоровича не было, а для принятия ограничительных условий, конечно, необходимо было его при-

сутствие; ясно, следовательно, что условия могли быть предложены и приняты только по прибытии нового царя в Москву». Кроме того, если кадры правительственных сфер и стали быстро пополняться потом новыми людьми, «все же остается во всей силе и тот факт, что на вершине правительственной пирамиды в течение известного времени стояли наряду с родственниками нового царя и князь Мстиславский „с товарищи“. Для урегулирования трений между этими двумя группами ставших у трона лиц и могла понадобиться, как указано Ключевским, формулировка тех условий, о которых говорит Псковская повесть и Котошихин».

2) Если условия позже не применялись, то это указывает не на то, что они не были предложены и приняты, а «лишь на то, что группа бояр, которой удалось эти условия выговорить, не была настолько сильна, чтобы настоять на их выполнении».

3) Утверждать, будто свидетели XVIII в. «целиком перенесли в прошлое факты их времени» (ограничения, предложенные в 1730 г. имп. Анне) и «изобрели самый факт ограничений 1613 г.» и на основании этого отвергать их показания — твердых оснований для этого не имеется.

4) Сходство показаний Котошихина и Псковской летописи в основном, при расхождении в существенных подробностях, «доказывает лишь то, что они писали совершенно независимо друг от друга, и таким образом их согласие в признании самого факта ограничения получает лишь больший вес и значение».

50. Г. А. Замятин. «Новый Летописец» о сношениях между Ярославлем и Новгородом в 1612 году. ЖМНПр. 1914, март.

По «Новому Летописцу», переговоры Ярославского ополчения с Новгородом и Делагарди об избрании царем шведского королевича Карла Филиппа были простым отводом глаз. Замятин же на основании сличения этого литературного и сравнительно позднего по времени памятника с новонайденными документами доказывает, что, наоборот, намерение Ярославского ополчения было серьезное, показание же «Нового Летописца» составлено с тенденциозной целью.

51. П. Г. Любомиров. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611—1613 гг. СПб., 1917. С. 203—212, 225—232.

I. «Обстановка царского избрания 1613 г. в том виде, как она рисуется на основании известных теперь источников, не заключает в себе чего-либо, решительно не допускающего возможности ограничений власти царя Михаила. Поэтому мож-

но с некоторым доверием отнести» к свидетельству Псковской летописи, Котошихина, Страленберга, Татищева, Фоккеродта и Шмидт-Физельдека, «хотя бы только к общей основе» их (226).

Наличность ограничительных стремлений в среде боярства, понимая этот термин в широком смысле, т. е. включая в состав его не только членов думы, но и близкие к ним круги верхов столичного дворянства, в среде «владуших», по удачному выражению Псковского сказания, не подлежит сомнению. Однако трудно поверить в закулисную сделку бояр с Михаилом Федоровичем, в смысле которой истолковал со своей партийной точки зрения дошедшие до него неясные слухи демократ-пскович. Когда могла бы быть заключена такая сделка? После 14 марта принявший уже предложенную ему от «всей земли» без всяких условий корону, и даже после 21 февраля, не изъявивший еще своего согласия, но избранный уже без ограничений власти Земским собором, царь не имел бы никаких побудительных мотивов соглашаться на какие-нибудь требования бояр, только что принимавших участие в избрании его без условий на соборе (227). Даже если бы, объединившись, бояре и «попытались тайно от собора взять с Михаила заранее какие-нибудь обязательства, то он (конечно, действовали бы руководители его), осведомленный о положении дел, имел бы полную возможность противиться их намерениям, выжидая решение вопроса на соборе» (227).

Итак, допускать ограничения возможно, но сделки с боярами не было никакой. Но как тогда примирить такое противоречие? Прежде всего, никакого противоречия тут нет: налицо была не сделка с боярами, а пожелания Земского собора, морально связавшие Михаила. Любомиров считает более вероятным и допускает, что Земский собор выработал соответственное «челобитье будущему или уже избранному царю о нуждах страны. Эта обычная форма обращения к государю не могла встретить возражений в собрании, а обстоятельства тогдашнего момента сами настойчиво побуждали прибегнуть к этому способу осведомления имеющего вступить на престол нового правителя с желаниями населения, с его тяготами и нуждами» (228).

Так выработались те пожелания («или требования — это пока оставим в стороне»), о которых Псковская летопись, Котошихин и другие вышеперечисленные свидетельства говорят как об условиях: праведный суд, отказ от мести принесшим раскаяние в прежних своих проступках, управление «по старине», с участием Боярской думы, которая, по воспоминаниям

недавнего прошлого, являлась известного рода гарантией от возобновления единоличного режима Годунова и Шуйского, которые хотя и правили с боярами, но со «своими», а не с думой (229).

Предложение править по старине, «мыслить с бояры и с думными людьми сопча» исходило, вероятно, от группы «властвующих». «При умелой постановке и этот пункт вряд ли мог вызвать много возражений в среде Земского собора. Хотя им обеспечивалось постоянное участие в верховном управлении только членам думы, однако удовлетворенными до известной степени могли чувствовать себя и столичные дворяне. В думу еще со времен Грозного стали проникать в заметном количестве и люди „худородные“. На основании этого ввиду сильно уменьшившегося в последние годы состава думы и обычных при вступлении на престол нового государя пожеланий думными чинами иные из верхов дворянства, не только стоявшие на очереди по родовому положению, но и выдвинувшиеся своими заслугами, могли надеяться сами стать членами совета государя» (228—229).

Многие исследователи, начиная с кн. Долгорукого, выдвигали соправительство царя Михаила с Земским собором; но статьи Заозерского (К вопросу о составе и значении земских соборов. ЖМНПр. 1909, № 6 и «Земские соборы» в сборнике «Три века», т. 1) окончательно выяснили, что даже в первые годы его царствования соборы власти царя не ограничивали. «Да и самая мысль о правлении царя с Земским собором показала бы политическую ересь, польским новшеством, консервативной по существу массе членов избиравшего царя собрания. Необыкновенно широкие права «всея земли» при Ляпунове и Пожарском мыслились принадлежащими ей только по отношению к временному, чрезвычайному правительству безгосударного времени, но не при обладателе царства, законном волею Божиею поставленном государе, как это отметил уже в (своей) речи Ф. В. Тарановский (с. 12—14)» (228).

«Таким образом, в соборном челобитье, как приблизительно его можно восстановить по данным XVII века, видны настойчивое и упорное старание о прекращении произвола, забота о введении царской власти в законные рамки, желание вернуться к старым, как их тогда понимали, способам действий царя в думе, стремление к примиренью, прощенью ошибок и проступков в эпоху общего шатанья и разлада. В этих пределах и в этом смысле и можно говорить о попытке этим челобитьем ограничить царскую власть» (230).

Земский собор направлял к Михаилу именно челобитье, выражал просьбу, не больше. «Однако, являясь выражением авторитетного мнения избравшего царя Земского собора, это челобитье получало большую внутреннюю, моральную обязательность, и царь Михаил увидел себя вынужденным дать обещание исполнить пожеланья „всей земли“. И закрепленные царским обещанием эти пожеланья проводились в жизнь» (230; при этом Любомиров ссылается на данные, приведенные Тельбергом и Сташевским).

Такое понимание ограничения царской власти вызывает расхождение автора с Платоновым, который в «резком тоне» шедших от царя боярам приказов еще до приезда его в столицу, в малой самостоятельности бояр в управлении, в неестественном праве царя на пожалование земель и чинов готов видеть одно из доказательств отсутствия какой-либо ограничительной записи (Московское правительство при первых Романовых. С. 374—378):

«Царь (возражает на это Любомиров) и с ограничением остался верховным правителем и обладателем государства, а бояре, и получившие после обещания Михаила определенное право на участие в управлении, все же являлись слугами его, а не равно с ним поставленными правителями. Не опровергает сделанного построения и никем и ничем не стесненное право царя на пожалование земель и чинов, которое Михаил Федорович начал проявлять если еще не в Костроме, то уже в Ярославле. Не об ограничении жалующей и милующей власти царя думали на соборе, а об обуздании карающей воли его, особенно карающей в формах, коими пользовался, например, царь Василий, „хапавший“, по образному выражению Палицына, „обоюду, не ведая что“, и правых и виноватых» (231).

И. Автор не верит тому, чтобы казаки на избирательном соборе представляли «силу, которая свела к нулю или почти к нулю всю самостоятельную деятельность собора, заставила его сообразоваться со своим решением»: к источникам, определенно указывающим на казаков как на такую силу, а именно слова Льва Сапеги, обращенные в 1615 году к митрополиту Филарету («сына твоего государем посадили одни казаки-донцы») и донесение Делагарди («сами бояре желали избрать королевича Филиппа, но вынуждены были считаться с волею казаков»), надо относиться с большой осторожностью: «они или исходят прямо от иностранца, или прошли через руки иностранца и притом в обоих случаях таких, которые не были сами в Москве во время избрания, но по своему положению

были очень заинтересованы в том, что происходило в русской столице, в царском избрании» (203). Вообще «в обстановке, при которой протекала деятельность собора, не было места засилью казаков. Они не могли, не имели сил оказать на избирательное собрание решающего влияния, если оно направлялось в сторону, противоположную интересам дворянства и посадских людей. Но все-таки казаки были значительной силой на Москве, и с ними в известной мере нужно было считаться Земскому собору» (209).

«Вряд ли эти люди, одни еще недавно ратовавшие где-нибудь на Диком Поле, на Дону, другие сидевшие где-нибудь „во крестьянах" или бывшие холопами, во всяком случае очень далекие и от чтения летописей, и от правительственной среды, вряд ли такие люди сами от себя могли указывать и на близкое родство выдвигаемого ими кандидата царю Федору, и на поручение последним перед его смертью царства отцу Михаила. Более вероятным кажется, что они повторили все это за теми, кто вел с ними беседы о „Филаретовом сыне". Можно догадываться и о том, как проникла в казачьи круги мысль о воцарении Михаила Романова и кто на них воздействовал в этом направлении. Тушинские связи „нареченного патриарха" помогли его сыну в казацкой среде, но не так, что казаки, зная Филарета, сами выдвинули кандидатуру Михаила Федоровича. Тушинцы, особенно дьяки, близкие к Филарету и имевшие в то же время связи с казаками и пользовавшиеся в их среде большим, чем другие лица из земских, доверием, могли удобно вести в казацких полках агитацию за сына тушинского патриарха» (209—210).

Дальнейшие рассуждения автора еще более сглаживают казачий привкус кандидатуры Михаила:

«Но одна агитация сама по себе не могла бы достигнуть значительных результатов. Для людей с определенным казачьим „воровским" настроением Михаил Романов, стоявший на противоположном от них конце социальной лестницы и не имевший с ними решительно ничего общего, не мог быть желательным кандидатом в цари, и для них, думается, очень малую цену имело и то, что он был племянник царя Федора и сын тушинского патриарха. И агитация в течение нескольких недель вряд ли смогла бы преодолеть социальную антипатию или даже ненависть. Появление среди казаков сторонников воцарения Михаила Федоровича открывает перед нами любопытный уклон части казачества в сторону земщины. Происхождение его не представляет чего-либо загадочного. Значительная часть бывших в это время в Москве казаков за время пребывания среди

земских людей в Ярославле и под столицей в полку Пожарского не могла остаться совершенно вне сферы влияния земских идей и настроений, тем более что заботы земского правительства об их жалованьи и продовольствии должны были делать казаков и податливыми для этого влияния. То же, но в меньшем объеме происходило, очевидно, и среди казачьих станиц полку кн. Трубецкого. Уже то, что его казаки остались под Москвой, говорит в пользу того, что, по крайней мере в борьбе с иноземным врагом, они почувствовали себя ближе к земщине, чем к Заруцкому. Уход с последним наиболее крайних, беспокойных элементов облегчал возможность земского влияния среди оставшихся, в общем более мирных» (210—211). «Вот для этих-то казаков из кандидатов, выдвинутых в земской среде, и был наиболее желателен по тушинским и, может быть, иным воспоминаниям и напоминаниям М. Ф. Романов» (211—212).

52. Ю. В. Готье. Смутное время. Госиздат, 1921: «Ни бояре, ни тушинские дельцы, ни другие лица, принимавшие участие в событиях Смутного времени, не могли забыть записи царя Василия Шуйского и двух договоров об избрании Владислава 4/14 февраля и 17/27 августа 1610 г. Царские обещания и царские обязательства были делом слишком недавним, могли казаться завоеваниями слишком заманчивыми, чтобы не оставить места попыткам закрепить их и при новом царе. Многим могла совершенно естественно прийти мысль, что Михаила хорошо было бы связать подобными же обещаниями и обязательствами. Об этом должны были много говорить; вероятно, кое-что предпринято было, чтоб от слов перейти к делу. Может быть, к молодому царю обратились негласно и негласно же просили подтвердить то, что сказано было в договоре с Владиславом или по крайней мере в подкрестной записи Василия Шуйского. Можно думать и другое: от имени Земского собора могло быть представлено царю челобитие, просьба исполнить то, что обещал Василий и чего требовали от Владислава. До нас не сохранилось ни одного правительственного документа, который хотя бы намеком говорил о каких-нибудь обязательствах, принятых на себя Михаилом при воцарении, или тем более о каких-нибудь ограничениях его власти; но об этом сохранились, хотя и смутные, но упорные предания, крепко державшиеся до XVIII столетия. Политические обычаи, установившиеся в Смуту, показывают, что мысль связать Михаила обязательством, обещанием или хотя бы только просьбой, обращенной к нему, могла возникнуть. Но, с другой стороны, дворянская и крестьянская земщина шла в Москву, чтобы

получить царя, «подобного прежним государям», и об ограничениях его власти думала мало, потому что все несчастья обрушились на нее именно при новых договорных царях. В 1613 г. боярство потеряло свое былое значение, а удержавшимся близ власти дельцам, заключавшим договор под Смоленском, приходилось приспособиться к новым течениям. Голоса сторонников договора с новым царем должны были глухо звучать и на соборе, и вокруг него, и поэтому негласное обещание править с боярами или же согласие на челобитие собора быть мягким в опалах было пределом возможного в тех разговорах, которые велись с царем о его власти весной 1613 года» (113).

53. Г. А. Замятин. К истории Земского собора 1613 г. Труды Воронеж. Госуд. Универс, т. III. Воронеж, 1926.

Автор привлекает новый, им открытый материал (см. выше) и ход избрания рисует как борьбу двух партий, земской и казацкой: земцы своим кандидатом выставляют иноземца, королевича шведского Карла Филиппа (Замятин развивает прежде сказанное им в ЖМНПр. 1914 г., в противность Любомирову, который считал, что кандидатура Романова занесена казакам из земских кругов), а казаки ищут его среди русских (8—22).

1) К известию о том, что казаки «примеривали» сына Марины, Воренка, надо отнестись с большой осторожностью. Это была кандидатура казаков, уже ушедших с Заруцким. Трудно думать, что об этой кандидатуре думали казаки, оставшиеся в Москве (23).

2) Вслед за Лавровским, наши историки Цветаев, Васенко, Любомиров, Кизеветтер, Готье, Платонов полагают, что на соборе первоначально отвергнута была кандидатура иноземных принцев и после уже перешли к обсуждению, кого выбирать из представителей боярских родов Московского государства. Новые источники (швед Брюнно; см. выше) не подтверждают этого. Бояре настаивали на избрании Карла Филиппа, последовательно отклоняя трех казацких кандидатов: кн. Трубецкого, М. Романова и кн. Черкасского. Что кандидатура Михаила была отвергнута, подтверждает и показание русских купцов, приехавших в Новгород из Москвы за несколько дней до приезда Брюнно, как это видно из документов, опубликованных Альмквистом в 1907 году (24—31).

3) «Следует признать вполне достоверным факт, что на соборе не желали иметь царем кого-нибудь из своих», а решили выбрать из иностранного государства, «государского сына» (31—34).

4) Приговор об избрании Карла состоялся между 21—25 января (37).

5) Ход событий представляется Замятину в таком виде: 1. Обсуждается кандидатура кн. Трубецкого и отклоняется, «а чтобы этим не оттолкнуть казаков, собор приговорил дать Трубецкому во владение Важскую область». 2. Казаки выдвинули Романова, но и его кандидатура была отклонена. 3. Собор постановил не выбирать никого из своих и выразил готовность избрать Карла Филиппа. 4. Казаки на это не согласились и на частном совещании выставили кн. Черкасского, но остальные члены собора отказались выбирать его. 5. Часть казаков удаляется к Заруцкому, а бояре и остальные земские чины ожидают приезда митрополита из Казани и бояр, бывших в плену у поляков в Кремле и уехавших было из Москвы после освобождения ее (41).

6) 7 февраля никакого «предызбрания» Михаила (Маркевич, Платонов) не было. Отложено было на две недели избрание не Михаила, но вообще того или иного лица; избрание же Михаила 21 февраля произошло под грубым давлением казаков (показание Чепчугова). Недаром впоследствии канцлер Лев Сапега, новгородский посланник Боборыкин и Псковская летопись говорили, что царя выбрали одни казаки, в частности донцы (41—61).

Для полноты можно указать еще на статью Шапова и книгу Худякова, лишенные, впрочем, научного значения: они отразили на себе настроения тех групп русского общества шестидесятых годов прошлого столетия, которые в ограничениях царя в пользу Земского собора видели свой политический идеал, но прямо заявить об этом, по условиям цензурным, не могли.

1. А. П. Шапов. Великорусские области и Смутное время. 1606—1613. Отечественные Записки. 1861, № 10 и 11; перепеч. в «Сочинениях» автора, т. I, 1906, 708—709. Михаил был «избран на полном земском выборном праве всего народа... Избрав царя, выборные земские люди дали ему записку, как-кая уложена была по совету всей земли. Записка эта, по всей вероятности, определяла самодержавие и была обычная со времени Грозного до Алексея Михайловича... Выборные земские люди, избрав царя всею землею, по совету всей земли, удерживали за народом право на земские соборы и на общинно-областную челобитную гласность и представительство перед правительством. Великий Земский совет 1613 года удерживал за собой значение всенародного земского

правительства около четырех с половиной месяцев, пользовался полной государственной распорядительной властью с февраля до половины июня».

2. Худяков. Древняя Русь. СПб., 1867. С. 188. «Выбрав царя, выборные земские люди дали ему запись, какая уложена была по совету всей земли; по этой записи он не мог, без совета всей земли, ни начать войны, ни назначить сбора на ратных людей и др. Великий Земский собор 1613 года был всенародным земским правительством, в продолжение четырех с половиной месяцев (с февраля до половины июня). Таким образом, не бояре, а земские люди были освободителями отечества; даже совокупившись с поляками, бояре не могли одержать победы, потому что не были в совете не только со всей землей, но и друг с другом, не могли сделать ни одного дела, не поссорившись из-за места».

Не трудно заметить, что именно заимствовал Худяков из статьи Шапова.

№ 30. КОГДА В ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО СОЗВАН БЫЛ ПЕРВЫЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР?

В 1819 году в Собр. Гос. Грам. и Договоров, т. II, № 37 были напечатаны речи Ивана Грозного на Земском соборе, сказанные им «в возрасте 20-го году». Текстom этих речей, еще до выхода в свет названного тома, пользовался Карамзин, кажется, по тому же списку, внесенному в т. н. хрущевскую Степенную книгу, и напечатал обе эти речи (к собранию и к А. Адашеву) в своей Истории Гос. Рос, т. VIII, примеч. 182 и 184 (первое издание этого тома вышло в 1818 г., второе в 1819 г.). Созыв собора Карамзин ставил в тесную связь с московским пожаром, с народным бунтом, в котором пострадали Глинские, и с появлением попа Сильвестра, т. е. относил собор к 1547 году, и потому «20-й год» считал ошибкой вместо «17».

Последующие историки год созыва Земского собора обозначали различно. Костомаров, Историч. Монографии и исслед., XIX, 324 и 403 (см. Ключевский. Опыты и Исследования, 363) вслед за Карамзиным, связывал его, «вопреки указанию источника, непосредственно с московским бунтом 1547 года» (в «Русской Истории», И, 415 вопрос о дате он обходит молчанием); Сергеевич. Лекции и исслед. (1883), 705 — «в 1548 (или около)»;

то же и Беляев. Земские соборы на Руси. Речь и отчет Москов. унив. за 1867 г.; Загоскин. История права Московского государства, I, 214 в 1548 или в 1549 г.; Соловьев. ИР, VI, гл. II, 52; Бестужев-Рюмин. II, 216; Иловайский. III, 176; Голубинский. И, ч. 1, 774; Владимирский-Буданов. Обзор, 179; Латкин. Земские соборы Древней Руси. СПб., 1885 — все годом созыва считают 1550 г.

У И. Н. Жданова. Церковно-земский собор 1551 г. Сочинения, Т, 363—367, новый вариант, опирающийся на соображения такого рода: это был собор, на котором, по свидетельству Стоглава, «в прошедшее лето» составлен был Судебник, а в тексте самого Судебника сказано, что он составлен («уложил») в июне 1550 года. Процедура составления требовала известного времени (может быть, всю) — весну 1550 г. Между тем царь с 24 ноября 1549 по 23 марта 1550 г. в Москве отсутствовал, находясь в Казанском походе, и потому нужно допустить, что собор состоялся в самом начале 1550 года, т. е. в промежуток времени с 1 сентября по 23 ноября 1549 года: это не будет противоречить «двадцатилетнему» возрасту царя, так как двадцатый год его жизни обнимает время с 25 августа 1549 по 24 августа 1550 г. Косвенное подтверждение своему домыслу Жданов находил в том, что как раз перед отправлением в поход под Казань состоялся уговор о местничестве: «положил есми совет своими бояры», вспоминал впоследствии царь.

М. А. Дьяконов. Очерки общ. и гос. строя Древней Руси, изд. 4-е. СПб., 1912. С. 452, догадку Жданова считает вероятной, допуская, в свою очередь, что собор «примирения» собирався одновременно со вторым церковным собором, канонизовавшим русских святых.

В. О. Ключевский в более раннем исследовании «Состав представительства на земских соборах Древней Руси». Русск. мысль. 1890, январь, 150 (перепеч. в «Опытах и исслед. 1919, 378): собор был, но состав его неизвестен, [потому] «этот собор надобно пока считать потерянным фактом в истории устройства соборного представительства XVI века».

Так разрешался в нашей литературе вопрос о дате собора; но за последние десятилетия возникли сомнения о самом существовании его.

С. Ф. Платонов. Речи Грозного на Земском соборе 1550 г. ЖМНПр. 1900, март (перепеч. Статьи по р. истории. СПб., 1912) нашел, что рукопись, по тексту которой Карамзин и издатели СГГД ввели речи царя Ивана в научный оборот, писана почерком XVII в. и что самый лист, на котором они читаются,

вклеен на место прежнего, вырезанного; что, судя по водяному знаку, запись сделана не раньше второй половины, а то и в последние десятилетия XVII в.: другими словами, речи «сфабрикованы лет полтора-два спустя после того времени, к которому приурочены».

П. Васенко. Хрущевский список «Степенной книги» и известие о Земском соборе 1550 года. ЖМНПр. 1903, апрель, следуя Платонову, уточняет время составления речей: первые годы царствования Петра Великого.

«Речи» составлены применительно к тому, что автор вычитал в тексте Стоглава, в переписке Грозного с Курбским и, может быть, в «Истории» Курбского. Вставка относится к концу XVII в., так как «можно отметить некоторое сходство в положении России в малолетство Грозного и во времена правления царицы Натальи Кирилловны», когда тоже, по словам Куракина, «все дела происходили с великими взятками» (398). «Только по намекам Стоглава и письма Иоанна к Курбскому можно догадываться о каком-то съезде высших служилых людей в Москву в 1550 году и видеть в этом съезде Земский собор в первичной стадии его развития» (400).

Характерно, что для современников собор 1550 года прошел как-то бесследно: ни Грозный, ни Курбский, ни «Степенная книга» не указывают на рассматриваемый созыв «бояр, приказных людей и кормленщиков» как на что-нибудь новое и необычайное — очевидно, такие соборы, «первичной» формы, существовали задолго до 1550 г., — мысль, которая, по словам Васенко, «мелькает» в трудах Забелина, Иловайского, Дьяконова «и в последнее время поддерживается проф. Платоновым».

С. Ф. Платонов в новой своей работе: К истории московских земских соборов. Журнал для всех. 1905, № 2, 3 (перепеч. Статьи по рус. истор., 290—291) уже прямо говорит: «в 1550 году не было никакого особого собора по делу примирения бояр с „землей“ и никакой речи на Красной площади к людям „из городов всякого чину“. Первый достоверный Земский собор — это собор 1566 года». И при этом ссылка на Жданова («до 1566 года мы не встречаем указаний на созвание Земского собора»).

М. А. Дьяконов. Очерки, 455, находил, что Платонов «едва ли не идет слишком далеко», отрицая существование собора: «по речам Грозного на Стоглавом соборе надо признать, что „в предыдущее лето“ имело место весьма важное совещание, на котором происходили взаимные прощения и примирения, состоялось решение о прекращении миром процессов против кор-

мленщиков, возбужден вопрос об исправлении Судебника, обсуждались вопросы о местничестве (Жданов) и другие „внутренние дела государства“ (В.-Буданов); что же до слов Жданова, приведенных Платоновым, это еще не значит, что Жданов собор 1566 года считал первым.

Та же мысль и в позднейшем труде В. О. Ключевского. Курс отеч. истории, II, 478: считаясь с указаниями Платонова о вклеенном листе, он замечает: «каково бы ни было происхождение соборной царской речи, трудно заподозрить самое событие», так как в письменной речи царя на Стоглавом соборе «слышатся те же нестройные ноты покаяния, прощения и раздражения, мира, смирения и вражды. И в речи, обращенной к церковному собору, царь говорил, что в предыдущее лето он с боярами бил челом отцам собора о своем согрешении и святители благословили и простили его и бояр в их винах».

С. В. Бахрушин. Московский мятеж 1648 года. Сборник в честь М. К. Любавского. СПб., 1917. С. 755, исходя из открытой Платоновым интерполяцией текста хрущевской «Степенной книги», приводит ряд соображений в пользу того, что «на рассказ о выступлении Ивана IV на Лобном месте, по видимому, не остались без влияния впечатления 1648 года, что было совершенно естественно, принимая во внимание сходство всех обстоятельств» (755), а потому «самый факт интерполяции не следует относить слишком далеко к концу XVII века» (756). «Знаменитый бунт 1548 (NB. Почему 1548, а не 1547?) с поразительной точностью предупреждает то, что происходило в 1648 году, настолько, что интерполятор хрущевской «Степенной книги», при описании заключительного его момента, поддался впечатлениям, навеянным событиями времен царя Алексея» (771): там и тут царь неопытный, несамостоятельный; там и тут люди, правившие их именем, чинили насилия и грабежи; там и тут за кулисами трагедия интриг и борьба придворных партий.

В позднейшем своем труде («Иван Грозный». 1924. С. 50—51), Платонов вводит данные «малоизвестного летописца» (ПСРЛ. Т. XXII. С. 528—529): изложение речей Ивана Грозного, которые он держал 27 февраля 1549 г. сперва перед духовенством («освященным собором») и Боярскую думой, а потом перед воеводами, княжатами, боярскими детьми и «дворянами большими». Царь обвинял собравшихся в разного рода злоупотреблениях, а на другой день состоялся приговор Боярской думы: изъять детей боярских от суда наместничьего, «опричь душегубства и тадыбы и разбоя с полным» (с поличным).

Именно об этих мерах, поясняет Платонов, царь говорил на Стоглавом соборе.

Сказанное приводит автора к такому выводу: «По-видимому, событие 27 февраля 1549 г. послужило поводом к составлению легенды о Земском соборе 1547 или 1550 года, когда будто бы царь на площади торжественно говорил всему народу покаянную речь и обещал ему правосудие (Карамзин Н. М. ИГР. Т. VIII. Гл. III; Т. VIII. Прим. 182 и 184)».

Как видим, данные, приведенные Платоновым в 1924 г., не вполне сходятся с данными, на которые он опирался в статье 1905 года, однако он продолжает говорить про «легенду о Земском соборе», хотя интерполяция хрущевской рукописи давала право утверждать выдуманность одних только речей Ивана Грозного, отнюдь не созыва Земского собора. Впрочем, он уже не повторяет прежней фразы: «в 1550 году не было никакого особого собора по делу примирения бояр с землей» (Статьи, 290) и глухо отказывается от нее, указывая на моральный элемент правительственных мероприятий Грозного: «Предпринимая в 1549 г. реформу местного управления, царь начинает дело обновления с самого себя. Он „бьет челом о своем согрешении“ пред собором иерархов, кается пред ними с обещанием исправиться и ищет прощения, затем зовет к исправлению и примирению бояр и прочих правителей» (Иван Грозный, 52). И во французском издании своего курса (с. 203) он уже говорит о «торжественном соборе 1550—1551 гг.», хотя и подчеркивает, что это не был собор в собственном значении этого слова: на нем присутствовали только духовенство и бояре, а не представители всех классов населения. На этом соборе исправлен был старый Судебник и в 1551 г. составлен Стоглав.

За последнее время вышеназванный «малоизвестный летописец» был подвергнут тщательному анализу Е. Ф. Максимовичем, который пришел к выводу, что собор примирения был, «но протекал в иных условиях и имел иной характер, чем обычно усвояемый ему на основании прежних наших сведений об этом соборе». Подтверждая догадку Дьяконова, Максимович отождествляет собор примирения, или, точнее выражаясь, сливает его со вторым церковным собором 1549 г., завершившим дело собора 1547 г. о канонизации новых чудотворцев. Первоначально созванный как собор примирения и канонизации, собор 1549 г. (открытый 27 февраля) занялся также и чисто мирскими делами: он постановил решение о повсеместном изъятии детей боярских из судебной компетенции наместников и подвергнул переработке Судебник 1497 г. Его работы продолжались не толь-

ко в 1549, но и в 1550 г. Он может быть назван «первым известным нам Земским собором в его начальных, еще довольно элементарных формах». В противность установившемуся мнению, Максимович не видит оснований и знаменитый Стоглавый собор 1551 г. не включать в число земских соборов, за отсутствием «принципиальной разницы между собором 1549-го года, постановившим издание нового Судебника, и собором 1551-го года, этот Судебник утвердившим».

Логическим выводом из вышеуказанных рассуждений является отказ принять мнение Платонова, будто «первым достоверным Земским собором» был собор 1566 года. Подтверждение своей мысли исследователь находит и в самом составе собора 1549 года: в противоположность Платонову, он видит в нем не одно только духовенство и бояр, но «и других участников — воевод и княжат, детей боярских и дворян больших. Это — те самые общественные группы, которые были так хорошо представлены на Земском соборе 1566-го года под наименованием дворян и детей боярских 1-й и 2-й статей». Правда, на соборе 1549 года не было, как 17 лет спустя, «гостей, купцов и смольнян», но, будучи одним из первых опытов новой формы общения власти с населением, собор 1549 г. неизбежно «должен был отличаться более простым, менее расчлененным составом, чем последующие соборы. Ведь и в позднейших земских соборах мы видим лишь постепенное нарастание сложности состава, охватывавшего все новые социальные группы. Собор 1598 года сложнее по составу собора 1566 года, соборы XVII века много сложнее соборов XVI. В отношении состава нет возможности установить принципиальное отличие собора 1549 года от собора 1566-го года и последующих соборов» (Церковно-земский собор 1549-го года. Записки Русск. Научн. Института в Белграде, вып. 9. 1933, 1—15).

ИТОГИ

1. Речи на Лобном месте при открытии Земского собора 1550 г. Иван Грозный не произносил; но речь в том же духе и с тем же (в основном) содержанием, как ее изобразила «Степенная книга» по хрущевскому списку и как она вошла в оборот русской историографии, сказана им все же была, только это было обращение не всенародное, и притом не в 1550 г., а в собрании представителей разных классов, — обращение покаянное, примирительное, обещающее забвение прошлых обид и неправд в 1549 г.

2. Речь на Лобном месте при открытии собора в 1550 г. не говорилась уже по одному тому, что и собор 1550 г. совсем не открывался: в 1550 г. лишь продолжались работы, начатые и вызванные собором 1549 г.

3. Собор 1549 (1550) года отнюдь не «потерянный факт в истории устройства соборного представительства в XVI веке», как это думал Ключевский.

4. Собор, открытый 27 февраля 1549 г., можно считать, по характеру и значению его, первым Земским собором, хотя по составу и менее полным, чем последующие земские соборы. На нем решались дела такой же первостепенной важности, как и на последующих соборах, и при таком же сознании правительства в необходимости для решения этих важных дел привлечь к совместной работе представителей разных слоев общественных.

№ 31. КТО ТАКОЙ БЫЛ НИКОЛАЙ БУЛЕВ?

Так называет его Вторая Софийская летопись, но Царственная книга зовет Николаем Люевым. Николай Булев иногда отождествляется с Николаем Немчином, или Любчанином (из Любека). По мнению Малинина (256—259), «Николай латынин», предсказывавший, по словам старца Филофея, в 1524 г. затмение солнца и луны, переворот в природе; «Николай Немчин», предсказывавший, по словам Максима Грека, преставление мира, и «доктор и великий ритор, именем Николай, от немецкой области», как величает он сам себя в не дошедшем до нас послании его к ростовскому архиепископу Вассиану — одно и то же лицо.

Н. Булев приехал в Россию в 1490 или в 1492 г., жил много лет в Москве, пользуясь расположением Василия III «врачевания ради хитрости» (М. Грек) и в числе других врачей находился у постели великого князя в последние минуты его жизни.

Голубинский (684) так говорит про него: Николай Немчин или герман (германец) «возымел фантастическую мечту устроить соединение русской церкви с латинскою». Цесарский посланник Франческо Да-Калло, бывший в России в 1518 г., дает о нем такой отзыв: «магистр Николай Любчанин, профессор медицины и астрологии, основательнейшим образом познавший все нау-

ки».¹ В Россию он приехал в 1491 г. с цесарским послом Юрием Делатором и умер ранее 1533 года, именно в 1523 или 1524 г., а потому его не следует смешивать с Николаем Люевым или Булевым.

Малинин, примеч. 1007 (с. 31) возражает на это: данные, на которых строит Голубинский свои выводы (Пам. Дип. Снош.), не позволяют точно установить отношение Николая Любчанина «к личности Николая Булева, также любчанина, как равно личности Николая Немчина, астролога и предсказателя мирового потопа в 1524 году». Между тем за тождество Николая Немчина «с личностью Николая Булева совершенно ясно говорит заметка неизвестного о том же Николае немчине, озаглавленная: „Сказание о Николае немчине“, где он совершенно ясно отождествляется с личностью Николая Булева, приближенного и любимого врача вел. кн. Василия Ивановича III».

Среди рукописей графа Уварова есть два лечебника, переведенных с немецкого на «словенский». Переводил «полоняник литовский, родом немчин, любчанин» в 1534 году. Переводчиком мог быть (скорее всего) Феофил, тоже из Любека и тоже в числе приближенных врачей Василия III (Мал., 262—263). Про него имеется положительное известие, что он был взят в плен воеводой Сабуровым в Литве и, несмотря на ходатайство прусского магистра, из плена отпущен не был (Карамзин Н. М. ИГР. Т. VII. С. 186).

Сохранилась запись внуков брата Николая, составленная около 1585 г. (напеч. в *Beitrag*); из нее видно, что в 1508 году Василий III посылал к папе Юлию II просить содействия по исправлению календаря; но вместо папы стоворились с Николаем Булевым, наняли его за 10 000 талеров, приняв должные расходы на себя. Булев приехал в Новгород, исполнил поручение, но обратно его не отпустили, как ни хлопотали за него потом цесарь, папа, Дания, Ганзейские города. Умер Булев в Москве. По поводу этого известия Малинин (204—205) замечает: к папе едва ли обращались, хотя вопрос о календаре и после Пасхалии 1492 г. не потерял своей злободневности, так как жидовствующие утверждали, что конец седьмой тысячи лет далеко еще не наступил (они считали по-иному; см. вып. 1-й, с. 272). Если Булева не отпускали, то показание, что лечебники

¹ *Maestro Nicolo Lubacense professor di medicina et di astrologia, et di tutte le scienze fondatissimo*. См.: Карамзин, VII, прим. 358. Приведем итальянский текст, Карамзин от себя замечает: «Это Николай Люев, как вероятно».

переводил «полоняник», может относиться и к Николаю, не только к Феофилу (Мал., 265).

См. еще В. С. Иконников. Максим Грек и его время, изд. 2-е. Киев, 1915: Николая Немчина, сторонника соединения церквей, неправильно смешивают с тем Николаем, что приехал в 1491 г. с цесарским послом Делатором, думая, будто именно о нем хлопотали цесарь и маркграф бранденбургский, прося вел. князя отпустить его на родину «по старости» (Пам. Дип. Снош., I, 416). Будь это так, т. е. будь он в 1519 г. глубоким стариком, то к нему, как к Николаю Люеву, не могли бы относиться слова *Beitrag*e о смерти в 1548 г., и даже известие, что в 1533 г. он находился при умирающем Василии III (т. е. трудно допустить, чтобы он даже в этом году продолжал еще жить и к тому же еще практиковать как лекарь). Николай Немчин (Люев), бывший у смертного одра Василия III и сам умерший в 1548 г., прибыл, согласно *Beitrag*e, из Рима, откуда его, вероятно, привез в 1508 г. для исправления календаря Траханиотов (он ездил в Рим в 1506 г. сообщать папе о смерти Ивана III и вывозить мастеров). С этим-то Николаем Немчином и полемизировал Максим Грек; он-то и привлек на свою сторону того Карпова, которому Грек пишет свои послания, предостерегая его от *звездочетца», которого, несмотря на полемику с ним, Максим все же величает «многоучительным», «мудрым» и т. п. Необходимость отличать этого Николая от Николая Шомберга Иконников высказывал еще в первом издании своей книги, в 1865 году (с. 225—235).

Источники: Памятники Дипл. Снош., т. I (приезд цесарского посла Делатора); Летописи: Царственная книга, Софийская Вторая, ПСРЛ., VI; Полемиические послания Максима Грека против Николая Булева. Сочинения, т. I, № XI—XV, XXV; Послание старца Филофея к дьяку Мунехину. Правосл. Собес. 1861, ч. II, или у Малинина. Рукописи графа Уварова, № 2192; Franc, da Collo. Trattamento di pace tra il serenissimo Sigismondo, re di Polonia et gran Basilio prencipe de Moscovia. Tradotta di latino in volgar. Padoa, 1603; *Nicolaus Bulow. Astronom. Dolmetch und Leibartz bei Grossfursten in Russland* в *Beitrag*e zur Kunde Ehst-Liv-und Kurlands. Bd. I, Heft. I (Revel, 1868).

Пособия: *Карамзин*, VII, прим. 358 (Николай любчанин у Да-Колло, вероятно, Николай Люев); *Голубинский*, ИРЦ, И/1, 683—686, 691; *Малинин*. Старец Елеаз. м-ря Филофей, *passim*; *Майков Л. Н.* Последние труды. Николай Немчин, русск. писатель конца XV—начала XVI века. Известия отд. р. яз. и сл. ИАН, 1900, кн. I.

№ 32. КАК ВОЗНИКЛА АВТОКЕФАЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ?

В действительности, зачислять этот вопрос в категорию спорных, пожалуй, окажется несвоевременным: он был таковым, и, может быть, даже еще недавно, но та версия, которой автор держался в своем изложении (см. вып. 1-й, с. 290), едва ли встретит ныне чье-либо возражение. «Спор» вырос из трудности (главным образом для церковных историков) примириться с мыслью о самочинном захвате русскими иерархами и верховной светской властью прерогатив константинопольского патриарха: Русскую церковь превратили в независимую, не спрашивая согласия матери-церкви (Константинопольской), и действие незаконное подкрепили санкцией иерусалимского патриарха. Вынужденная волей-неволей считаться с совершившимся фактом, церковь Константинопольская в последующих своих сношениях с Русской церковью молчаливо признала законным то, что юридически было незаконным. Исторический ход событий, рано или поздно, все равно привел бы к независимости Русской церкви, и именно в этой-то исторической неизбежности незаконный факт и обрел свою законность.

1. Законный путь в создании автокефалии Русской церкви усматривал митр. Макарий. ИРЦ, VI, 21. Опираясь на грамоту русского митрополита (Ионы? Начало грамоты, где можно было бы прочитать имя, утрачено) к патриарху, 1552 или 1553 г., он полагал, что патриарх Геннадий подтвердил избрание Ионы и что таким образом сношения Русской церкви с Константинопольской возобновились, автокефальность была легализована, русскому митрополиту разрешено в Константинополь для постановления не ходить, а ставиться своими епископами дома и что ему было даровано место после иерусалимского патриарха, т. е. первое место среди всех митрополитов Православной церкви.

2. П. В. Знаменский. Учебное руководство по истории рус. церкви. СПб., 1896. С. 92, говорит глухо: вероятно, вскоре после падения Константинополя «Русской церкви дано было право поставлять митрополита независимо от Греческой церкви».

3. Д. И. Иловайский самым ходом своих рассуждений позволяет думать, что он допускает и признает незаконность действий русских иерархов: грамота великого князя патриарху о благословении поставленному Ионе осталась, говорит он, без ответа; сношения с Царьградом были затруднены; потом про-

изошло его падение. «Нуждаясь постоянно в материальных пособиях со стороны Москвы, греческие патриархи или молчалием, или прямым согласием подтверждали то самостоятельное, независимое положение, в которое стала теперь Московская митрополия» (ИР, II, 247).

4. Зато Ф. А. Голубинский, не решая вопроса о существовании благословенной грамоты, приводит соображения, клонящиеся к отрицательному ответу: «Обращались ли к патриарху с просьбой о дозволении и получили его или нет, это остается нерешенным вопросом». Скорее нет. Патр. Дионисий отказывал в 1469 году митр. Филиппу в признании, как поставленному без благословения Цареградской церкви; если бы грамота существовала, то Максим Грек не стал бы укорять русских, что у них митрополиты ставятся не по правилам, и ею можно было бы заградить его уста. Грамота, на которую опирается митр. Макарий (Акты историч., т. I, № 263), опорой служить не может. Положительно известно, что открытого протеста против самого ставления патриарха не заявляли, и, следовательно, если формального разрешения не дали, «то с охотой или неохотой допустили и признали его как факт» (ИРЦ, II/1, 511—513).

5. П. Николаевский. Учреждение патриаршества в России. СПб., 1880. С. 15—16, факт признания патриархами самостоятельности московской митрополии и присылки патр. Геннадием официальной грамоты в подтверждение этой самостоятельности отрицает еще категоричнее. Будь такая грамота, говорит он, действительно прислана, «то по своей важности она не замедлила бы распространиться в России; между тем она до сих пор неизвестна и не сохранилась ни в подлиннике, ни в списках». Недаром впоследствии Максим Грек тщетно разыскивал ее. «В уложенной грамоте 1589 г., подписанной патриархами Иеремиею и Иовом, говорится даже, что порядок принятия русскими митрополитами благословения от константинопольского патриарха непоколебимо держится и доньше (СГГД, II, 96). Ни в грамоте восточных патриархов 1590 г., ни в деяниях константинопольского собора 1593 г., утверждавших патриаршество в России, о признании самостоятельности Московской митрополии вовсе не упоминается». Московская митрополия стала самостоятельной помимо воли восточных патриархов, и последние вынуждены были примириться с совершившимся фактом «в силу неодолимых исторических обстоятельств».

6. А. С. Павлов. Теория восточного папизма в новейшей русской литературе канонического права. Правосл. обозр. 1879, ноябрь и декабрь: не только не отрицает факт посылки благословенной грамоты, но утверждает, что между Московской митрополией и Константинопольской церковью произошел формальный разрыв.

7. Суворов. Курс церковного права, 136, прим. 30: «Что при жизни Ионы (ум. в 1461 г.) грамота не была получена, доказывается необычайным, противным каноническому праву, способом избрания преемника Ионе: преемник его Феодосии назначен грамотой самого умирающего Ионы. Из некоторых фактов, приводимых проф. Павловым (в его статье «Теория восточного папизма», с. 50—51), скорее можно выводить, что Московская митрополия находилась некоторое время под отлучением патриарха Константинопольского. Само собой разумеется, что патриарх в конце концов не мог не примириться с совершившимся фактом, так как патриархат должен был постоянно обращаться в Москву за милостыней».

8. М. А. Дьяконов. К истории древнерусских церковно-государственных отношений. Обзорение, т. III (1891), разделяет мнение Павлова и Суворова, подкрепляя их новыми соображениями; по их стопам идет и Шаповалов. Государство и Церковь, ч. I (1904). Вообще в пользу своего взгляда наши историки выдвигают следующие обстоятельства.

а) «Слово избрано от святых писаний, еже на латыню» во второй своей части старается доказать неизбежность автокефальности Русской церкви, как «необходимый результат измены греков древнему православию» (Павлов. 19-е присужд. наград гр. Уварова, 293).

б) Признание автокефальности дано было иерусалимским патриархом Иоакимом, который не только прислал благословенную грамоту, но и отправил с нею своего протосингела Иосифа с просьбой к митрополиту Феодосию посвятить его в митрополиты Кесарии Филипповой. Последнее — факт небывалый, являлось торжественным признанием нового положения Русской церкви. Недаром митр. Феодосии в одной из своих грамот заявлял, что «Сион всем церквам глава и мати сущи всему православию». Этого не мог бы сказать тот, кто считал главою Православной церкви константинопольского патриарха.

в) Самая грамота иерусалимского патриарха на имя Василия II напоминает папские индульгенции: это прощенная грамота, прощение содеянной вины.

№ 33. КТО БЫЛ АВТОРОМ «СЛОВА КРАТКА ПРОТИВУ ТЕХ, ИЖЕ В ВЕЩИ СВЯЩЕННЫЕ ВСТУПАЮТСЯ»?

«Слово кратко противу тех, иже в вещи священные, подвижные и неподвижные соборные церкви, вступаются и опытами противу спасения души своя дерзают», или «О свободе церкви» написано в феврале 1505 года; по списку А. Н. Попова напечатано А. Д. Григорьевым с его объяснительным предисловием, в Чтениях, 1902, кн. 2-я. Соображения о том, кто мог быть автором «Слова», см.:

1) Горский А. В. и Невоструев. Описание слав, рукоп. Моск. Синод. Библ., отд. П. М., 1862, № 320: «Сочинение русское, а не простой перевод с иностранного» (с. 610); «Сочинитель, по-видимому, причисляет себя к мирскому званию. Трудно решить, по чьему требованию и по каким обстоятельствам писано это слово» (615).

2) Павлов Н. М. Историч. очерк секуляр. церк. земель, 63: «Трактат написан в России».

3) Голубинский Ф. А. ИРЦ, П/1, 635: писал доминиканец Вениамин.

4) Григорьев: сочинено в Московской Руси, вероятно, по мысли Геннадия, архиепископа Новгородского, и тоже вероятно, доминиканцем Вениамином, славянином римско-католического исповедания. «В высшей степени вероятно, что появление нашего Слова вызвано оспариванием на соборе 1503 года права монастырей владеть вотчинами и начавшимся в то же время со стороны светской власти систематическим стеснением дальнейшего увеличения этих вотчин».

5) Соболевский А. Переводная литература Моск. Руси XIV—XVIII вв. СПб., 1903. С. 193, 254: выражение Горского и Нев. «причисляет себя к мирскому званию» понято Соболевским, по-видимому, как прямое указание на Димитрия Герасимова.

6) Вальденберг. Др.-р. учения о пределах царской власти, с. 232: писано в России, иностранцем; перевод с латинского доминиканца Вениамина.

№ 34. ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ВАССИАНА ИВАНУ III НА УТРУ

Выше (вып. 1-й) указывалось на то, что самодержавие русских государей при Иване III и его сыне «еще не сложилось,

не выработало соответственной формы, еще не получило словесного обозначения». Вследствие этой невыработанности отношения духовной власти к светской могут оцениваться и в литературе наших дней далеко не одинаково, примером чего могут служить Сергеевич и Вальденберг в их суждениях о послании ростовского архиепископа Вассиана на Угру. В этом послании (ПСРЛ. Т. VI. С. 225) Вассиан, духовник князя, как известно, горячо увещевал его не слушать «яко прежние твои развратници не престаюти шепчуще в ухо твое льстивая слова и совещают ти не противитися супостатом», настаивает, чтобы князь не мирился с ханом, когда же Иван, оставив войско, вернулся в Москву, то в глаза обозвал его «бегуном» (VI, 231).

В. И. Сергеевич. Русск. Юрид. Древн., II, 512—513: «Со введения христианства и по XVII в. включительно духовенство принимает весьма деятельное участие в делах светского управления. Давая князьям советы, оно подкрепляет их всей силой своего духовного авторитета». Подчиняясь советам епископов, князья русские осуществляли то «послушание и благопокорение», которых требовал от них в XIV веке один из константинопольских патриархов (Филофей). Та же мысль и в «Послании» на Угру. «Свое послание владыка начинает словами: „Наше убо, государю великий, еже воспоминати вам, ваше же — еже послушати“, и под „послушати“, конечно, разумеет не выслушать только, а подчиниться».

Вальденберг. Древнерусские учения о пределах царской власти, 193, в ответ Сергеевичу: «Не будем спорить о подлинном смысле выражения: весьма вероятно, что именно это хотел сказать Вассиан. Но что же отсюда следует? Только одно: что Вассиан хотел убедить великого князя Ивана Васильевича и хотел, чтоб он соответственным образом изменил свои действия. Выводить отсюда какую-то обязанность великого князя подчиняться епископу едва ли есть основание. Никакой практический деятель не станет тратить слова только на то, чтобы его выслушали, или даже на то, чтобы признали теоретическую правильность его умозаключений; всякий хочет при этом подействовать непременно на волю своего слушателя, хочет заставить его принять известное решение. Но это вовсе не значит, что один имеет право требовать, чтобы другой ему подчинялся. Скорее, наоборот: где есть право, там нет надобности советовать и убеждать. Поэтому, вполне соглашаясь с толкованием В. Сергеевича, можно все-таки не видеть в послании Вассиана никаких следов учения о благопокорении».

№ 35. ОБ АВТОРЕ «ПОСЛАНИЯ К ЦАРЮ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ»

Послание напеч. Чтения, 1874, кн. I. Первоначально автором считали митр. Даниила: История Российск. иерархии, т. II, с. XXVIII; Карамзин Н. М. ИГР. Т. VIII. Прим. 80; Филарет, архиеп. Черниговский (Гумилевский). Обзор р. духовн. лит-ры. СПб., 1856, изд. 3-е; СПб., 1884. Митр. Макарий. ИРЦ, VII, 360, доказал ошибочность этого взгляда: послание писано или митр. Макарием или попом Сильвестром. Последнему приписывает его и архим. Леонид, напечатавший самое послание (см. выше). Жданов тоже считает автором Сильвестра, но не настаивает на его авторстве. Составлено оно, по его мнению, «всего вероятнее, в 1550 г.», потому что «заключительная часть послания представляет большое сходство с некоторыми местами в царских посланиях и вопросах, предложенных на соборе 1551 года». «Большая часть послания посвящена обличению неопрятного порока, который был очень распространен у нас в старое время, когда в кругу богатых людей юные красавцы заменяли часто общество веселых женщин» (Материалы для истории Стоглавого собора. ЖМНПр. 1876, № 7 и «Сочинения», т. I, 193, след.). Можно думать, что царь Иван уже в это время предавался названному пороку: автор послания, убеждая царя искоренить содомский грех, пишет ему: «аще искорениши злое се беззаконие, без труда спасешия и прежний свой грех очистиши».

То же и Жмакин. Митр. Даниил и его сочинения. М., 1881. «В самом послании есть выражения, которые указывают на близкие отношения автора к лицу, которому он пишет, какие действительно и существовали некоторое время между Иоанном и Сильвестром» (273).

Совсем иное утверждает Н. Барсов. К вопросу об авторе «Послания к ц. Ивану Васильевичу» Сильвестровского сборника. СПб. Духовной Академии. Сборник Археолог, института, кн. IV, 90—130 (СПб., 1880): Дав полный перечень мнений, высказанных до него в литературе о времени написания Послания и личности автора, разобрав и отвергнув мнения Жданова и митр. Макария, Барсов приводит свои соображения для доказательства того, что Послание писано в эпоху опричнины (1565—1572) коломенским епископом Вассианом Топорковым, доживавшим свой век на покое в Песношском монастыре. Послание обличает-де беззакония и «нечестие» людей, составляющих окружение царя, его ужасает, что сам царь стоит во

главе оргий и вакханалий. Барсов вычитывает в Послании прямые указания на факты, имевшие, по его мнению, место в опричное время. Выражение государский удел — «это и есть термин, которым обозначалась опричина» (112); к тому же Послание «констатирует перед нами то тяжелое, мучительное состояние духа, в каком находился Грозный в это время» (113). «Мы хотим думать, что именно оно, это Послание, было причиной отмены опричины, причиной второй доброй перемены в Грозном» (114).

Вальденберг. Учение о пределах царской власти, 274, находит, что мнение Барсова «меньше всего имеет за себя: осторожность требует не приписывать произведения человеку, о литературной деятельности которого нам решительно ничего неизвестно».

Ср. еще А. Ф. Бычков. Описание славян и русск. рукописных сборников Имп. Публ. библ. (1878), 57 (написано во время опричнины) и Кононова. Богосл. вестник. 1904, апрель, 663 след. (писано в первые годы по венчании Грозного на царство игуменом Артемием); Сокольский. Участие р. духовенства и монашества в развитии единодержавия и самодержавия в Московском государстве в конце XV и первой половине XVI века. Киев, 1902. С. 186 (автор — Сильвестр).

№ 36. КТО БЫЛ АВТОР ДОМОСТРОЯ, И В ЧЕМ ЕГО ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?

1. Митр. Макарий. ИРЦ, VI, 444, 448: «Правила, изложенные в Домострое, были господствующими у нас в XVI веке и представляли собою как бы идеал, которому старались следовать тогда лучшие люди, а некоторые целиком взяты из тогдашнего строя русской жизни» (448). Не без основания некоторые приписывали Домострой попу Сильвестру (автор ссылается на Афанасьева в Отеч. записк. 1850, № 7; Соловьева. ИР, VII; Галахова. Истор. р. литер, и Порфирьева. Прав, собес. 1860, III и Ист. р. литературы). «Ныне оказывается, что Домострой в полном своем составе существовал еще до Сильвестра, а Сильвестр только несколько изменил его и в конце дополнил собственным сочинением — посланием к своему сыну Анфиму» (ссылка на Некрасова. Опыт ист.-лит. исследования о происх. др.-р. Домостроя. Чтения, 1872, кн. III).

2. В. О. Ключевский. Два воспитания. Русск. мысль. 1893, март и Очерки и речи. М., 1913. С. 216 след. В Домострое

сведен в общую программу план воспитания, как он сложился к середине XVI в., указана та «идеальная нравственная атмосфера, которой дышали и в которой воспитывались дети по древнерусскому педагогическому плану». Это кодекс сведений, чувств и навыков, какие считались необходимыми для усвоения житейских правил, наука о «христианском жительстве». Хозяин дома, домовладыка, являлся не только домовым государем, но и «домашним учителем, его дом был его школой». Он обучал строению душевному, мирскому и домовному. «Усвоение этих трех дисциплин и составляло задачу общего образования в Древней Руси». Самое «учение» сопровождалось «смирением по вине смотря»: «Любя сына, учащей ему раны, не жалея жезла». Впрочем, «читая эти изысканные педагогические наставления, сводившиеся к одному общему правилу, как детей «страхом спасати, уча и наказуя», полезно помнить, что мы имеем дело с планом, а не с практикой домашнего воспитания. По жестокому педагогическому плану еще нельзя судить о суровости педагоги, даже о жестокости самих начертателей плана. Планометрическая, начертательная педагогика доводит иной воспитательный принцип или прием до крайних, практически невозможных, а только метафизически и мыслимых последствий не по жестокости сердца, а просто в интересе логической последовательности; но эти излишества так и остаются в области метафизического мышления, знаменуя силу мысли, но не портя жизни. Дело в том, что педагоги при составлении педагогической программы только размышляют о детях, а при ее исполнении еще и видят их, т. е. любят, потому что видеть детей и любить их — это одно и то же, два неразличных психологических акта... Известно, что любящая рука бьет не больно и, во всяком случае, больнее бьет того, кому принадлежит, чем того, на кого поднимается».

«Гораздо плодотворнее был другой прием древнерусской педагогики — живой пример, наглядный образец. Древнерусская начальная общеобразовательная школа — это дом, семья. Ребенок должен был воспитываться не столько уроками, которые он слушал, сколько той нравственной атмосферой, которой он дышал... Домострой предполагает присутствие грамотных людей в составе древнерусской семьи, но не считает этого необходимым и совсем умалчивает о такой школе*. Книжная мудрость еще не есть мудрость истинная: «не ищи, человеце, мудрости (писали в старинных азбуках), ищи кротости; аще обрящеша кротость, то и одолевши мудрость; не тот мудр, кто много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит».

«Эта-то не книжная мудрость Древней Руси была поколеблена преобразовательным движением XVII и XVIII вв.», когда «чуть не в один век перешли от Домостроя попа Сильвестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера. Такой переход можно было сделать только прыжками, а в области мысли прыжки совершаются всегда насчет логики и самообладания».

3. А. Н. Пыпин. Итоги старого Московского царства. Вест. Европы. 1894, август: Домострой — это одновременно картина существовавших нравов, приведенная в педагогическую систему, и идеал, к которому моралист хотел привести современное ему общество. В общем же это были итоги прошлого, долженствовавшие, исправляя порушенную и поисшатавшуюся старину, «дать прочную опору и руководство для будущего». Домострой, подобно Четьям-Минеям митр. Макария, Стоглаву, был лишь подведением исторических итогов. Все они «собрали то, что было приобретено старой жизнью, но они были бессильны остановить общество на намеченной ими ступени его внутреннего и внешнего быта. История должна была потребовать дальнейшего движения; но здесь совсем отсутствовала самая мысль о каком-либо изменении в данном порядке понятий и обычаев. Но все эти усилия закрепить старину не могли закрыть для русской жизни новых путей ее дальнейшего развития» (802, 803).

Пыпин оспаривает, как ложную идеализацию, взгляд Ключевского В. О., который в воспитательной системе Домостроя «спасать» детей страхом (посредством жезла, т. е. палки) видит план, но не практику домашнего воспитания, — план, оставшийся «в области метафизического мышления, знаменуя силу мысли, но не портя жизни»; что если старое воспитание не давало книжного знания, зато в нем приобреталась «не книжная мудрость» (к сожалению), затерявшаяся во время реформ. Русским людям пришлось совершить чуть не в один век «акробатический перелет» от Домостроя попа Сильвестра к Энциклопедии Дидро и Даламбера. «Такое представление вещей (возражает Пыпин) есть скорее исторический памфлет, чем история. Переход от старины Домостроя к Энциклопедии, т. е. к концу XVII века, или ближе — к Петровскому времени, может быть назван акробатическим перелетом только для тех, кто забыл историю. Новое беспристрастное исследование находит предшествования реформы задолго до Петра, не только в середине XVII» но даже в конце XVI века, относит их первые проявления к эпохе Грозного, даже к эпохе Ивана III. Переход от старины к новизне трудно назвать скачком, когда он занимал целые

века и представлял длинный ряд переходных явлений» (804—805).

4. А. А. Кизеветтер. Политическая тенденция древнерусского Домостроя: 1) Русск. богатство, 1896, январь; 2) Исторические очерки. М., 1912:

Домострой — «одно из ярких литературных отражений господствовавших в то время политических идей. За плечами Домостроя стоит целая политическая доктрина, выросшая на почве текущей политической практики устройства недавно возникшего Московского государства». Это — «трактат с несомненным единством темы». «Государство, церковь, семья — три звена одной цепи учреждений по воззрениям Домостроя»: государство — союз политический, семья — общественный, «одно из государственных учреждений, и притом самое важное, служащее необходимым фундаментом для всего государственного здания»; наконец, церковь — «организация, задача которой контролировать сохранность взаимной гармонии между семьей и государством поддержанием в людях веры в Бога и покорности властям. Приведенная схема нигде не формулирована в Домострое непосредственно; тем не менее она необходимо вытекает из сопоставления его отдельных статей».

«Дети — орудия родительской воли». «Устанавливаемый Домостроем порядок семейной жизни поддерживается принудительными мерами». «Родители, дети и домашняя челядь составляют как бы особый, замкнутый в себе мирок, где безраздельно властвует глава семьи: муж, отец и господин».

Семья домостроевская построена по тому же образцу, по какому строилось в ту пору и государство: домовладыка такой же безапелляционный вершитель судеб своих домочадцев, как и московский князь-царь, самодержавный, верховный повелитель своего «дома» — Московского государства. И подобно тому, как «государство есть всеобъемлющий политический союз, поглощающий в себе все интересы нации, не оставляющий места самостоятельному развитию других общежительных союзов», так и «Домостроевская семья направлена не на развитие индивидуальных потребностей и способностей ее отдельных членов, а лишь на осуществление для всех обязательной отвлеченной нормы».

5. Вальденберг. Древнерусские учения о пределах царской власти (1916), 291, оспаривает Кизеветтера: «Напрасно было бы искать политических идей в Домострое и видеть эти идеи, например, в подчинении семьи и всего семейного уклада государственным целям. Несмотря на попытки такого понима-

ния Домостроя, он навсегда останется памятником исключительно нравственных и житейских воззрений своего автора».

6. А. И. Соболевский. Поп Сильвестр и Домострой. I—IV. Известия по р. яз. и слов. 1929, т. II, кн. 1, 187—202. На основании языкового анализа текста Соболевский приходит к заключению, что Домострой писан Сильвестром.

7. Сравн. еще епископ Сергей (Соколов): Московский Благовещенский священник Сильвестр как политический деятель. М., 1893 (из Чтений): оценка Домостроя положительная.

№ 37. КНЯЗЬ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ. СУД ИСТОРИИ

Переписка царя Ивана Васильевича Грозного с князем А. М. Курбским так тесно связала в представлении потомства обоих корреспондентов, так переплела их взаимные отношения и взаимное положение, что, говоря об одном, особенно о Курбском, невозможно оставить в стороне другого. Поэтому и суждения о Курбском находятся в прямой зависимости от оценки царя Ивана: защитники его политической деятельности и программы характеризуют Курбского чертами отрицательными и наоборот; причем лишь немногие воздерживаются от категорического заключения или подходят с оценкой моральной. Вот почему данные, собранные в этой главе, нуждаются в дополнении данными, собранными выше, в Спор. вопр. № 13: «Иван Грозный. Суд истории».

Был ли Курбский изменником или нет? Ответ дается в зависимости от того, как отвечающий понимает право служилых людей на отъезд: отжило ли оно ко времени Ивана Грозного или нет? Превратились ли служилые люди в подданных царя или остались по-прежнему свободными? Горский, Иловайский видят измену, Опоков отрицает ее. Но это еще не полный ответ: одно дело бежать в Литву, спасаясь от царского гнева, другое — продать свою шпагу противнику своего государя. Большинство историков оставляет второй шаг Курбского без оценки, один Иловайский прямо называет его поступок изменой родине; умолчание большинства наших историков свидетельствует, что самый вопрос о праве отъезда для них еще не решен. Оно и понятно: Курбский и Грозный жили в переходную эпоху: старое отживало, но еще не отжило, и оба противника считали себя, каждый, правыми и вправе: один — перейти на службу к ДРУ" гому государю, как это делалось сплошь и рядом в старину; другой, все свое царствование положивший на борьбу с этим

«правом отъезда», во имя новых народившихся постулатов, — вправе видеть в Курбском изменника общему русскому делу.

Затруднение в оценке осложняется еще и неодинаковым пониманием нами патриотизма: для Ключевского Курбский «плохой» патриот, для Ясинского — «сознательный». Несомненно одно: понятие родины, так, как представляется оно нашему поколению, еще не существовало у Курбского.

Литература о Курбском указана в вып. 1. Ее можно дополнить книгой Виппера, «Иван Грозный», 1922, да указанием, где напечатана переписка Курбского с Грозным: «Сказания кн. Курбского», изд. Устряловым: 1-е изд. 1833, 3-е — 1868.

Ниже приводятся мнения следующих историков о князе Курбском:

Карамзин	Бестужев-Рюмин
Соловьев	Ясинский
Горский	Иловайский
Опоков	Белов
Петровский	Соболевский
Пыпин	Вальденберг
Костомаров	Виппер
Ключевский	

1. Н. М. Карамзин. ИГР. Т. IX. Гл. П. С. 68, дает моральную оценку бегства Курбского в Литву. Курбский изменил своему долгу: «увлеченный страстью, (он) лишил себя выгоды быть правым и главного утешения в бедствиях: внутреннего чувства добродетели. Он мог без угрызения совести искать убежища от гонителя в самой Литве; к несчастью, сделал более: пристал ко врагам отечества. Обласканный Сигизмундом, он предал ему свою честь и душу, советовал, как губить Россию».

2. С. М. Соловьев. ИР. Т. VI, гл. IV. Курбский бежал, спасаясь от царского гнева, и потому что «действительно, подвергся опале». Он отстаивал право отъезда и помнил, что он потомок князей ярославских и смоленских. «В уме Курбского деятельность Ивана IV представлялась окончанием деятельности отца и деда, окончанием борьбы государей московских с князьями единоплеменными... Потомкам князей не нравился новый титул царя, принятый Иоанном потому, что этот титул выделял московского государя из среды остальных князей единоплеменных» (185).

3 и 4. А. В. Горский, горячо нападает на Курбского, а Опоков не менее горячо защищает его. Горский видит в Курбском холодного эгоиста, бежавшего в Литву по мотивам

корыстным, питавшего внушенную ему еще с молодости ненависть к московским царям, — человека запоздалых идеалов, в противоположность Ивану Грозному, представителю нового государственного начала — самодержавия. Опоков, наоборот, доказывает, что измены со стороны Курбского не было никакой, что он имел все основания опасаться царского гнева, тем более что отъезд к другому государю в те времена вовсе не считался государственным преступлением (78).

5. Настоящим апологетом Курбского является Петровский: «Курбский был лучшим выразителем тех идей русской гражданственности, которые, очевидно, были доступны и другим лицам той же партии; но ни в одном из них не высказалось столько энергии в борьбе, как в Курбском. Курбский представляет нам образец тех доблестей, какие могла дать Русь XVI века, даваемая правительственным террором, стесняемая в свободе, исследования истины, далекая от европейского Запада. Курбский — это гражданин, представитель идеи прогресса, вопиющий против тупого абсолютизма; это воин, не щадящий живота за дело Руси; это — ученый, не довольствующийся тем недостаточным образовательным материалом, с которым уживались другие книжники его времени; наконец, это — первый русский публицист, неуклонно идущий по предположенному заранее пути».

О праве отъезда Курбский нигде не говорит: отъезд в его глазах был простым бегством недовольных и опальных. Точно так же и право совета понималось им не как требование юридическое, а как желание видеть в правлении государством участие честных и опытных людей. Поэтому и «характер переписки между Иваном и Курбским чисто личный, ничего государственного в ней нет, и наименее государственности в том, в чем ее некоторые видели».

6. Впоследствии А. Н. Пыпин, в своей «Истории русской литературы», всецело примкнул к взгляду Петровского.

7. Н. И. Костомаров. РИ, гл. XX, с. 460, ограничивается одним пояснением причин, побудивших Курбского бежать в Литву: «Поводом к этому бегству было (как можно заключить из слов Курбского и самого Ивана) то, что Иван глубоко ненавидел этого друга Адашевых, взваливал на него подозрение в смерти жены своей Анастасии, ожидал от него тайных злоумышлений, всякого противодействия своей власти и искал только случая, чтобы погубить его*».

8. В. О. Ключевский. Боярская дума, гл. XIV и XVII, вслед за Петровским, тоже признает, что Курбского с царем

Иваном разделяли «не противоположные политические принципы, а личные счеты и взаимные огорчения» (345). Ключевский зачисляет Курбского в категорию «плохих патриотов», которые хотя и сокрушались о бедствиях родной земли, но любили ее «только разве как географическое пространство и много-много в ее историческом прошлом: современная действительность только огорчала их. Курбский называет свое покинутое им отечество „Святорусской землей“, говоря о царе, ее губителе. Но когда пришлось ему рассказывать о своей братии, о молодых Лыковых, которые попали к польскому королю, по его повелению, обучены были шляхетским наукам и языку римскому и потом по просьбе московских послов возвращены были в отечество, то эта Святорусская земля тотчас превратилась у него в отечество „воистину неблагодарное и недостойное ученых мужей, в землю лютых варваров“» (281).

Он же. Курс, II, лекция XXVIII: «Во взгляде на ближайшее московское прошлое кн. Курбский стоит на точке зрения Берсеня, видит корень зла в царевне Софье, за которой следовала такая же иноземка Елена Глинская, мать царя... Он считает нормальным только такой государственный порядок, который основан не на личном усмотрении самовластия, а на участии „синклита“, боярского совета в управлении... Но он мечтает о вчерашнем дне, запоздал со своими мечтами. Ни правительственное значение боярского совета, ни участие Земского собора в управлении не были уже в то время идеалами, не могли быть политическими мечтами. Боярский совет и Земский собор были уже в то время политическими фактами... Кн. Курбский не требует ни новых прав для бояр, ни новых обеспечений для их старых прав, вообще не требует перестройки наличного государства. В этом отношении он разве только немного идет дальше своего предшественника И. Н. Берсеня-Беклемишева и, резко осуждая московское прошлое, ничего не умеет придумать лучше этого прошлого (206—208).

9. Бестужев-Рюмин К. Н. РИ, II 259—264, в своем суждении не произносит ни осуждения, ни оправдания Курбскому. Курбский, говорит он, отстаивал старые порядки, права бояр быть советниками царя; Грозный старался сломить силу и влияние княжат (а к числу их принадлежал и Курбский, подчеркивавший в переписке с Грозным свое происхождение от Федора Ростиславича Смоленского и Ярославского), княжата же не забывали своих старых прав и «смотрели на царя только как на великого князя».

10. А. Н. Ясинский. Курбский бежал в Литву, потому что опасался за свою судьбу (70). К родине, к «Святорусской земле», он питал глубокое чувство любви и глубоко скорбел, видя ее бедствия, причем «его патриотизм был не такого рода, чтобы предпочитать все свое, родное только за то, что оно родное. Образование и богатый жизненный опыт делали Курбского сознательным патриотом; он любил родину, но видел ее недостатки, скорбел за них и негодовал, видел существеннейший недостаток „Святорусской земли“ в отсутствии образования и в невежестве русских людей» (94). «Лучшим доказательством высокого патриотизма Курбского служит его литературная деятельность, которую он всецело посвятил на благо своей родине» (95). Вообще «Курбский представляет в высшей степени отрадное явление в русской истории XVI века и высокопривлекательную личность. Историк может с любовью и отрадным чувством остановиться на жизни и деятельности этого воина-мыслителя» (96).

Ясинский не согласен с «географическим понятием» Ключевского — оно не соответствует фактам — и указывает на противоречия, допущенные московским профессором в оценке Курбского: умственная личность Курбского лишена у него цельности; Курбский то не желает, «чтобы боярству принадлежала монополия власти», то он, оказывается, ненавидит дьяков-поповичей из простого всенародства «за то, что они не без успеха оспаривали у боярства его правительственное влияние» (92—95).

11. Д. И. Иловайский: Курбский бежал из страха опалы; он настойчиво советовал Сигизмунду поднимать крымского хана Девлет-Гирея на Москву, ходил с польскими войсками в область Великолуцкую, сжег тем и разорил несколько сел и монастырей. «Всеми подобными действиями против родной земли Курбский совершенно омрачил свою прежнюю славу и сделался вполне изменником отечеству. Никакое тиранство, никакие обстоятельства и понятия того времени о боярском праве отъезда не могут оправдать таковую измену» (РИ, III, 253—254).

12. Е. А. Белов, подвергнув подробному анализу «Историю князя великого Московского», находит, что это тенденциозный памфлет, писанный рукой «лжесловесника» и совершенно искажающий личность Ивана Грозного (Предварительные замечания к истории царствования Иоанна Грозного. ЖМНП. 1891, февраль).

13. А. И. Соболевский ставит политические идеи Курбского в зависимости от «Тайная Тайных» — сочинения, в старину приписываемого Аристотелю («Аристотелевы Врата», по

Стоглаву): «Курбский увлекается им, и его идеи о значении боярства, выдаваемые нашими историками за идеи московских бояр, не что иное, как идеи этого произведения» (Переводная литература, 419).

14. Вальденберг, в противоположность Петровскому и в согласии с Горским, видит в Курбском не «представителя идеи прогресса», а защитника старины, и притом не бескорыстного. «В нем сильны „удельные воспоминания“; он мечтает о том времени, когда великие князья „слушали во всем“ старых бояр, как советует в своей духовной Симеон Гордый, и без воли их ничего не делали. Невозможно отрицать у Курбского глубокий патриотизм, заботу о всех сословиях и правильное понимание их интересов. Но когда речь заходит об управлении государством, в нем сейчас же сказывается боярский эгоизм. Ему не нравится возвышение царской власти, не нравится и самый титул царя, потому что в его глазах он является символом политической слабости боярства. Курбский не только не доверяет единоличной власти царя, но относится отрицательно и к возможности политического влияния со стороны других сословий. Право совета должно, по его убеждению, составлять исключительное право боярства: его идеал — разделение власти между царем и боярством. В этом отношении он идет дальше, чем автор Беседы валаамских чудотворцев, который, хотя тоже стоит за право боярского совета, но не требует подчинения царя совету».

Взгляды Курбского — «отголосок когда-то действовавших государственных отношений. Нет надобности поэтому искать литературных источников политического учения Курбского: источники его — не в литературе, а в жизни». Не «Аристотелевы Врата» определили его взгляды. Возможно, что Курбский нашел в этом сочинении «знакомые для себя и любимые мысли, и это содействовало тому, что он еще более в них укрепился; но эти мысли были у него и раньше... Это не мешает тому, что между обоими авторами есть сходство в отдельных пунктах» (Др.-р. учения о пределах царской власти, 318—321).

15. Б. Р. Виппер. Курбский, разумеется, не думал (как обвиняет его Грозный) «на Ярославле государить», «но нам следует помнить, что до 1564 г. еще живы были многие княжеские гнезда и что у крупных „вельмож“ существовало понятие о праве отъезда. После примера, поданного Курбским, пришлось у видных бояр отбирать клятвенное обещание о невыезде за границу. Следовательно, они не подчинились новому понятию о государстве; они продолжали считать себя государями, в них

еще сидели предрассудки удельных владений». Взгляды Курбского «совершенно совпадают с мировоззрением крупных польских панов, немецких фюрстов и французских сеньоров XVI в., которые или заставляли монархию подчиниться своему правительственному давлению, или, потерпевши на такой попытке неудачу, изменяли своей стране и объявляли себя вольными и самостоятельными вождями и как бы государями. Коннетабль Бурбон, принц крови и родственник французского короля, перешедший в 1521 г., вследствие личной обиды, к германскому императору Карлу V и принявший команду над войсками, сражавшимися против его отечества; курфюрст Мориц Саксонский в 1548 г. — верный слуга того же Карла V, изменивший в 1552 г. императору в пользу французов — вот наглядные западные параллели к Курбскому» (Иван Грозный, 57).

№ 38. СТАРОВЕР ИЛИ ИКОНОБОРЕЦ БЫЛ ДУМНЫЙ ДЬЯК И. М. ВИСКОВАТЫЙ?

Макарий. ИРЦ, VI, 268—270, вопроса этого не ставит, а потому и не решает, ограничиваясь обменом мнений между Висковатым и митрополитом Макарием: когда думный дяк отверг обвинение его в еретичестве: «А что ты, государь, изрек на меня суровое слово, будто я еретик, то, если знаешь, не колеблясь, обличи меня». В ответ на это митрополит восстановил действительный смысл сказанного им и повторил свои прежние слова: «Я не назвал тебя еретиком, а сказал только тебе: стал ты на еретиков, но ныне мудрствуешь о св. иконах негораздо; смотри, не попадись и сам в еретики».

Ф. А. Голубинский. ИРЦ, И/1, 843—844. По мнению Голубинского, Висковатый был прав: отцы и учителя церкви, защищая иконопочитание от иконоборцев, требовали соблюдения в иконописании в строгом смысле живописи исторической (истории в красках). «Но иконописцы греческие уже давно выступили из этих тесных пределов на свободу творчества, и значительной части икон, против которых восставал Висковатый, могли быть указаны многочисленные существовавшие образцы, какое указание и сделал митрополит в своем ответе Висковатому. Греческих образцов некоторых икон митрополит не мог указать, потому что иконы, т. е. сюжеты, были заимствованы новгородскими иконописцами от живописцев западных. Но иконописцы писали их с существовавших у них под-

линников, и митрополит думал, что эти подлинники взяты с древних образцов греческих. С некоторыми частными замечаниями Висковатого собор согласился и приказал сообразно им исправить иконы».

А. И. Андреев. О «деле дьяка Висковатого». *Saminarium Kondakovianum*, т. V (1932), 194—242 (с исчерпывающей полнотой в указании литературы о Висковатом). «Висковатый с чрезвычайной верностью подошел к существу иконописной проблемы, поставил, в конце концов, основные вопросы: что должно явиться руководящим принципом в суждении об иконописи, только лишь церковная практика или же основные положения церковного вероучения, и каков в силу этого должен быть основной характер церковного искусства? Формально он заблуждался по вопросу о недоступности изображения бесплотных, которые были обычными; формально неправ оказывался дьяк (и) в своем протесте против препоясания распятого Христа», но он «верно подошел к важной проблеме с ее принципиальной стороны, поняв основной смысл церковного вероучения по данному вопросу». Справедливо усмотрев «большие нововведения, носившие не восточно-православный, но, скорее, западный, католический характер», он верно угадал «направление тенденций новой иконописи»,

«Новые мистико-дидактические, сложные символические темы трудно уживались с лаконичностью, суровой простотой и реалистической историчностью прежней струи иконных изображений. Новый дух иконописи изменил постоянные традиционные композиции, кончалась изолированная замкнутость русского церковного искусства, выросшего на почве византийской идеологии. С Запада шло упорное воздействие иных художественных образцов и тем, нежели давала византийская традиция. Насколько серьезно и в то же время органично и скрыто было проникновение западных элементов в византийско-русский церковный иконографический обиход, показывает то же «дело»: ни митрополит Макарий, ни Собор не смогли оценить критической прозорливости Висковатого» (с. 234—239).

Буслаев. Историч. Очерки русской народной словесности и искусства, т. II (1861), 323, в своих рассуждениях ближе всего подошел к поставленному нами вопросу.

«Этот замечательный человек XVI века отличался познаниями не только в делах государственных, но и в книжном учении. Много читал и привык отдавать себе отчет в том, что читал и видел. Живописные произведения мастеров новгородских и псковских привели его в недоумение своей новизной;

он видел в них нарушение древних иконописных преданий и во всеуслышание высказывался против нововведений. Может быть, он несколько увлекся своей ревностью к старине и не совсем осторожно смущал своими речами толпившихся около него слушателей; все же в глазах историка заслуживает он в этом деле полного уважения как русский человек XVI века, бескорыстно интересовавшийся вопросами из области религиозно-художественных идей. В старину дьяка Висковатого обнесли было именем иконоборца. Из Розыска явствует, что он, напротив того, свято чтит иконы, но придерживался восточной старины, против нововведений. Он был своего рода старовер».

Только ли старовером был Висковатый? И не существовало ли оснований называть его иконоборцем? В религиозно-художественном *specto* Висковатого следует различать две стороны. Пока дело идет о манере, приемах письма, о композиции иконы, о его требовании неуклонно следовать Иконописному Подлиннику, он, действительно, старовер. Но когда речь заходит об изображении Бога Отца в виде старца «Ветхаго деньми», вообще об изображении невещественного, хотя бы и реального — там протест Висковатого, по духу, сродни тем побуждениям, какие в свое время в Византии руководили иконоборцами в их отказе от иконопочитания; сродни он и учению протестантов, не допускающих в своем храме изображения святых. Висковатый, видимо, опасался (а основания для того опасения имелись), что видимый общественный образ, материальное восприятие Божества подменит в сознании верующих существо невидимое, нетленное: «Бог есть дух, его же никто же виде нигде же». Опасение, как бы форма не заслонила содержания, тем естественнее могла зародиться у того, кто, как Висковатый, воспитал свой вкус и благочестие на образцах школы Андрея Рублева: восприняв ее духовную символику, он не мог принять символику реалистическую: она отталкивала его своим язычеством.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПОРНЫЕ И НЕВЫЯСНЕННЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ

№ 1. Разгром Ганзейской торговли в Новгороде в 1495 г.	7
№ 2. Кому принадлежит почин сватовства Софьи Палеолог?	9
№ 3. Историческая роль Софьи Палеолог	11
№ 4. Каков был чин венчания Дмитрия, внука Ивана III, в 1498 г.?	19
№ 5. Иван III. Суд истории	21
№ 6. Историческое значение Избранной рады	29
№ 7. Местничество	35
№ 8. Стоглав и его происхождение	44
№ 9. Иван Грозный в его отношениях к Крыму и Ливонии	48
№ 10. Симеон Бекбулатович, великий князь (царь) Московский	55
№ 11. Опричнина, ее цели и достижения (разрушение княжеских вотчин)	62
№ 12. Казни и насилия Ивана Грозного	84
№ 13. Иван Грозный. Суд истории	95
№ 14. С какой поры можно начинать непрерывную историю русского национального самосознания?	139
№ 15. Был ли коронован Василий III?	142

№ 16. Как состоялось признание Константинопольской церковью царского титула за Иваном Грозным?....	143
№ 17. Как сложилось московское самодержавие? . . .	147
№/18. Как понимал Иван Грозный свое самодержавие?	152
№ 19. Какой национальности был митрополит Киприан?	155
№ 20. Как сложилось представление о Москве как Третьем Риме?	157
№ 21. Как возникло на Руси патриаршество?	166
№ 22. Когда и как произошло прикрепление крестьян к земле?	170
№ 23. Как умер царевич Дмитрий?	181
№ 24. Как было составлено письмо Лжедмитрия I к папе Клименту VIII 24 апреля 1604 г.?	205
№ 25. Кто царствовал в России после Бориса Годунова в 1605—1606 гг.?	208
№ 26. Причащалась ли Марина Мнишек во время ее коронации?	237
№ 27. Как состоялось избрание в цари В. И. Шуйского?	245
№ 28. Чьи грамоты: патриарха Гермогена или Троице-Сергиева монастыря, подняли русских людей, в частности нижегородцев, на освобождение Москвы, а с ней и всей Русской земли?	251
№ 29. Как состоялось избрание М. Ф. Романова на царство?	259
№ 30. Когда в царствование Ивана Грозного созван ^был первый Земский собор?	298
№ 31. Кто такой был Николай Булев?	304
№ 32. Как возникла автокефальность Московской митрополии?	307
№ 33. Кто был автором «Слова кратка противу тех, иже в вещи священные вступаются»?	310
№ 34. Послание архиепископа Вассиана Ивану III на Угрю	310
№ 35. Об авторе «Послания к царю Ивану Васильевичу»	312

№ 36. Кто был автор Домостроя, и в чем его основная идея?	313
№ 37. Князь Андрей Курбский. Суд истории	317
№ 38. Старовер или иконоборец был думный дьяк И. М. Висковатый?	323

Директор издательства:

О. Л. Абышко

Главный редактор:

И. А. Савкин

Рецензент:

член-корреспондент РАО, доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой русской истории РГПУ им. А. И. Герцена
В. И. Старцев

Художественный редактор:

Н. И. Пашковская

Корректор:

Л. Ю. Румянцева

Редакторы:

Н. М. Баталова

Н. П. Дралова

Шмурло Евгений Францевич (1853-1934) «Курс русской истории. Спорные и невыясненные вопросы русской истории», серия «Библиотека русской педагогики».

ИЛ № 064366 от 26. 12. 1995 г.

Издательство «Алетейя»: ¹

193019, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 13

Телефон издательства: (812) 567-2239

Факс: (812) 567-2253

Сдано в набор 10. 08. 1998 г. Подписано в печать 21. 03. 1999 г. Бумага офсетная.
Формат 60x90¹/₁₆. Печать офсетная. Объем 21 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ Ms 3160.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Printed in Russia